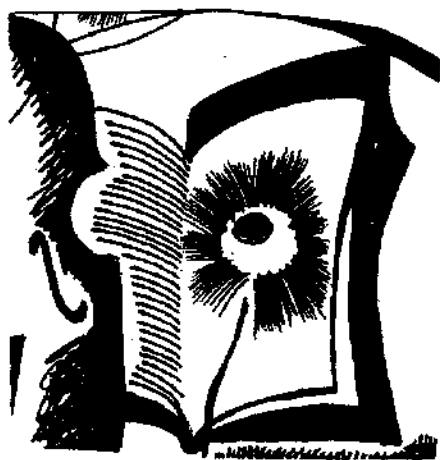


# ЭРИНТУР

(Поющее озеро)

*Альманах писателей Югры*

Выпуск № 1



Ханты-Мансийск  
«ЭРИНТУР»  
1996

# **ЭРИНТУР (ПОЮЩЕЕ ОЗЕРО)**

**Окружной литературно-художественный альманах  
Выходит 1 раз в год**

## **УЧРЕДИТЕЛИ:**

**Комитет по средствам массовой информации и полиграфии Администрации Ханты-Мансийского автономного округа;**

**Администрация города Ханты-Мансийска;**

**Угро-Ямальская писательская организация.**

## **ИЗДАТЕЛЬ:**

**Комитет по средствам массовой информации и полиграфии Администрации Ханты-Мансийского автономного округа.**

## **АДРЕС РЕДАКЦИИ:**

**626200, г. Ханты-Мансийск Тюменской области,  
ул. Мира, 5. Телефоны: (8-346-71) 3-18-30, 3-18-31.**

**Рукописи не возвращаются.**

**Мнения авторов публикаций могут не совпадать с точкой зрения редакции.**

**При перепечатке ссылка на альманах обязательна.**

## ЭРИНТУР

*Звезда-одиночка по небу сторожко  
Крадется, кого-то боясь.  
Запраталась в тени лесная сторожка,  
Так прячется в тину карась.  
Луна воссияла.  
Певучие птахи  
Притихли у крохотных гнезд...  
Ночная страда — это шорохи-страхи,  
Движенье серебряных звезд.  
И филин хохочет.  
Алеет окошко,  
И я выхожу на простор.  
Светила глазок приоткрылся немножко —  
И грянул взволнованный хор.  
Зорянки, скворцы, горихвостки, о боже,  
Ликуют, встречая восход.  
Кукушка торопится.  
Иволга тоже  
Мелодию звонко ведет.  
Поющее озеро — глубь голубая,  
Парная, живая вода.  
Поющее озеро — песня лесная.  
Эй, люди, спешите сюда!*

Андрей ТАРХАНОВ



## УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛИ!

Ты открываешь первый номер литературно-художественного альманаха “Эринтур. Поющее озеро”.

В одной книжке встретились и маститые члены Союза писателей и совсем молодые авторы, только ищущие свою тропинку к легендарному Озеру.

Символично, что альманах увидел свет в год 900-летия первого упоминания в новгородских летописях о нашей древней земле с поэтическим именем Югра.

Югра всегда славилась богатством человеческих душ, добротой сердец и необыкновенной талантливостью людей, осваивающих эту суровую землю, постигающих тайну единения человека и Природы, бес-

конечность жизни и времени.

Прикоснись и ты, уважаемый читатель, к нашей земле, ощути вкус воздуха, аромат тайги, бескрайность просторов и все богатство души жителей нашего края.

И пусть эта встреча с творчеством югорчан будет лишь первым свиданием. А затем, я очень на это надеюсь, придет искренняя и долгая любовь к их творчеству.

С уважением,  
Губернатор Хanty-Мансийского автономного округа  
**Александр ФИЛИПЕНКО**



---

## В НОМЕРЕ:

<i>Александр ФИЛИПЕНКО. К читателям</i> .....	4
<i>Андрей ТАРХАНОВ. Песни "Эринтура"</i> .....	9

## ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

<i>Евгений ВДОВЕНКО. Стихи</i> .....	13
<i>Мargarита АНИСИМКОВА. Начало (Фрагмент романа "Наледь")</i> .....	21
<i>Алексей СМОЛЬНИКОВ. Нина. Поэма</i> .....	101
<i>Еремей АЙПИН. Русский лекарь. Рассказ</i> .....	111
<i>Андрей ТАРХАНОВ. Стихи</i> .....	161
<i>Мария ВАГАТОВА. Стихи</i> .....	167
<i>Анна КОНЬКОВА. За рыбьим молочком. Рассказ. Как бабушкину смерть в гроб клали. Рассказ. Сельсь-Горностайка. Быль. Ленивая девушка. Сказка</i> .....	175
<i>Николай СМИРНОВ. Хозяйка Понизовья. Очерк</i> .....	187
<i>Сергей СМЕТАНИН. Стихи</i> .....	213
<i>Михаил ЧАЙКОВСКИЙ. Запах хлеба. Рассказ</i> .....	217
<i>Александр ИГУМНОВ. Пробуждение. Рассказ</i> .....	227
<b>ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ. Вступительное слово В. Волковца</b> .....	237
<i>Александр ГУБАНОВ. Стихи</i> .....	238
<i>Станислав ЮРЧЕНКО. Стихи. Владимир Мономах. Поэма</i> ...	242
<i>Александр ЗАГОРОВСКИЙ. Стихи.</i> .....	248

<i>Николай КОНЯЕВ. Мальги. Изоша Поперешный. Коллеги.</i>	
Рассказы .....	251
<i>Владимир ВОЛКОВЕЦ. Проза поэта</i> .....	269
<b>ЮГОРСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ. Стихи:</b>	
<i>Дмитрий СЕРГЕЕВ</i> .....	275
<i>Владислав ГРУШИН</i> .....	276
<i>Алла КУЗНЕЦОВА</i> .....	277
<i>Владимир МАЗИН</i> .....	278
<i>Галина ХОРОС</i> .....	279
<i>Леонид КАБАЕВ</i> .....	281
<i>Светлана КОВАЛЬЧУК</i> .....	283
<i>Татьяна ЮРГЕНСОН</i> .....	284
<i>Галина СЛИНКИНА. Стихи для детей</i> .....	286
<b>ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ДЕТЕЙ:</b>	
<i>Мелентьев Алеша. Сказка про собаку</i> .....	289
<i>Степичева Аня. Добрая душа. Сказка</i> .....	290
<i>Дерябина Ира. Стихи</i> .....	292

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

<i>В. Огрызко. Кто поможет литераторам Севера?</i> .....	297
<i>Э. Бутин. "Клятвопреступник"</i> .....	301
<i>В. Захарченко. "Срывается сердце на крики..."</i> .....	303
<b>К литературному календарю Югры на 1997 год</b> .....	307

## ИСКУССТВО

<i>М. Кайгородова. Художник и наставник</i> .....	311
---	-----

## ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

<i>Александр КОРНЕЕВ. Ермак. Киноповесть .....</i>	319
<i>Владимир ВОЛДИН. Так Молупси. Поэма. Пер. с ханты</i>	
<b>В. Нечволоды .....</b>	<b>377</b>





## ПЕСНИ “ЭРИНТУРА”

Вышел в свет первый номер окружного литературно-художественного альманаха. “Эринтур” — в переводе с мансийского на русский язык означает “поющее озеро”. Это песенное слово как бы символизирует духовную суть таежного Югорского края — поет озеро, поют леса, поют люди.

Объявленный учредителями конкурс на лучшее название альманаха принес замечательные результаты. Участниками конкурса стали молодые авторы, доселе не известные читающей публике. Таким неожиданным образом солидно пополнился литературный актив Угро-Ямальской писательской организации. Есть убежденность у моих коллег и у меня лично, что, если объявить окружной конкурс на лучшее стихотворение и рассказ молодых авторов, то мы откроем новые интересные имена.

На страницах своего первого, исторического номера редколлегия альманаха с радостью представляет молодых поэтов Дмитрия Сергеева и Владислава Грушина из Сургута, Александра Губанова и Александра Загоровского из поселка Советский, Владимира Мазина из Нижневартовска, Галину Хорос и Аллу Кузнецову из Ханты-Мансийска, Татьяну Юргенсон из Мегиона, Светлану Ковальчук из Радужного; интересных молодых прозаиков Михаила Чайковского из Когалыма и Александра Игумнова из поселка Советский и совсем еще юных авторов — Аню Степичеву, Ирину Дерябину, Алешу Мелентьева.

В последнее время писатели Югры все больше внимания уделяют анализу характера, душевного состояния современного человека. Мы живем в трагическом мире — об этом говорят многие строки. Нет, это не крик отчаянья и безысходности. Радость познания жизни, извечное и непоколебимое стремление человека сделать эту жизнь краше и добрее есть движи-

тели воли творца-художника, его вера в счастливое будущее. И авторы верны этим истинам, которые в конечном счете постигают и читатели. В этом — истинное и высокое предназначение писателя!

Искусством озарения души человека словом владеют наши ветераны пера — мансийская сказительница Анна Митрофановна Конькова, автор исторических романов “Ваули”, “Порушенная невеста” Маргарита Кузьминична Анисимкова, поэт Евгений Федорович Вдовенко.

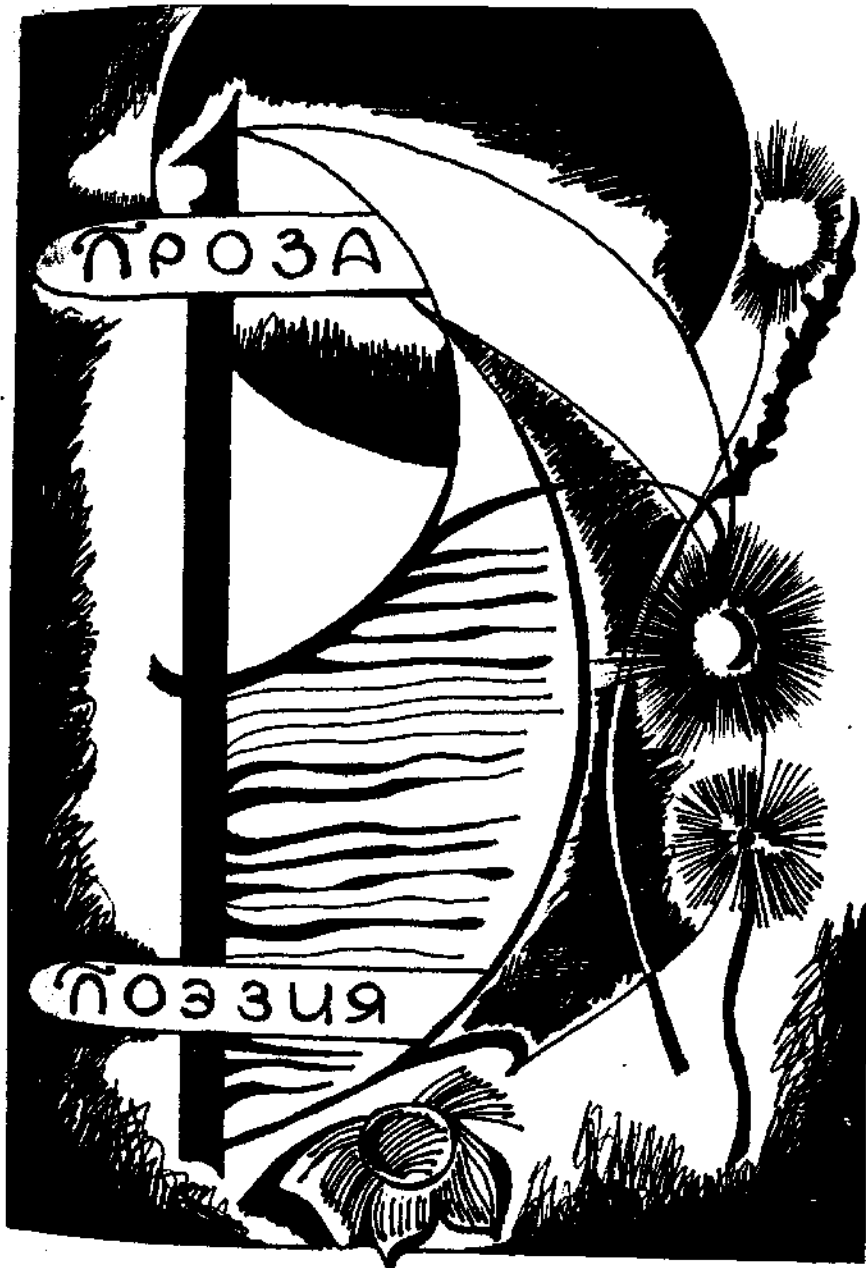
Набирают творческую силу и высоту наши известные прозаики Еремей Айпин, Борис Зуйков, Николай Коняев, Николай Смирнов, фольклористы Мария Вагатова и Галина Слинкина, поэты Владимир Волковец, Юрий Вэлла, Петр Суханов, Сергей Сметанин, Леонид Сидоров, Никон Сочихин.

Редколлегия не забыла и тех, кого уже нет с нами. В первом номере альманаха читатель впервые прочтет яркую киноповесть “Ермак” самобытного русского литератора Александра Корнеева, поэму-легенду “Так Молупси” хантыйского поэта Владимира Волдина в переводе Владимира Нечволоды.

Своим рождением альманах обязан инициаторам и учредителям — окружному Комитету по средствам массовой информации и полиграфии, администрации города Ханты-Мансийска, Угро-Ямальской писательской организации. Мы, писатели Югры, уверены — песни “Эринтура” будут услышаны не только в отдаленных уголках нашего замечательного и богатого талантами края, но и далеко за его пределами. Альманах зовет всех “поющих” людей в свои просторы, зовет к духовной благородной работе.

**А.С. Тарханов,**  
руководитель Угро-Ямальской  
писательской организации, секретарь  
правления Союза писателей  
России.





ПРОЗА

ПОЭЗИЯ



Евгений  
ВДОВЕНКО



## С 70-ЛЕТИЕМ!

**ВДОВЕНКО Евгений Федорович** родился в 1926 году в станице Крымской Краснодарского края в семье военнослужащего. Окончил Харьковское танковое училище, Рязанское высшее воздушно-десантное училище и Литературный институт им. А. М. Горького.

С 1944 по 1972 годы — на военной службе. Участник Великой Отечественной войны.

Автор нескольких поэтических книг, в их числе — "Юность на посту" (1960), "Яснополянские мелодии" (1977), "Снег юности" (1995).

Член Союза писателей с 1972 года.

В Ханты-Мансийском округе — с 1978 года. Живет в п. Советский. Служит атаманом Верхне-Кондинского казачьего землячества.

*В стихах Евгения Вдовенко пульсирует живая память о прожитом и пережитом. Нередко изломанная графика рифм несет отпечаток воли — это впечатления о нашем времени и обида за людей, близких автору по духу, по своей бескорыстной, незлобивой сути. Многие образы Евгения Вдовенко узнаваемы, за ними к читателю приходят раздумья о будущем, к сожалению, не всегда веселые, но искренние, а потому и не сразу отпускающие воображение.*

**Владимир ВОЛКОВЕЦ**



## В моем роду

В роду моем вдовство —  
глухая стенка.

Вдовою стала мать,  
а я — ВДОВЕНКО.

Что до земли,  
то, как ни выбирай,  
а только вдовьим

назовешь мой край.

То на восток дул ветер,

то на запад,

мужской

из дома выдувая запах,

и мать моя,

потомством не бедна,

к концу войны

осталась вдруг одна.

О годы мира,

годы счастья,

где вы?!

Вдовою быть —

не то, что старой девой.

Вдове о счастье

грех напоминать,

и ты меня прости за это,

**МАТЬ!**

Еще прости за то,

что бабьим летом

я взял

да и назвал себя поэтом

и в час,

когда слегла уже трава,

на край свой вдовий

предъявил права.



Заговорила  
вдовья, знать, порода,  
как поле  
в пору злого недорода,  
как сумеречный день  
в глухом бору  
и как обида  
на чужом пиру.

В лесу ли позднем  
или в хмуром поле  
легко грустится мне  
о вдовьей доле,  
но,  
как простора хочется лучу,  
своей земле я  
светлого хочу!

## Выруба

Выруба, выруба, — как все кратко и просто.  
Беспощадно и просто, как все, что судьба.  
По живому — пилой, поперек его роста —  
и повсюду уже  
выруба, выруба...

И курчавится сплошь березняк и осинник,  
и гуляют тайгой молодые ветра, —  
по вогульско-остяцкой земле ль, по России ль,  
как с похмелья они,  
не уймутся с утра...

Поперек наших жил всей России досталось, —  
кто лежит безголов, кто скребется, безног,  
в сорняковый подрост, где покоится старость  
без могил и крестов,  
лишь под голубизной...

Мужики. Казаки. Все кулацкого званья.  
Православные, нет ли, — но что им попы?  
Те лежат рядом с ними за те ж наказанья,  
безголовы, безноги,  
глухи и слепы...

Серед леса-тайги, что валили под плетью,  
не досталось им, предкам, досок для гробов,  
как поверженным ратям в былые столетья,  
и ветра веселятся  
среди вырубов...

Тяжело там ходить, хоть и гриб, и брусника  
прижились в этом хламе, и зайцу простор,  
а вот кладбищем тянет, где Русь твоя сникла,  
словно ждут и тебя там  
пила и топор...

Да поможет нам Бог! Да Россия воскресет!  
Да не станет она, как палач, с ней груба!  
Да расчистит, да сажены — в скорбные веси,  
в эти самые вот  
выруба, выруба!

## **Ручей своей крови**

В октябре, за дождями, снега и морозы сольются,  
птичья жизнь отцветет, к непогоде заносит спина  
и не всякий поверит, что это пора революций, —  
ибо только весна  
для подобного сотворена...

Но заплещутся флаги, огнем их займутся дороги  
и народ потечет половодьями ночи и дня,  
и какой-то мохнач, как шатун из медвежьей берлоги,  
будет злобно урчать  
и руками махать у огня...



А Россия — в обмотках, в ошметках, в кудлах прокламаций  
станет зверски чесаться у вороха вшивых застав,  
разбегаться, сбегаться, по-вражески перекликаться,  
поджигая стога

на окраинах скошенных трав...

О всесилье озноба, окопов, тифов, перекрестков!..  
Неуверенность дня: угасать или дальше сереть?  
Лихорадка сквозного зрачка коммуниста-подростка:  
не хочу умирать, но теперь —  
или жизнь, или смерть!..

Загляни в око мрака: когда в нем дожди пересохнут?  
Попроси наугад, чтобы посуху топтать и быть...  
Мокрота революций — ячменная опухоль ока  
И, наверно, ее —  
никогда никому не любить...

Но поди ж ты, как надо, как будто потребно здоровью,  
передумать весну, что намучилась в долгих снегах,  
и ручей своей крови назвать почему-то Любовью,  
и напутствовать в жизнь,  
чтоб густела в чужих сапогах!

\* \* \*

Кончался день. Он был сам по себе.  
Ему начхать, какое время года,  
кто жив, кто нет, рад иль не рад судьбе  
и как к нему относится природа.

Закат над лесом вспыхнул и погас.  
В последний раз прошелся верхом ветер.  
И вечер был такой, как будто нас  
ни здесь, ни где-то не было на свете.

А мы-то были! Ощущали плоть.  
На что-то дулись и претендовали,  
молились: да поможет нам Господь,  
хотя в надежду верили едва ли.

Спать, спать, душа! До будущей зари.  
И никаких намеков и зарок.  
И даже то себе не говори,  
что сам с усам. Довольно нам пророков.

Какой ни есть, а завтрак смастерим.  
Вздохнем негромко, ляжку примеряя.  
И новый день, как этот, повторим,  
в преддверьи ада или, может, рая.

## Монолог земли

Мне неведомо зло,  
Лицемерье  
И зависть, —  
Теплокровный ваш грех  
  лишь баюкаю я.  
Ты всегда нападаешь,  
А я защищаюсь.  
Ты — драчун и крикун,  
Я —  
молчунья твоя.  
Вам пока еще любо  
Заваривать кашу  
И хлебать ее  
Вечно несатым двором,  
Не заботясь —  
А вдруг  
Вновь меня не распашут  
И уже не дадут  
Разрешиться добром!

## Русь звонит в колокола

*“Я маленький хлопчик,  
принес Богу снопочик,  
Христа величаю,  
а вас с праздником поздравляю!”  
(Южное колядование)*

На Христово Рождество  
по Руси великой  
люди славят Божество  
песней

и молитвой.

Колокольные звона  
открывают двери, —  
потому и Русь она,  
что стоит

на вере.

Все церква колоколят,  
а под их покровом  
вьются тысячи коляд  
голосом

и словом.

На широкою версту,  
на наречьях разных  
величание Христу  
утверждает

праздник.

И повсюду сдобный дух,  
и белы одежды.  
У парней и молодух —  
светлые

надежды.



И снега белы, и день,  
и никто не плачет,  
и разбойник свой кистень  
где подальше

прячет.

Русь звонит в колокола:

обнимитесь, люди!

Слава Господу!

Хвала!

Небо —

чище будет!



Мargarita  
АНИСИМКОВА



## НАЧАЛО

(Фрагмент романа  
"Наледь")

*АНИСИМКОВА* *Мargarita Кузьминична* родилась в г. Ивдель Свердловской области.

Окончила Свердловский педагогический институт.

Работала в школах на Северном Урале, преподавателем в Ханты-Мансийском национальном педагогическом училище, в отделе культуры окрисполкома, журналистом.

Автор многих книг прозы, в их числе "Мансийские сказы" (1960), "Татья-богатырь" (1973), исторические романы "Ваули" (1980), "Порученная невеста" (1994).

Член Союза писателей с 1985 года.

В Ханты-Мансийском автономном округе — с 1963 года. Живет в Нижневартовске.

## Глава первая\*

Пегая лошаденка, с трудом нанятая за последний табак в Мануйловской ямской, то и дело останавливалась, натужно всхрапывала, отчего судорожно вздрагивали впалые бока.

— Ну-ну, пошевеливайся! — покрикивал Ефим, но лошадь от каждого окрика приостанавливалась, а у него не было сил крикнуть так, чтобы голос звоном отозвался в воздухе, полетел по снегам, эхом раскатился бы по берегам и уже приглушенным, потерявшим силу, вернулся обратно.

Отяжелевшие от куржака брови и ресницы слепили глаза, и он закрыл их, пытаясь уловить в воздухе хрустальную звень промерзших снежинок, вылетающих из-под копыт лошади, саней-розвальней и собственных шагов. Густая ершистая борода Ефима свалилась за трехнедельную дорогу и походила на растрепанную банную мочалку. Полы ветхой шинели, промерзшие на морозе, издавали монотонный шорох при каждом шаге.

“Упасть бы в розвальни, укутаться в тулуп и подремать, — настойчиво точила мозг одна-единственная мысль, и будто кто-то невидимый подталкивал его сзади. Он в страхе откидывал голову, шел почти на ощупь по санному следу, нарочно отставал от саней, чтобы не искушать себя. — В розвальнях и уснуть можно. Очень даже можно. Пегая тут же остановится, и привезут домой бездыханного, а разве для того, считай, полных три года в окопах мерз, вшей кормил, возле смерти ходил. А тут враз упади — и прихватит морозец. Ласково так пригреет, сыпотиху подкрадется”.

За этими мыслями он не заметил, как лошаденка остановилась. Запнувшись за полоз, Ефим грохнулся на сенную подстилку, и его зычный голос, прорвавшийся через хрипоту, потряс воздух, разгоняя сонную одурь.

— Ну-ну, торопись, пегая! Ну, пошевеливайся! — кричал Ефим, размахивая концами вожжей. — В кого ты такая тихходная? Или

\* Публикуется с незначительными сокращениями.

...тали ямские дороги? — В голосе появилась та живая струна, которая держит в постоянной власти ямских лошадей, привыкших к ступенчатому, заснеженному перегоню.

Лошаденка побежала рысью, стряхивая иней с длинной обвисшей гривы.

Луна давно поднялась над высоким берегом, ползла над черной стеной леса, освещала еле приметную дорогу по широкому руслу ручья Оби.

Вдруг словно звон битого стекла послышался впереди, и лошадь, моргнув, встала. По-молодецки соскочив с розвальней и провалившись в снег, обежал лошадь, схватил за уздцы, но сам споткнулся о дыру надолбленного льда.

— Ну, пегая, слава богу! — облегченно вздохнул Ефим, слабой рукой похлопывая лошаденку по шее. — Митрохинская протока. Теперь, считай, мы с тобой дома. Теперь хоть ползком, а до печки доползу. Она и речушка Щурогайка протекает. Она Яр. Как это я раньше не разглядел?

Лошади передалось его спокойствие, она несколько раз качнула головой, проскрежетала зубами, словно перекатывала во рту мелкие речные гальки. Смотрела на Ефима большими глазами, в которых катилась луна.

«Ишь, опять всю речку перегородил. Опять всю рыбу вычерпал», — недобро подумал Ефим о купце Мялищеве, владеющем всеми близкими протоками рек. Взгляд остановился на грудах свежыдолбленного льда, припорошенного легким снежком. Представилось, как тяжелыми чугунными пешнями и топорами мужики кололи лед, тянули из темных полыней мокрые снасти, трясли их по льду, выбирая рыбу, а вечером подводы с большими плетеными коробами везли весь улов в купеческие амбары. Ефим знал, что этот купец — главный заправила в селе. Он один поставляет в таежные села товары.

Тронул вожжи, и лошадь рысью побежала по дороге. Теперь налимя пора. Брюхатый налим холоду не боится. Посреди зимы умудряется икру метать. А какая уха из налимяей печени! Засосало под ложечкой. Проглотив слюну, машинально потянулся к холщовой котомке, но вспомнил, что еще утром догрыз последний кусок мороженого хлеба.

За поворотом показалось село, прижатое рекой к горе и спрятавшееся под ее боком от ветров и метелей. Придавленные снегом

избы казались черными гнездами, выдолбленными в снежных заносах. Ефиму представилась большая русская печь с приступками, источающая ровное тепло, способное разморить, убаюкать каждого, дать утомленному телу расслабиться и обрести силы. Он поехал, ощутил спиной холодную, давно не стиранную исподнюю рубаху — по телу пробежали мурашки.

Лошаденка, похрапывая и напрягая силы, поднималась на берег. Знакомые изгороди, заборы, палисадники, ворота, дома односельчан. Охватило чувство трепетной радости и тревоги. Он не думал, не готовил себя к этой минуте. Все казалось простым и обыденным: подъехать к дому, постучать в ворота, но это только думалось, только казалось...

Все ли живы, здоровы? Из пяти полученных писем, которые он бережно хранил завернутыми в тряпицу вместе с боевым крестом, знал, что отца одолела падучая, и, простудившись на охоте, он надрывно кашлял, отчего носом и горлом часто шла кровь. Писали, что прошедшей весной пала одна лошадь. И еще: что детишки растут, как грибки после дождя. Особенно рожденная без него дочка Маняша. И эти строки пришли на память именно в минуту, когда лошадь, почуяв скорый отдых, бежала рысцей вдоль широкой улицы.

— Тпр-у-у-у-у-у! — протянул Ефим, натягивая вожжи и еще настоящему не осознавая, что остановил лошадь, не доезжая двух домов до своих ворот. На миг показалось, что он вовсе никуда не уезжал, не видел чужих земель, чужих городов, а если и видел, то они не имели никакой к нему касательности, что только вчера он ходил по этим горбатым сельским улицам. От волнения перехватило горло. Ефим взял лошадь под уздцы и, прихрамывая на правую — пораженную ногу, будто крадучись, подходил к своим воротам. Порывисто снял с головы шапку, обтер лицо пахнущей дымом и потом подкладкой, перекрестился, постоял с минуту и постучал. Встревоженный стуком пес негромко взлаял и смолк.

— Буянко, Буянко, — тихо позвал Ефим. — Или не узнал? Буянко!

Пес бросился к воротам, жалобно заскулил, потом громко залаял. Ему отозвались другие собаки в селе, но в это время распахнулась избная дверь.

— Даша, оболокайся. Кто-то за воротами свой. Вишь, как Буянко захлебывается, — послышался шепот, и Ефим узнал голос матери. Кто-то торопливо спустился с крыльца, потянул палку, при-



дирающую на ночь ворота. По частому дыханию, по невнятному бормотанию он узнал Дашу.

— Господи, ну что же это такое? — вырвался громкий, с плачем, возглас, и тяжелая березовая палка, поддавшись силе, вылетела из скобы, грохнулась о землю. — Так и чуяла! — распахнув ворота, выкрикнула Даша и упала к Ефиму на грудь, уткнув лицо в шершавый заиндевельный ворот шинели. А он стоял безмолвный, с трудом удерживаясь на ногах, и только руки, успевшие в первый миг обнять Дашины плечи, крепче прижимали ее к себе. Сколько раз он рисовал себе эту встречу. Там, на войне, и в долгой дороге к дому он таил в себе самые сокровенные, самые нежные слова, какие только жили в его душе, потому что не знал большего счастья, каким одарила его бекинская Дашутка, сбжавшая из дома богатого отца. Сколько проклятий и обид было послано на ее голову, сколько бед пережила она в эти годы, и сколько еще придется пережить.

— Что это мы? Пошли, Ефимушко, домой. Пошли, — не отрываясь от шинели, Даша ощупью взяла его за руку.

На столе горела свеча, которую зажигали только по большим праздникам. Светлая, тяжелая капля растопленного парафина медленно сползала по старому медному подсвечнику. Свеча освещала передний угол, настенное зеркало, закрытое большой темной тряпичей. Ефим снял шапку, перекрестился, чувствуя, как к горлу опять подкатывает комок.

— Так и не дожил отец до встречи. Все дни торопил, — сказала мать, окрестив Ефима с порога. Она не заголосила, не закричала. Она к этому времени успела уже выплакать все горькие слезы, а слезы радости еще не подоспели. Глаза, сухие и ясные, смотрели на сына не с мольбой и жалостью, а пристально-вопросительно, словно ощупывали его. Мать, казалось Ефиму, не постарела за эти годы, а похудев, стала выше ростом. Черный платок, повязанный вокруг головы, подчеркивал ее бледность.

— Христовый ты мой Ефимушко, — перегнувшись в низком поклоне, проговорила она. — На все есть господня воля. Видно, дошли и до бога мои молитвы.

Было в ее скупых словах что-то чужое, не материнское. Будто это была не она, Ефросинья Алексеевна, первая на селе плакальщица, знавшая на память все псалмы. Быть может, в этот час и собралась вся сила ее души и воля, и, чтобы не дать до конца ослабиться, она призывала на помощь холодный разум.

Ефим немигающе смотрел на нее, и она, истосковавшаяся до изнеможения по этому взгляду, не вытерпела. Возле левого глаза дернулась синяя жилка, как от боли, скривилась щека, сгрудились морщинки возле сухих бесцветных губ.

— Солнышко ты мое ненаглядное. Радость ты моя единственная! — разнеслось по избе, и, испугавшись своего вопля, Ефросинья Алексеевна зажала рот сухой тонкой ладонью, вскинула взгляд на печь, откуда во все глаза смотрели вихрастые ребяташки.

— Николушка, Сергуша, — подбегая к печке, сказала она. — Чего же это вы? Тятка ваш пришел. Али не признали? Али испугались?

Ефим и сам спохватился. Очутившись возле печи, протянул руки, помогая ребятам слезть, но Николушка проворно прыгнул и оказался ростом отцу по самую грудь. В это время тоненький плач донесся из-за приступа. Ефим вздрогнул, но никто не заметил его удивленного взгляда.

— Иди сюда, ласточка-касаточка. И тебя разбудили. Иди погляди на своего тятку, — протянув к печи руки, звала Ефросинья Алексеевна.

Черноглазенькая девочка с двумя крохотными косичками возле ушей морщилась, готовая вновь расплакаться, и только ласковый, воркующий голос Ефросиньи Алексеевны сдерживал ее.

— Вот, Маняша, тятка твой. Вот он какой. И глазки у тебя, как у него, черненькие, — причитала мать. — Ну пойди, пойди к нему. Он еще не держал тебя на руках, не держал. — И она передала Ефиму девочку. Та опасливо посмотрела на незнакомца, заплакала и стала вырываться из рук.

— Попривыкнет. Сразу-то и козу не приучишь, — сказала Ефросинья Алексеевна, хотя понимала главную заминку сына: Маняша родилась без него. Ефиму писали об этом, он знал, соглашался, уговаривал себя, что нет у него на этот счет никакой черной мысли, но это только казалось, когда он был на расстоянии, когда все, что касалось не только его семьи, а даже села и всего сибирского края, было свято.

В это время с улицы пришла Даша. Распрягая лошадь, укрывая ей спину рогожей и развешивая упряжь, она тоже не переставала думать, как Ефиму полюбится Маняша, как повернется к ней его сердце.

— Вот и все, — весело сказала она, стряхивая возле порога снежинки и сенную труху с шерстяной шали. Высокая, ладная и

румяная, она показалась Ефиму до того красивой, что он отвел от нее взгляд, притянул к себе Сергушу, шмыгающего курносым носом. Достал из внутреннего кармана пиджака деревянный гребень, причесал Сергуше волосы на левый пробор.

— Как посветлеет, постригу. Вон какие длиннущие космы расхлдились. — Потом поправил ворот помятой рубашки и широкую лямку через плечо, поддерживающую сермяжные штанишки с заплатами на коленях. Взял в ладони улыбочное лицо сына, припал обветренными губами...

— Ну как вы тут живете? — шепотом спрашивал Ефим сына, а тот сопел. Ефросинья Алексеевна, улавливающая не только слова, а каждый вздох Ефима, ответила:

— Про нашу жизнь че спрашивать? Хуже некуда. Дедушка помер — совсем осиротели, — за внучка отвечала Ефросинья Алексеевна. — А в последний-то вечер вроде полегчало. Открыл глаза, поглядел на печку, позвал ребятишек к себе и перстом благословил. Я глазам не поверила. Считай, с самой осени руки не подымались, из ложки кормила, а в этот час поднялись. Еще хотел Маняшку по головке погладить, а рука-то, как плеть, упала. Охнул и утих. — У Ефросиньи Алексеевны задрожали плечи. — Народ в одночасье сбегался. А кто этому горю поможет? Руки не подставишь. — Говоря это, она суетливо металась от печки к столу, потом остановилась и, не глядя на Ефима, в горечи сморщив губы, шепнула: — Про какую-то Советскую власть сказывают. Говорят, будто верховодит всем Степан Голошапов. Да купцы и есть купцы. При ранешней власти торговали, а теперь с голоду людей заморить норовят. Полные амбары хлеба, а не торгуют. Пусть, говорят, ваша голодранская власть всем обеспечивает, а что у нас есть — то не про вашу честь...

Даша, стоя возле стола, хмурилась от каждого слова Ефросиньи Алексеевны.

Почувствовав на себе их взгляды, Ефросинья Алексеевна замолчала. В избе стало напряженно тихо, и только разгоревшиеся в самоваре угли чуть слышно потрескивали, раскаляя стенки жестяной трубы. Скоро самовар вскипел, брызги окатили пузатые стенки и темный расписной поднос.

На улице стояла глубокая ночь. Яркая луна глядела в окно. На оконном стекле крепкий мороз написал хитрые узоры.

Большая деревянная кровать стояла на старом месте, возле стены под образом Девы Марии, те же перьевые подушки, то же одея-

ло, выстеганное искусной мастерицей, каждую зиму объезжающей села и деревни в поисках заработка. Сколько ночей мечтал Ефим об этом крохотном уголке, сколько раз он снился ему во сне. Но неведанное, никогда не испытанное до этого чувство смущения и страха охватило его, когда он стал раздеваться. Это чувство не прошло и тогда, когда, очутившись под одеялом, он коснулся горячего бока Даши. Она тоже лежала притаившись. Дыхание ее было редким и тихим. Ефим ощущал его на своей щеке. Он ненавидел себя за то, что не смог сразу, по-жадному безрассудно и просто, по праву мужа и хозяина, схватить ее в объятия и, не размышляя ни о чем, не раздумывая, спроворить свое мужицкое дело. И это было бы лучше, чем нависшее молчание, отгородившее их стеной друг от друга.

— Ох, Маняша какая большая выросла, — вымолвил Ефим, положив голову на запрокинутые руки. Даша, ойкнув, вскочила на постели, поджав под себя ноги, уставилась взглядом в образ Девы Марии, несколько раз перекрестила лоб и, не проронив ни слова, отвернулась лицом к стене.

— Даша, — позвал он.

Она не отозвалась.

— Ты прости меня, Даша, прости, — заговорил Ефим, положив руку на ее плечо. — Устал я, Даша. Измаялся, — бормотал он, жадно и безудержно целуя ее плечи. — Вот утром истопим баню, припокоится душа, и все будет, как следует. Не такие мои годы, чтобы не дрожать подле здоровой бабы. Устал я, Даша. Устал.

— Не трожь меня. Отодвинься на край, — не оборачиваясь, сказала она и ловко повернула плечом. Рука его враз оказалась на подушке. Ефим вспыхнул, хрипло прокашлял и встал с постели. Он сел к столу, облокотясь обоими руками, положил голову в холодные шершавые ладони...

Голосисто, по-утреннему задорно прокукарекал петух. В ответ ему стала весело раститься какая-то хохлатка, клевать крепким клювом в пустое деревянное корытце. Будто ожидая петушиного крика, с постели поднялась Даша.

Она долго застегивала лиф на ряд пуговиц, нашитых сбоку, собирала волосы, скручивала их в большой завиток на затылке, натягивала шерстяные чулки высоко за колени, и, хотя делала это ловко, по каждодневной привычке, Ефиму показалось, что делает она это специально для него.

— Ты чего в такую рань? — спросил он шепотом.

— Баньку топить, — не скрывая раздражения, ответила Даша.

Неловко и тяжело было на душе Ефима. Он понимал, что, узнав о его приезде, односельчане один по одному станут приходить в избу, радоваться его возвращению и что при встречах ему надо быть повеселее, но он сидел разбитый, расстроенный, не хотелось вставать с табуретки.

— Ну что ты, Даша, — с дрожью в голосе спросил он, усаживаясь на лавку возле печи. Она обернулась. На осунувшемся лице резко выделялись глаза в темных больших глазницах и покрасневших веках. Будто ночью, в час его приезда, перед ним была другая Даша.

— Не-е-е-т. Так не будет. Тиранства над собой не потерплю. Побой снесу, а тиранства нет. Век слишком долгий покажется, — проговорила она, чуть шевеля губами.

— Ты это о чем, Даша? Какое же это тиранство? Устал я. Измучился, — виновато оправдываясь, заговорил он, поглядывая на печь, где зашевелилась Ефросинья Алексеевна, но Даша, хлопнув дверью, выскочила на улицу. Вернулась скоро. В руках ее был широкий плотницкий топор.

— Руби, если Маняша не твой ребенок. Не трусь. На войне не такие страхи видывал! — крикнула Даша, сдергивая с головы платок. — На что мне такая жизнь? Все равно все в ней черно! — Она распахнула дверь, изловчившись, положила голову на порог. Ефим обомлел. Он был в такой растерянности, что ничего не мог сообразить. Морозный воздух туманными клубами перекатывался через порог, окутывая голые Дашины плечи, путался в темных волосах, а она лежала на полу неподвижно.

— Мать — пресвятая богородица, образумь ты его, — спросонья причитала Ефросинья Алексеевна, обнимая худыми руками холодные плечи снохи. — Простынешь, Даша, — силилась она поднять сноху. — Разве дам я кому пообидеть тебя. Пока носят ноги, никому не дам пообидеть.

Ефим, размахнувшись, вышвырнул во двор плотницкий топор с крепким березовым топорщиком.

Еле приметная тропа вела к проруби, со всех сторон, чтобы ее не заносили снежные бураны, обставленной пихтовым молодняком. "Почистить хорошенько надо", — вяло подумала Даша, разбивая

лед обледенелой палкой с чугунным наконечником. А мысли сами по себе улетели к Ефиму. Как ни крепилась, не могла удержаться от слез. Перед мужем она была чиста, как перед богом, а потому не хотела носить в сердце обиду. Сравнила себя с рассупонившейся лошастью, у которой все время были натянуты вожжи, а теперь ездук опустил их, оставив на облучке. Даша заметила, что и походка у нее стала вялая, зыбкая, и шла она, часто проваливаясь в снег. Покрасневшие от слез веки, распухшие крыльшки носа, натертые углом шерстяной шали, пощипывало, но радость от приезда Ефима жила в ней. Эта радость, казалось Даше, витает в воздухе, кружит над ее головой, летит впереди, касается щек, лба.

Низенькая, почерневшая от времени банька стояла на краю огорода, поближе к берегу. Вылив воду в чугунный котел, Даша села на лавку в предбаннике. Легкий ветерок пробежал по крыше, прощуршал в замороженных сухих листьях березовых веников, дружками связанных под потолком.

Представилась спина Ефима — с широкими плечами, круто выпирающими большими лопатками, с березовыми листьями, прилипшими к мокрому телу, и веник, гибкий, горячий, стонящий каленый воздух от огнедышащих камней, в беспорядке сложенных в каменке.

— Чего топор-то посреди двора валяется? — узнала Даша голос Степана Голощапова. Приподнявшись, увидела, как он поднял топор, с размаху всадил в одно из поленьев в поленнице. Из-под крыльца с запоздалым лаем выскочил Буянко. — Ладно, ладно тебе! — прикрикнул на собаку Степан и махнул рукой, но пес, оскалив зубы, зарычал.

Даше бы тут в самый раз прикрикнуть на Буянку, а она, не зная почему, юркнула в баню: чего это он прибежал в такую рань?

Распахнулась избная дверь. Услышала голос Ефима и радостный возглас Голощапова. “Откуда он узнал про его приезд? Если бы Савелий прибежал, или Поликарп, или Ванюха — дело соседское, а то — Степан Голощапов. Вроде, дружбы великой не вели, в обозы вместе не ходили, не рыбачили”.

Подожженная березовая кора коробилась, скручивалась в трубочку, потом вспыхнула яркими языками огня. В остуженной трубе еще не было тяги, и черные, едучие клубы дыма повалили в баню. Даша закашлялась и выбежала, запнувшись о порог.

Если бы не пришли смутные времена, никто не стал бы дотошно вспоминать родословную Степана Голощапова. Жил бы спокойно,

ходил по деревням, клал печки, а тут перемыли все его косточки, и оказалось, что отец его с матерью были сосланы в эти края, жили под строгим доглядом исправника, и что в избе у них часто что-то искали, но тогда никому не было до этого дела. Степан подрос и научился завидному ремеслу печника, и жил не хуже других.

Потом прошел слух, что занимался он какими-то прокламациями. Толком никто не знал, что это такое. Поговорили и забыли. Но, видно, прокламации — дело серьезное, если приезжие из Тобольска всю ночь допытывались у Капитолины, где Степан. Капитолина твердила одно: сном-духом не знаю. Сама жду со дня на день. Как ушел с весны по деревням печки чинить да новые бить, так и не бывал дома.

— Печки он бьет, — ответил усатый мужчина с толстыми, короткими, словно обмороженными, пальцами. — Веревка его скоро сгниет, а его все найти не могут...

В избе Степан Голошапов беседовал с Ефимом:

— На начало января большой сход собираем. Всей волости. Работы много.

— Ага, — ответил Ефим, легонько покачивая на плече уснувшую Маняшу.

— А сегодня станем решать: надо ли везти на продажу рыбу купца Мялищева.

С кухни долетел тонкий смешок:

— Вот туто и вся ваша новая власть, — высунула из-за косяка голову, повязанную полотенцем, Ефросинья Алексеевна. — Без купцов-то вам ни шагу. У кого деньги — у того и власть, а у вас в кармане только вошь на аркане.

Не вступая в пререкания с Ефросиньей Алексеевной, Степан достал из кармана кисет и стал свертывать самокрутку. Табак сыпался мимо бумажной бороздки.

— Ой, и начистят вам хвосты-то, начистят, — доносилось из кухни. С грохотом что-то упало и разбилось. Один обломок глиняной крынки влетел в горницу, крутнулся возле Ефимовых ног. — Где тонко — там и рвется, — стонала Ефросинья Алексеевна, подбирая черепки.

— Посуда бьется — к счастью, — попытался Ефим успокоить мать, но та больше не отозвалась.

— В тайгу, к вогулам, надо людей посылать. Купцы-то их крепко прибрали к рукам. Приходи.

В сенцах послышался скрип замороженных половиц. Распахнулась дверь. Вошла Даша с полными ведрами воды.

— Баню топишь? — заметил Степан.

— А как же? Мужа отогреть надо, — с напускной игривостью ответила Даша. — Наше бабье дело такое.

В избе запахло печеным. Ефиму показалось, что от этого запаха потемнело в глазах.

— Давай-ко, Степан, разболокайся да к самовару, — уже веселей проговорила Ефросинья Алексеевна. — Я квашню ставила, загадала: удачной будет — жить хорошо станем, не удача — рукой махнуть. И не сказала бы, да только квашня-то так и пышет.

## Глава вторая

**К** вечеру повалил снег. Большие, пушистые снежинки, неслышно прикасаясь к земле, засыпали на дороге каждый след, будто принарядили землю к рождеству Христову.

Бывший староста волостной управы Нестор Прохорович Шлеин шел на сход нехотя. Ни за какие деньги добровольно не положил бы он своего шага через этот порог, где за его стол сел Степка Голошапов, мужик хотя и проворный, но всеми своими потрохами ненавидевший законный вековечный строй. Он перебирал в памяти всю жизнь Степана и никак не мог найти причину, побудившую его с такой яростью крушить сложившиеся порядки, говорить такие богохульные слова о самом государе, что ему, Нестору Прохоровичу, верой и правдой прослужившему без малого четверть века волостным старостой, было не по себе. Не могла его душа примириться с тем, что делается вокруг, и терпел он только потому, что верил: не быть этим безобразиям вечно. “Придет истинная власть. Начистит тебе хвост, Степка. Ох и начистит. Те, ссыльные-то, сгинут с глаз, расползутся по своим домам, а тебе бежать некуда. Тут, на этой земле, все твои корешки”, — рассуждал Нестор Прохорович. Мимо него, косолапя, прошел Алексей Чудинов, буркнув на ходу:

— Мое почтенье!

— Здорова! — вдогонку рывкнул староста, ощутив прилив крови к лицу. Ему вдруг стало жарко, и он расстегнул ворот дубленой борчатки.

“Не снаряжать бы рыбный обоз купца Мялищева да не просил бы он меня слезно, нипочем не пошел бы в управу. Какое мне дело,



о чем они там болтать будут. Сколь ни хорохорятся, без крепких мужиков им и шагу не сделать. Собрались голь да рвань. — Он прищурился, пытаясь узнать мужиков, идущих навстречу. — Неужто Ефим Дорошин вернулся? — ударила мысль, потому как в походке мужчины в длиннополой шинели угадывался дорошинский размашистый шаг. — Ишь, воронье слетается. И надо же, а? Эгот, пожалуй, похлеще Степки слова знает, да и востер. А ведь на него бумага приходила в волость о неблагонадежности". — Нестор Прохорович замешкался, но повернуть обратно не позволила гордость.

Встретились возле крыльца.

— Здравствуйте, Нестер Прохорович, — поздоровался Ефим.

— Здорова, здорова, Ефим, как тебя по батюшке-то?

— Быстро, быстро позабыли моего родителя.

Староста смутился, досадуя на себя: похороны Николая Дорошина были недавно, и навряд ли успели справиться сорокоуст.

"Так и лезут в занозу. Палец в рот не клади. Никакого чува не знают", — подумал, стаскивая с головы беличий трех и стряхивая его от снега.

Тяжелый, грузный, осунувшийся лицом за последнее время, он высоко поднял правую ногу в сером пиме, еле перебрасывая ее через высокий порог.

Просторная комната с широкими лавками вдоль стен была полна народу. Сизый дым самосада перемещался в воздухе, тонкой струйкой тянулся к печи с приоткрытой вьюшкой. За широким столом восседал Степан Голошапов. С краю на столе лежала старая лисья шапка, шубенки. Нестеру Прохоровичу показалось, что стол стал низеньким, а Степан, наоборот, приподнялся над ним, положив оба сжатых кулака на середину.

"С отправкой обоза можно и погодить недели две. Куда это заторопился Василий Афанасьевич?" — размышлял староста.

Будь он у власти, обмозговал бы все, докопался до сути, доказал Василию Афанасьевичу, в какую копейку выпрыгнет его торопливость, а теперь... все трын-трава.

Сомнения бывшего старосты были небезосновательны. В Сатарово вчера вечером пришла эстафета секретная: из Тобольска на Север командирован карательный отряд под руководством поручика Турова с ясной целью: ликвидация на местах всех Советов.

Надо было без суеты, под разными предлогами отправить из села всех активистов. Мялищевский рыбный обоз был самым верным прикрытием.

— Вот ваш стульчик, Нестер Прохорович, — поторопился писарь Саввушка. Все обернулись, а он как-то сжался, приклонил голову, обер правой полкой пиджака сплетенный из прутьев весеннего ивняка стул, всегда стоявший в углу и предназначенный для приезжих гостей, низко поклонился Нестору Прохоровичу и бесшумно сел за темный стол.

Никто никогда не видел этот стол без Саввушки. Когда писарь уходил и приходил в волостную управу, никто не знал, а если случилось увидеть его на улице, то обязательно в каждой избе скажут об этом, словно прибыл в село новый человек. Встретить Саввушку можно было только в церкви или по дороге в лавку. Наслышавшаяся о затворнической жизни волостного писаря ребятня не давала ему прохода: “Саввушка. Глянь-ка, Саввушка!” Оставляя свои забавы, ребятня обгоняла его, забегала вперед, стараясь разглядеть острую козлиную бородку, большие, выпуклые, как у ночной совы, глаза. Люди постарше помнят, что Саввушка получил образование с помощью купца Василия Афанасьевича Мялищева, был определен в управу, да так и сидит, тонкими пальцами старательно перебирая в столе разные прошения, договоры, решения сельских сходов и другие бумаги.

Нестор Прохорович, несколько раз кряду охнув, подставил стул ближе к купцам Василию Афанасьевичу и Ивану Валериановичу Земцову — главному поставщику лодок и каюков по всему Обскому побережью. В один ряд с ними сели два приказчика казенных магазинов и вышибала из трактира Зосим Кукушкин.

От волнения, а может, собираясь с мыслями, Степан пощипывал обветренные губы. “Сидеть-то за столом сижу, а с чего начать — не знаю, — подумал. — Как бы про карателей не проговориться. У этих хозяев уши на макушке. Только учуют — и все полетит кувырком”. Он мимоходом бросил взгляд на купца Мялищева, который, сопрев, стаскивал полушубок.

— Всю ночь не спал. По поясице будто кто палкой огрел, — тихо пожаловался он Нестору Прохоровичу. Тот молча тянул за рукав полушубок, помогая купцу.

— Ох-хо-хо, — выдохнул Василий Афанасьевич, — кого слушать собрались? А надо.

В ответ Нестор Прохорович прикрыл глаза.

Накануне вечером в управу один по одному приходили мужики-обозчики. Рассаживались вдоль стен на широких лавках, курили

само собой и молчали, словно каждый боялся начинать разговор о предстоящей дороге.

— Рановато ровно. Можно и погодить. Лошади нынче справные, — донесся голос с порога.

— Поторопиться надо, — буркнул Степан.

— К чертям его с обозом! Надоело каждый год сотни верст снег топтать да мерзнуть, — раскуривая самокрутку, говорил Савелий Туунов. — У меня от этих обозов и скрипа саней круглый год в ушах звенит. Пушай сам идет или других дураков ищет.

— Не для Мялищева это — для нас. Соберемся завтра. Надо не сразу соглашаться. Надо перед купцом покуражиться. Если сразу согласишься дать — заподозрит. Ушлый. На мякине не проведешь.

— Ну тогда я принародно перед ним покуражусь, — хихикнул Савелий. — Он у меня покусает хвост.

Разговор был короткий.

О сходе Василий Афанасьевич узнал от писаря Саввушки. Тот вошел в купеческий дом тихо, плотно прикрыл за собой дверь.

— Чего так торопно? Вчера Степан морду кривил, а сегодня — согласился. Откуда ветер подул? Никаких там бумаг не было?

Саввушка вспыхнул, но вместо слов мотнул головой.

— Разве...

— Ты, как я погляжу, совсем онемел, — перебил его Василий Афанасьевич. — Передай этой рвани — приду. Куда от них деваться?

Оставшись один, купец долго сидел за столом: думал, какой снаряжать обоз, какую положить поденщину, прикидывал выручку. "Теперь они горло-то расхабарят. Каждый норовит побольше из моих карманов выгрести. В моду вошло — деньги в чужих карманах считать".

— Ты уж свой голос подай, Нестер Прохорович, — поудобнее усаживаясь на узкой скамейке, шепнул Василий Афанасьевич, когда Степан поднялся из-за стола.

— Не секрет, пока за хлебом, солью, сахаром, керосином идем на поклон к Василию Афанасьевичу. Все эти товары у него в амбарах. На днях он обратился к нашей выборной власти с просьбой — помочь ему собрать обоз и отправить сельчан для продажи на ярмарке рыбы.

Василий Афанасьевич выдернул из кармана клетчатый носовой платок, обтер вспотевший лоб. Мужики сунули недокуренные са-

мокрутки в поддувало. Савелий Тиунов яростно тыкал окуроч в толсто подшитую подошву пима. Запахло палениной. Сидевший рядом Сергей Шарапов громко зачихал.

— Ране-то он сам полюбовно с мужиками договаривался! — крикнул Савелий Тиунов.

— Времена пошли ненадежные! — со стоном выдохнул купец.

— Как я понимаю, за спину новой власти захотели спрятаться?

— Береженого бог бережет! — опять выкрикнул купец, для чего-то встряхнув головой с жидкими прядями седых, давно не стриженных волос.

— Да от твоей-то рыбы, Василий Афанасьевич, там только хвостик да чешуя, а остальное все дармовое, — прогнусавил Сергей Шарапов. — Не твоя работа-то — наша.

— Тебе, Серега, грех роптать. Кому-кому, а тебе поденщина больше других бывает, — совестил мужика купец.

— Мне-то? — закричал Серега. — Да у меня с малолетства каждый палец тобой скручен. На-ко, взгляни. — Серега протянул ладошки с узловатыми пальцами, похожими на когти хищной птицы.

Нестор Прохорович отвернулся, сморщил большой нос, на котором то ли от какого поветрия, то ли от простуды выскочили мелкие прыщи.

— Нет у мужиков желания в обоз идти, — незаметно подмигнув Степану, сказал Савелий.

— Брюхо-то чем полнить станете? — вскочил с лавки Василий Афанасьевич. — Горло-то легче драть.

— В обоз не пойдете — весной в ногах валяться станете, — со свойственной ему сдержанностью подержал купца Нестор Прохорович. — Власть властью, а брюхо хлеба каждый день просит.

— Не пужайте, не из пугливых!

Зимние сумерки подкралась незаметно, окутали окна бусой дымкой. В управе полумрак. Настенные часы щелкнули, и послышался ровный, мелодичный бой.

— Саввушка, засвети лампу, — по старой привычке отдал распоряжение Нестор Прохорович. Писарь, как мышь, шмыгнув за дощатую перегородку. Скоро запахло керосином, и, высоко подняв над головой медную пузатую лампу, Саввушка повесил ее на стенку у стола, за которым сидел Степан Голощапов.

— Обоз-то большой собираете? — спросил Савелий.

Мялишев положил толстый палец в ухо, стал трясти рукой, склонив голову к плечу.

- Погляди-ка на него: оглох враз! — засмеялся Савелий. — Должно знаю: пятьдесят подвод.
- Да не более трех десятков коробов наберется, — через силу ответил Василий Афанасьевич. — Ответ мне точный дайте: пойдете с обозом или нет? А то в другие деревни поеду договариваться.
- Какую поденщину собираешься класть, Василий Афанасьевич?
- Ну, ей-богу! — вскочил с лавки купец, будто кто-то щипнул его сзади. — Как всегда, не пообижу. Не меньше прошлогоднего.
- Нынче надо деньги вперед выплатить.
- Так не бывает, — пропыхтел Василий Афанасьевич. — Не бывает и не будет. Под запись дам, а остальное по прибытию. Этот нечеловечный порядок не нарушу. Лучше все сгною, а на своем столе буду. Под запись дам, а остальное по прибытию.
- От твоих расчетов Егорка Хромой в петлю залез.
- Пить меньше надо. Вино денег требует, а у него, у Егорки-то, лотка луженая была. Все лилось, не задерживалось.
- Ну, тогда... — собрался что-то сказать Савелий Тиунов.
- Не грозись! А то вонь-то вытрясу. — Это подал голос Иван Андрианович Земцов. Его голос заглушили мужские матерки.
- Голосуй, Степан, за рублевую поденщину! — выкрикнул Ефим.
- Голосуй!
- Я жаловаться стану: это чистый разор!
- Считаю, Саввушка, голоса, — попросил Ефим писаря. Тот, махнув головою в плечи, изрек:
- Единогласно.
- Как единогласно? — возразил Нестор Прохорович. — Считаю, кто против такого беззакония.
- Ну, заверховодила красная зараза, — подал голос трактирный шишбала Зосим Кукушкин. — Все равно не будет по-вашему, — и, размахнувшись со всего плеча, дал Савелию Тиунову оплеуху. Тот отлетел в сторону. Началась свалка. Кто-то затушил лампу. Загрохотали табуретки, затрещали полущубки. Нестор Прохорович, прижавшись в углу, оборонялся от чых-то тумачков. В распахнувшуюся дверь выталкивали друг друга взашей. Кто-то трахнул по голове поленцем поваря. Он стонал, прижав ладонь к кровоточащей ране. Едва дойдя до двери, притянул ее к себе, набросил крючок.
- Савелий Тиунов, схватив с забора жердь, гнал вдоль улицы купца Мялищева.

Дом купца Мялищева — на изгибе реки. Крыша из листового железа, двенадцать окон в белых резных наличниках, высокое парадное крыльцо с крашенными ступеньками. Двор обнесен тесовым забором с двумя воротами. Приставлен к ним дворник Маит — мужик возрасту неопределенного, расторопный, с бельмом на левом глазу.

Хозяин Василий Афанасьевич терпеть не мог распахнутых ворот, взскивал строго. Недавно удержал с Маита рубль, а провинка его была в том, что не успел он к выходу хозяина расчистить ворота с речной стороны. “Открываем-то их посезонно, — соображал Маит. — В летнюю пору — по прибытию судов с грузами, осенью — на время рыбной путины, зимой через их ввозилось сено с покосов, да еще один раз распахивали, когда рыбный обоз отправляли. Разве че делать крадучись от сельчан надумал? Тогда они в самый раз: распахнешь — никто не увидит, и в один миг за две версты от села оказаться можно”.

Во дворе у Маита дел полно. За дровами, амбарами, конюшнями, коровниками догляд нужен.

Кроме всего, стоят во дворе две крохотные сторожки окнами во двор. Одна для упряжи, а в другой совсем недавно поселился конюх. Здоровенный глухонемой парень — Сенька Шитоев. Откуда он появился — неизвестно, но принял его сам Василий Афанасьевич, а отказать старому конюху Евлампию нашел причину: будто тот не умеет ухаживать за выездными жеребцами, которые нуждаются в особой чистке, в особом уходе. Жалко было Маиту смотреть на Евлампия. Уходя, старик навзрыд плакал, с каждой лошастью, как с человеком, прощался. Сивой кобыле по кличке Варвара на лбу челку в косичку заплел. Так она и бегает с этой косичкой. А Сеньке и дела нет до лошадей, пришел Маит к заключению, когда увидел однажды, как тот хлестал по морде любимца хозяина — горделивого Воронка.

Маиту Сенька не глянулся: взгляд у того недобрый, вороватый. Все его сердило, все было не по душе. Лошади при виде его били копытами, фыркали. Тогда Маит, запинаясь, уходил из конюшен, боясь обернуться и чувствуя спиной Сенькин взгляд. “И что его Василий Афанасьевич пригрел, — сокрушался дворник, приколавшая соскочившую с петель калитку. — Чужой он и есть чужой. Сколь волка не корми, он все в лес смотрит”. Звонкое тюканье молотка о шляпку гвоздя летало по двору, глохло и терялось за сеновалами, туго набитыми душистым сеном.

Он не заметил, как Сенька погнал лошадей на водопой, и обернулся, когда тот с силой сбрасывал с ворот поперечную перекладину, выструганную осенью из цельного ствола пятигодовалой березы.

— Ты че хряпаешь-то ее? — возмутился дворник. — Гаркнул бы, я бы открыл.

Сенька злобно зыркнул на него. Маит посторонился, уловил запах лошадиного пота, прелого сена, который принесли лошади из конюшен на своих парных спинах.

— Идите, идите, лошадушки-работнички, — ласково приговаривал дворник, пропуская лошадей. — Ты бы, Сенька, прикрыл ворота, — сказал Маит, сторонясь и морщась от боли в плече: к непогоде, видимо, ломит.

— Ладно, — услышал в ответ и не поверил. Да и Сенька приостановился, вздрогнул, будто кто-то его схватил за шиворот, но не обернулся, а пошел какой-то не своей — упругой походкой.

С испугу ломота в локтях и плечах сразу прошла. Широко расставив ноги в стоптанных старых пимах и приложив к уху ладонь, дворник стоял возле распахнутых ворот и вслушивался в громкие окрики Сеньки. Разболелась голова, заныл зуб, который Маит успокоил было табачным дымом.

“Может, Василий Афанасьевич не знает, а вокруг него творится что-то неладное? Без злого умыслу тут не обойтись. А вдруг ограбит хозяина? Или, чего хуже, пустит красного петуха? Времена смутные пошли”, — сокрушался дворник и все старался убедить себя, что, может, ему это послышалось. Но слово “ладно” назойливо звучало в ушах.

Сенька, по всей видимости, тоже струсил: мимо Маита мышью шмыгнул во двор, заперся в конюховке и сидел, не зажигая свечи. Маиту казалось, что из окон сторожки за ним следят злые Сенькины глаза. Он торопливо пошел со двора, представляя, как распахнет дверь, грохнется на лежанку в своей избушке и тут же забудется. “Наплевать мне на этого Сеньку, — уговаривал он себя. — А все одно тут че-то неладное. Чует мое сердце”.

В это время послышался какой-то звон, донесся отчаянный крик. Дворник побежал за угол купеческого дома. Легкая штора, подхваченная ветром, вылетела из окна и, порхнув в воздухе птицей, влетела обратно.

Кричала купчиха Акулина Федоровна.

Березовое полено валялось посреди пола, выбитая рама висела на одной петле, а легкая, расшитая штора раскачивалась на ветру.

— Нехристи, — кричала купчиха. — Неужели кто еще недоволен нашей милостью, а? Почитай, все село хлебом-солью питаем. Сам-то хоть где? Урядника звать надо, — кружила она по залу. — Куда Никита-то девался? Васса, Васса! — кричала она в западню между кухней и вторым этажом. — Ты, поди, знаешь, паршивка, где он? Может, опять у тебя на кухне?

С шумом распахнулась входная дверь. В нее, запыхавшись, весь в снегу, с оторванным у шапки ухом и кровоточащей ссадиной на щеке, ввалился Василий Афанасьевич. Остановившись посреди зала и тяжело дыша, расширенными глазами смотрел он на березовое полено, потом одним рывком оторвал висевшее на нитках ухо шапки, бросил на пол и стал топтать, заливаясь каким-то клокочущим смехом.

— Чего глаза-то пялишь? Или не узнала? Или заместо меня Нестера Прохоровича ждала? Ишь, принарядилась! — Он рванул красивую оборку на блузке жены. Ткань треснула и повисла, как ненужный лоскут. — И твоему Нестеру Прохоровичу морду начистили. Слышал, как кряхтел да молитвы наговаривал. Да от этих паразитов, от красной заразы, никакими молитвами не откупишься. Для них, для безбожников, ни чинов нет, ни званий. Крушат все напропалую. Куда наш разгильдяй-то девался? Сколько греха из-за него. Пусть бы лучше в армии служил, ан нет, послушал твоих слов, теперь каждый сопляк в нос тычет. Где он?

— Не знаю, — сквозь слезы ответила Акулина Федоровна. — Может, к маме уехал. Говорил, да я мимо ушей пропустила.

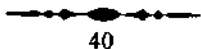
— Выйди-ка на улицу, мужики тебе вмиг уши-то прочистят. Кажись, по уху-то мне Савелька Тиунов трахнул.

Акулина Федоровна охала, металась в растерянности, не зная, что предпринять, как уgomонить Василия Афанасьевича, а тот не мог успокоиться от потрясения, и злые слова, одно горче другого, помимо его желания, падали на женщину. — Чего вы тут мозолитесь? Чего глазеете? Соображения нет — позвать кого из мужиков.

Васса, подобрав подол длинной юбки, выбежала во двор за дворником.

Маит, кряхтя, стащил с ног пимы, боясь встать на красный ковер с длинными кистями по сторонам.

— Эко своротили, — вздохнул, смахивая с подоконника снег. — Туту плотника надо.





— На всю ночь, что ли, такое поддувало оставить? Вымерзнем, как тараканы.

— Может, подушкой заложить. Все так делают.

— Да ты разуй глаза-то. Тут не подушку — целую перину тащить надо.

— Истинный бог, перину, — согласился Маит.

— Давай-давай, Маит, делай. Дам тебе рубль. Рублем больше — рублем меньше, какая разница. Все сквозь пальцы уйдет. Кругом разор. Смотри-ко, Маит, цветок-то совсем сварился от мороза. Смотри! — Василий Афанасьевич, ощупывая вялые, сморщенные листочки, крутился возле дворника, не зная, с какой стороны подойти к окну... — Ты ее как-нибудь, до утра, изладь, лишь бы снег не мел, а с утра плотник придет, а и не придет, так не велика беда. Подумаешь, рама. — Купец говорил и говорил — про Савельку Тинунова, про Нестора Прохоровича, про Степана Голощапова, но Маит ничего не понял. Кое-как изладив раму, откланялся и бесшумно закрыл за собой дверь.

Василий Афанасьевич, оставшись один, почувствовал боль в левой косице — ущупал ссадину, припухлость, расплзающуюся по всей щече.

— Вот и дожили. Жизнь-то какая пошла — глаза бы не глядели, а ведь все живешь и лучших дней ждешь. А они, денечки-то лучшие, видать, и прокатили мимо, — горько усмехнулся купец и снова потрогал ссадину. — А Маит-то чего топтался? Вроде, сказать чего хотел, а я со своими цветочками перебил его. Они, дворовые-то, иногда побольше хозяев знают. Может, от мужиков что слышал. Васса! — крикнул он и стал топтать ногами по полу, вызывая к себе кухарку, и, услышав скрип западни, распорядился: — Верни-ка Маита!

В выстуженной комнате воцарилась немая холодная тишина, и только редкие всхлипывания Акулины Федоровны слышались из-за дверей соседней комнаты, да доносился с улицы тревожный лай собак.

— Маита и след простыл, будто за ним кто гнался, — доложила в притвор двери чернбровая кухарка. — Во дворе конюх Сенька расхаживает — может, его позвать.

— Не надо! — отмахнулся Василий Афанасьевич. Напоминание о конюхе вконец испортило настроение. — Навязался на мою голову! Уговор был на один месяц, а уже четвертый живет. Соглядатай! Нахлебник! Да еще винца требует! Вот времена пошли. И не при-

тронешься, не откажешь. Стал бы раньше держать какого-то лоботряса, а теперь приходится. Маита вот, как хочу, так и ворочу. Куда он без меня? Да и он за всю жизнь без моего ведома ничего пальцем не шевельнул, а я все бурчу, бурчу. Да он, пожалуй, уж и привык, вроде как бы и рожден для того, чтобы слушать меня.

Маит тем временем заперся в своей избушке и только тут почувствовал, как трясутся у него руки.

Он не пошел хлебать похлебку, улегся на теплую лежанку возле печи и долго лежал с открытыми глазами — смотрел, как из щелей выползали усатые тараканы и, пробежав по приступку, юркали в расщелины возле трубы. Сон не приходил. Баба его, глухонемая Лукерья, принесла кружку с отваром маковых зерен. Маит выпил, обтер смоченные усы. “А Сенька-то! Сенька! Из-за одного слова порешить может. Кулачищи-то, как кувалды. Надо было Василию Афанасьевичу сказать. А вдруг да и Василий Афанасьевич вместе с ним какой-нибудь злой умысел имеют? На что им моя жизнь? — Дворник вздохнул, ощущая вялость в уставших руках. — Им бы в своей жизни теперь разобраться. Вона Василий-то Афанасьевич с какой оплеухой домой явился. Когда такое было? — Маит переворачивался с боку на бок, то и дело поправлял подушку и сердился, что под ним скрипят разошедшиеся доски лежанки. За окном расшумелась метель, снежные хлопья хлестали в низенькое оконце избушки. — К непогоде, видно, уснуть-то не мог, а всякую причину ишу. Страх на себя навожу, — с облегчением подумал Маит, прислушиваясь к завыванию разыгравшейся метели, но все-таки встал, накинул полушубок, вышел до ветру. По привычке взглянув на купеческий дом, замер. Чья-то темная фигура маячила возле парадного крыльца. Маит хлебнул ртом воздух, прикрыл ладонью изувеченный глаз... Нет, не ошибся, кто-то там шарится. Видать, чужой, а то бы в калитку, во двор и к прислуге. Васса постоянно там. Маит вспомнил про оторванную доску в заплоте, побежал вдоль забора трусцой, юркнул через нее во двор. Не успел стукнуть в переплет рамы, как увидел в нем Вассино лицо. Не словами, а жестом дворник показал на верхние хоромы хозяина.

“Слышу”, — кивнула Васса, впуская Маита. Очутившись на кухне, Маит сел на порог.

Наверху послышались шаги хозяина и щелчок крючка. Васса замерла, с проворством кошки полезла по крутым ступенькам лестницы, придвинулась к дырочке, прорезанной для кота, и замерла.

— Кто?

— Саввушка. Писарь, — сползая со ступенек, на ухо Маиту шепнула Васса и снова взобралась обратно.

— Я сейчас. Я на минуточку, — доносился дрожащий голос писаря. — Я ведь с самого вечера тут топчусь, не знаю, с какой стороны постучать. Боязно. Теперь ведь и у стен стали уши. Ладно, метель, а то бы все равно кто-нибудь увидел.

— Да не тяни ты, — нетерпеливо требовал Василий Афанасьевич. — Что тамстряслось?

— Погодите. Дайте дух перевести.

— Да говори.

— Да чего говорить-то? Вот бумага — она лучше моего вам все объяснит. Я только и скажу, что заместо Степана Голошапова эту бумагу вам показываю. Казенная бумага-то. По привычке полюбопытствовал и обомлел.

Васса видела, как на стене ползала тень от большой головы хозяина, его взъерошенной бороды. Потом борода приподнялась и задрожала.

— Не поверю! Ни в жизнь! Это наговоры! — неожиданно крикнул Василий Афанасьевич. Саввушка, изловчившись, успел приложить к его губам холодную ладонь. Василий Афанасьевич, защищаясь от невиданной дерзости писаря, ударил его по руке.

— Тише. Тише вы! — разобиделся писарь. — Я ведь мог и не принести.

— Не верю! Не верю! — хрипел купец. — Наговоры!

— Не могу знать, Василий Афанасьевич, — неожиданно четко произнес каждое слово писарь.

— Кроме тебя, видел кто-нибудь эту бумагу?

— Как есть никто. Почтарь принес поздно. Глянул: печати-то новой власти — любопытство взяло. А как вдумался — волосы дыбом. Подумал: выручать вас надо. Может, от этой бумаги Степан Голошапов к вашей семье послабже будет. Она ведь вам право дает сказать: мол, мы тоже не враги новой власти.

— И ты туда же, беспутная твоя голова? — овладев собой, построжал голосом купец. — Считаешь, купца Мялищева не стало! Так вот что я тебе скажу, и ты это запомни, на носу заруби: ты этой бумаги не видел, не получал и все, что в ней записано, забыл!

Мелкий, перекастистый смешок писаря долетел до Вассиноного слуха.

— Я за него свою роспись у почтаря оставил. Спрос за него с меня будет. Неспроста я прибежал ночью. Добра вам желаю, удар от вас отвожу.

— Неужто сын супротив отца идет? — с трудом выдавил из себя Василий Афанасьевич.

— Не могу знать, — бойко ответил Саввушка.

— Замри ты, не тебя спрашиваю, — стонал купец. — У себя спрашиваю. На черта мне твой ответ. — Василий Афанасьевич смял в кулаке казенный лист. Саввушка подпрыгнул с места, схватил купца за руку.

— Цыц! Не забывай, чей кусок всю жизнь ешь! — погрозил перед носом писаря пальцем Василий Афанасьевич. — Язык свой держи за семью замками, не то немым останешься, а с Никитой я сам разберусь. Вы теперь все-е доброхоты, а у самих теплая вода за зубами не держится. За умение молчать завтра деньги получишь.

— Грех на душу брать приходится, — уже робко и покорно отвечал писарь.

— Бог простит тебе, — донесся от двери слабый голос Акулины Федоровны. — На все есть господня воля.

Давно не открывавшаяся парадная дверь скрипнула. Васса с Маитом, припав к окну, увидели: пурхаясь в сугробе, выбрался писарь Саввушка на дорогу и побежал по ней без оглядки, подгоняемый ветром.

Наверну, забыв обиды, шушукались хозяева.

Но ни Васса, ни Маит не могли взять в толк и понять, зачем все-таки приходил писарь, было ясно только одно: говорил он хозяину о его сыне Никите, который вечером, как только Василий Афанасьевич ушел на сход, уехал в дальнее село Балашиху, к матери Акулины Федоровны.

## Глава третья

— Голова вкруг, — пожаловался Василий Афанасьевич жене. — Сердце вещует, погибель будет обозу. Вчера на сходе-то как куражились: то давай им расчет наперед, то поденщину клади рублевую, то шли в обоз отборных лошадей. И кто орал? Савелька Тиунов, Серега Шарапов. Уж они-то, как облупленные, все порядки знают, а в занозу. Не собирать обоз — совсем в убытке останусь. Месяц-другой — и рыба весь вкус потеряет. Кто ее брать-то станет? А еще заторопились, будто петух в задницу клюнул: завтра в ночь — да и только. А уж после эта потасовка-то зачалась. Голова вкруг! Зосима

Кукушкина ублажить надо. Черт его бери: отдам частый невод — рано просит. Пусть берет да в обоз идет. На него полная надежда. Только скажу про невод — глаза-то забегают, а если узнает, что блевую поденщину положу — без оглядки за обозом побежит. Питура у него такая.

Акулина Федоровна плохо слушала мужа, вздыхала, ежилась под меховым одеялом.

“Сына бы послать...” — с горечью подумал Василий Афанасьевич, но махнул рукой и стал одеваться.

Прислуга давно проснулась: колола во дворе стые дрова, хлопала дверьми, скрипели на коромыслах ведра.

— Зосим чтоб ко мне без оговорок явился, — приказал Василий Афанасьевич шорнику. — И чтоб одна нога там, другая — здесь. Знаю я вашего брата, лишь бы за воротами скрыться.

Зосим Кукушкин одет был по-дорожному: в меховых унтах, в величье безрукавке под овчинным тулупом, в пыжиковом треухе.

При виде его купец растрогался, зашвыркал широким носом, стал вытирать носовым платком покрасневшие веки.

— Вместо моих глаз там будешь. Не пообижу — шепотом, с придыхом промолвил купец.

Зосим озорно подмигнул, распахнул полу безрукавки и показал блестящую рукоятку пистолета.

— Откуда у тебя эта оказия? — поперхнулся купец. Но тут распахнулась дверь и ввалился приказчик Филипп, заорал с порога:

— Из амбаров рыбу грузят!

— Кто-о-о-о? — заерзал на стуле Василий Афанасьевич.

— Мужики. Сказывают, в ночь отправляться станут. Распахнули амбары.

— А ты там на что?

— Я один разве с ними совладаю? Они подле меня ходят, как подле чурки с глазами. Липатий так толкнул — шапка с башки слетела. У их, видать, ярость с вечера не стихает.

— Кто верховодит, того в обоз не возьму — пусть рот не разевает. Товар пока мой, — придерживая рукой поясницу, говорил Василий Афанасьевич.

— Ефим Дорошин говорит: торопитесь. Только складывайте все тутем.

— Ефим-то куда рвется? — удивился трактирный вышибала. — Еще онучи высушить не успел, чаем брюхо отогреть, а в обоз соби-рается. У самого кожа да кости.

— Голод-то не тетка, — изрек купец, не предполагая, что Дорошин может отправиться в обоз. “Уж лучше пусть пять крикунов, как Савелька Тиунов, идут, чем один молчун Ефим Дорошин, — вздохнул Василий Афанасьевич. — У Савельки что на уме, то и на языке, а этот... — От этой вести Василий Афанасьевич скукожился, насторожился. — Хотя, если припомнить, сколько раз сам ходил к Ефиму — просил, уговаривал сходить с обозом и всегда был спокоен: все без утайки будет выложено перед ним на столе. Это не Зосим, не Филипп, которые глотают гривенники — лишь бы утаить. А теперь на них опора. Какая это опора? Все, как на подпиленных столбах, зыбко. Того и гляди, все рухнет. А что делать? Ефим-то, ясное дело, перемахнулся к большевикам. И его слов не надо: взглянешь и определишь — не по нутру ему старые порядки. А чего добиваются? Понять не могу. А эти-то, — сморщился купец, взглянув на Зосима. — Эти-то что: куда ветер — туда и ум, лишь бы платили”.

— Че делать-то? — топтался приказчик.

— Тебе на своем месте быть, — отрезал Василий Афанасьевич. — И в ночь вместе с ними в обоз. И чтобы — в оба глаза!

— Так, у меня спину отсекает. Как только простужу — пластом лежу. А там какая стужа будет... — заканючил приказчик, страшась представить снежные переметы, крутые взвозы, сугробы. — Вона, Василий Афанасьевич, глухонемого Сеньку пошли. Глаза у него острые, как шило, а в обозе-то идти — в молчанку играть. А лошадей он не любит. Вчера так чресседельником Воронка понужал — у того глаза налились кровью. А сам все время шнырит, шнырит, и все выглядывает. Чужой он.

— Не твоего ума дело! — осек хозяин и, набросив на плечи полушубок, вышел из дому. За ним, нервно теребя заячий пух на шапке, семенил Филипп.

— Что это такое, люди хорошие? — потерянно спрашивал Василий Афанасьевич. Но его вроде никто не расслышал: шла деловая толкотня — погрузка рыбы в короба. Рогожные кули мужики складывали на сани, больших осетров несли, как бревна, на плечах.

— Поберегись, хозяин! — услышал сзади. Обернулся — ткнулся в лошадиную морду и будто ожегся, почувствовав на щеке прикосновение заиндевевших клочков шерсти. Перехватило дыхание, показалось даже, что все это происходит во сне, а не у него во дворе.

— Ну ты, потише! — рывкнул на мужика трактирный вышибала,

заметив растерянность хозяина. Но растерянность купца скоро прошла. От окрика Зосима он вроде бы проснулся. Сбросив с плеч полушубок, схватив лошадь под уздцы, оттолкнул юркого мужичишку и в припадке гнева заорал:

— Во-о-о-н! Вон со двора, голытьба! Не касаться! Не подходить! Все сгною! В реку выброшу! Вон, чтобы духу вашего не было, чтоб глаза мои не видели! — Он схватил с земли тяжелый бастрьг, но тут же бросил себе под ноги, затряс кулаками над головой, повтряя одни и те же слова. — Без вас обойдусь. С голоду всех уморю!

Мужики остановили погрузку.

— Все за ворота, — цедил сквозь зубы трактирный вышибала, ширя взглядом, кого бы первым схватить за шиворот и выбросить за ворота с такой силой, чтобы выбранная им жертва не могла оклеветаться от удара многие дни. Юркий мужичишка Липатий, заметив медленное шевеление пальцев Зосима, успел вожжами хлестнуть по руке. Зосим взвизгнул. Из конюховки с винтовкой не вышел, а выполз на брюхе глухонемой Сенька Шитоев, но тут же уполз обратно, никем не замеченный. Со стоном прижался спиной к стене и долго стоял, кусая себе губы, сгорая от желания перестрелять эту толпу.

Ефим Дорошин сел рядом с купцом, когда тот, грохнувшись на сани-розвальни, втянул седую, непокрытую голову в широкие квадратные плечи и сплевывал себе под ноги. Ефим отряхнул от снега валявшийся возле ног купца полушубок, набросил ему на плечи.

— Рано. Рано вы меня хозяином считать не стали, — выдавил купец, шумно дыша.

— Вспомни, Василий Афанасьевич, раньше-то как было? Кто хоть тебя будил, когда грузили рыбу? И раньше так было. Погрузят рыбу, а уж тогда и спрос: когда обозу отправляться? Может, за эти годы, что меня не было, ты другой порядок установил?

— Не про тебя, Ефим, разговор, — ответил Василий Афанасьевич. — Знаю: ты пакость не сделаешь, копейки не утаишь.

— Так ведь тут все мужики наши, сельские. Ты их с малства знаешь.

— Наши, да не наши, — покачивая головой, тихо произнес купец. — Вроде, все так, и все не так. Каждое слово поперек сердца кладется. Ты-то, Ефим, куда собираешься? Какой тебе обоз? Я тебе так все дам по нашей старой памяти, знаю, в долгу не останешься.

— Рад бы в рай, да грехи не пускают, — уклончиво ответил Ефим.

— Не ходи, Ефим, в обоз. На что тебе такая маята? — Мялищев по-дружески хлопнул его по плечу вялой, тяжелой рукой.

— Грузить-то можно? — вместо ответа спросил Ефим.

— Черт с вами, грузите. Только Савельку Тиунова в обоз не брать. Если пойдет — пусть на своей лошади.

Савелька хохотнул:

— Где я ее, лошадь-то, возьму? Ведь знаешь, Василий Афанасьевич, осенью она околела.

— Савельку в обоз не брать. Платить ему, горлохвату, не стану. Слово мое крепкое!

Все шло, как надо: плетенные из ивняка короба, до отказа наполненные рыбой, накрытые рогожными покрывалами, перевязывались веревками. Оставалось одно: запрячь лошадей и отправиться в путь-дорогу.

Но всегда снаряженный в долгий поход санный обоз вызывал у сельчан таинственную грусть. Редкий год возвращались мужики домой живы-здоровы. В прошлом году, по прибытии из обоза домой, повесился Егорка Хромой в предбаннике. В позапрошлом — угодило в наледь пять хозяйских подвод. Ухнули под лед, только и видели. Еще раньше годом Мишка Тренихин ноги обморозил. Еще раньше кого-то из-за драки в каталажку посадили. И так на людской памяти с обозом связано много бед.

Заведено: перед отправкой в обоз каждая хозяйка баню топит, квашенку ставит. Все для того, чтобы хозяин чаще о доме думал.

Степан Голощапов был спокоен: с обозом собрался идти Ефим Дорошин.

Ефим заболел неожиданно. Еще с вечера красноватое пятно возле сквозного ранения разгоняло по всему телу жар, и своего нездоровья он не мог скрыть ни от Даши, ни от матери. Решил не поддаваться хвори, пошел с мужиками обоз грузить, да тут, во дворе, сразу после разговора с Василием Афанасьевичем, потемнело в глазах, и он не помнит, как подкосились ноги. Открыл глаза только в избе.

— Это ему дорога в стужу отрыжку дает. Какой ему обоз? — расслышал он чей-то голос, но снова темные круги, как черные клубы дыма, накатывали на глаза, застилая свет.

Степан Голощапов спозаранку шел в управу.

Писарь Саввушка уже сидел за столом с примочкой на голове. Почувствовав, что Степан хочет о чем-то его спросить, засуетился, не зная, куда спрятать трясущиеся руки.



— Станный ты человек, Саввушка. Кто тебя так напугал?  
— Отродясь такой, — выдохнул писарь.  
— Я вот смотрю и все думаю, а не перебраться ли нам во вторую половину избы. Не нравится мне в этой управе. Все управа да управа. А какая теперь управа? Теперь мы исполнительным комитетом зовемся, а люди по привычке все в управу идут.

— В той половине холодно, окна на северную сторону выходят, да и вьюшка там не плотно закрывается.

— Все это ерунда: северная сторона, вьюшка.

— Плохо там, неудобно, — оглядывал писарь свой письменный стол.

— К чертям собачьим, чтоб я сидел на месте волостного старшины, — отставляя стул в сторону, резко сказал Степан. — Его стол, его стул. Вчера-то как глядел на него Нестор Прохорович, да как тяжело вздыхал. Жалел, видать. Во второй-то половине сходь собирали да служивые — приезжие люди останавливались.

— Суд там велся, — добавил писарь.

— Давай-ка, Савелий, ты — за этот стол, я — за твой, — решил Степан. — По отчеству-то ты ведь Лукич. До какой поры тебя все Саввушкой да Саввушкой звать станут? Лысину приобрел, а самого все как углана обзывают.

— Благодарствую за память к покойному родителю, — засмутился писарь, пытаясь отодвинуть с места свой стол. — Вот Дунька моет, никогда не отодвигает, ножки-то и прильнули к полу, как приколоченные, — тужился Саввушка.

— Ступай, скажи Дуньке, пусть протопит вторую половину, перемоем, и мы все перенесем.

Во время передвижения столов и прибежала в комитет Даша Дорошина сказать, что Ефим неожиданно заболел. Она долго не знала, с чего начать, стояла, теребила кисть клетчатой шерстяной шали. — Наверно, ему дорога отрьжку дает. Когда пришел в себя, велел сказать: Антона Шмигельского с обозом надо послать.

— Обоз-то... Вожусь тут со столом, а там... — заторопился Степан.

— Обоз-то, мужики сказывают, готов. Нагружены тридцать коробов. Только с ними Зосим Кукушкин пойдет да хозяин приказчика Филиппа туром турит. Филиппу неохота, а Василий-то Афанасьевич твердит: твой тамо глаз нужен. Твой. Ты за это деньги получаешь, да, ко всему, поденщина пойдет.

Без Ефима срывалось главное дело. Мужики могут не все предусмотреть, не всегда послушать один другого: в трудную минуту станут делать всяк по-своему.

— У кого лошади получше? — вслух рассуждал Степан, мысленно пробегая по крестьянским дворам.

— У Арси Попова, — подсказала Даша.

Арся, мужик немногословный, Степана понял с полуслова.

— Обоз пусть в ночь выходит, мы с Антоном возле Чащинской протоки встретим его. Моих-то ребят пусть возьмут в обоз — не маленькие, привыкать надо.

Он мигом запряг лошадь и напрямик, сеновозной дорогой, поехал к Антону.

Антон Шмигельский был польских кровей, бунтовщиком, и сослан в Сибирь на вечное поселение.

Пришел он в эти края в лютые морозы. Вокруг ничего живого: птицы в снегах попрятались, звери — в дуплах и норах. Ветер дурил несколько недель, ворочал снежные сугробы, перемел и без того еле приметную дорогу. Он шел под монотонный скрип санных полозьев, треск перемерзшей упряжи да редкие возгласы конвоира Лаврентия Туева. Иногда сквозь мгlistую пелену снега виделась в тумане вершина горы Коргувки, горбатая, с пологими отрогами. Антон тер рукавицей глаза, стоял с минуту, стараясь отогнать видение, и снова шел, запинаясь о снежные переметы.

— Но-но, пошевеливайся, — подбадривал его конвоир, погоняя кнутом лошаденку. — Кажись, немного осталось. Ден семь пройдем, сдам тебя из рук в руки, и делу моему будет конец. Ох и велика, ох и велика Сибирь-матушка! Она какая. Идем, идем, а ей все конца-края не видно. — Конвоир говорил для себя, потому что ссыльный не слышал его из-за скрипа полозьев. — Вот освобожусь, и тогда гуляй, Лаврентий, нет тебе заботы.

За этими благостными мечтаниями конвоир и не заметил, как ссыльный, споткнувшись, упал в сугроб.

— Экий ты неловкий стал. С виду-то, вроде, и молодой, — сползая с саней и пурхаясь в длинном овчинном тулупе, бормотал Лаврентий. Он шел прихрамывая: ноги отекли, в коленях можжило. — Ну чего растянулся-то, вставай, — деревянной рукояткой кнута похлопывал он Антона по плечу. — Место нашел. Ты давай не дури, мне за тебя ответ держать. Если бы старик был, я бы посердобольство-

ял — посадил в сани, а про тебя так и прописано в бумаге: идти по дороге пешком. Ясное дело, тоже наказание. — Лаврентий пришел возле ссыльного. Давай, парень, подымайся. У меня дома-то мерно по лавкам. Не от веселой жизни в снега пошел. — Конвоир бормотил, отдирая сосульки с рыжих усов. — Да ты, видно, отошал. Давай, однако, пошевеливайся, парень. Мороз ведь холодит да и умерки подвигаются.

Антон слышал и не слышал конвоира. Не было сил приоткрыть глаза. И виделся ему в эту минуту лик Святой Барбары — покровительницы шахтеров, слышался торжественный хор певчих в косте-

— Что ж ты, парень, — уже сбросив с плеч тулуп, пыхтел Лаврентий, вытаскивая Антона из сугроба. — Так и пуп сорвать недолго. Истинный бог. Экая каланча. Да я тебя сейчас в сани положу. Парушу бумагу-то — кто тут видит: снег да ветер. Им там за столами-то че? Написали: чик-чирик, а тут иди такую даль человек. Этакую даль! — спохватившись, покачивал головой Лаврентий, со страхом подсчитывая в уме пройденные парнем версты. — И за че такие страдания принимать в молодые годы? Да еще из чужих краев. Не светится вам тихо да смирно. Не разбойники ведь. Видать по обычью — благородный. Молчишь. Я вот раз вел арестанта Жорку Колокольчика... С подводы-то меня выволок, я у него Христа ради в сани просился, а ваш брат, благородные-то, с ног падают, а не попросят. Что б тебе не сказать, не попросить меня — так нет. Благородный. И почему это вас, благородных, в этакую даль шлют? С разбойниками, с теми другое обращение: их сразу в тюрьмы, в каталажки, на замок, кого закуют в цепи, кого к стенке прикуют, а вашего брата, благородных, все в снега гонят, ближе к морозам, от людских глаз подале.

Словоохотливость напала на Лаврентия со страху: поставят в вину недогляд, самого затурят в каталажку. От суммы да от тюрьмы нет дароку. А угодить туда — не приведи бог. Гонимый страхом, долго не раздумывая, конвоир опрокинул парня на тулуп и, забыв о боли в ногах, поволок его, затащил в сани-розвальни и только потом, отдышавшись, стал снова тормозить: жалко стало парня, кем-то гонимого на край земли, жаль самого себя, оставленных полуголодных ребятишек, жаль брата, вернувшегося с войны безногим, жаль валенки, которые так быстро сносились. И жизнь в эти минуты показалась ему никудышной, и нисколько ее не было жаль, и очень

даже просто он может лечь рядом с этим парнем, заснуть и к утру очоженеть. Он даже примостился к нему.

— Нет. Это я сдурел окончательно, — вскочил Лаврентий. — Помереть-то и дома можно, по-путному, у людей на глазах, а чего тут-то? Помру, запорошит снегом, кому какая печаль? Был, да не стало Лаврентия!

Конвоир трянул головой, дернул вожжи и весело свистнул. Лошаденка наострила уши, стяхнула с гривы легкие снежинки и весело побежала до первого перемета.

Лаврентий жадно хватал ртом воздух, дышал громко и часто, слизывал с усов налипший снег. Засмеялся от радости, что видит впереди узкую полоску солнца над горизонтом, бегущую навстречу поземку.

— Ну, ты, шевелись, парень. Открывай глаза-то, открывай. Вот и хлебец тебе. Я его запазуху положу, пушай отогреется — перемерз в мешке. Я сам-то обойдусь. Я ведь и рыбы наемся.

Распахнув дряхлый полушубок ссыльного, Лаврентий увидел на его шее золотую цепочку, потянул — и на груди у парня оказался золотой крест.

“Сэстолько золота! — дрогнула мысль, и он, уже забыв обо всем, стал делать прикусы во многих местах нагрудного креста. — Золото. Уж я-то знаю в этом толк. Не зря тюремный комендант всегда велит на зубах каждую погрешушку пробовать: то кольцо, то шпильку какую, то булавку. Случалось, и крестики. Бывали красивые, с распятием Христа, а этот — всем крестам крест. Граммов тридцать будет, — думал он. — Отведи, господи, от соблазна. Отведи, не искушай, — молился Лаврентий, закрыв лицо ладонями. — Не к добру это. Золото — всегда не к добру. На что оно мне? Куда с ним, господи? А на эти деньги какую избу купить можно. Вот мещанин-то Субботин. Какая у него изба на торга пошла: крыша железная, конюшни, сарай, амбары, двор тесом крыт. Полати во всю кухню, ребятам спать — одна теплынь. Как хорошо-то было бы! Себе бы шапку из мерлушки купил, пальто справил. А уж Настену бы как одел. Все бы на ярмарке купил. На зависть другим. А ведь зависть-то — плохо... На зависть всем — нельзя. Опять же, допытываться зачнут: откуда у Лаврентия деньги взялись? А я бы больше не стал в снега ходить. Нипочем. Пушай других ищут. Хворым бы представился. При богатстве-то и о хвори думать можно: то будто в одном месте кольнет, потом в другом, а когда в кармане-то вошь на аркане — успевай поворачивайся. Тридцать граммов! Ай, ты боже мой,

подскажи, че делать твоему рабу Лаврентию. Знаю, знаю, на темные дела у тебя совета не просят, тут черти начинают ум мутить. Не каяться перед тобой надо за греховные мысли, а я отвязаться от них не могу”.

И конвойный, уже не в силах справиться с собой, думал только, куда спрятать золотой крест. Он уже сотворил молитву, отвел от себя руки и, оцепенев, встретился со взглядом ссыльного. Из груди Лаврентия вырвался отчаянный крик. Лошадь рванула сани и поскользнулась, выбрасывая из-под копыт сыпучий снег.

На счастье Лаврентия, у самой кромки болота показалось конушное жилище. Струйка черного дыма тонкой стрелой вонзалась в темное тугое облако. Это был чум бедного вогула Ильки Хатанзева по прозвищу Кривая Нога. В нем было тепло, пахло снегом, прокисшими шкурами, собачьей шерстью.

На другой день, когда охотник Илька разглядывал ружье Лаврентия, Антон отвел конвоира в сторону, положил в руку золотой крест и сказал:

— В обмен на свободу.

Лаврентий поперхнулся табачным дымом, кашлял долго, не осмеливаясь поднять глаза.

— Оставь меня здесь, — подсказал Антон конвоиру. — Сам хозяйство поправишь. Только не сразу. Не жадничай.

— А вдруг да самого в острог? — отдувая от губ отросшие в долгой дороге усы, шепнул Лаврентий.

— Бог высоко, царь далеко.

— Чум-то малый, — вытирая со лба пот, сказал Лаврентий. — Сбьют много. Может, другой чум поищем. Здесь они часто станут нападать.

— Здесь останусь.

Лаврентий ломал голову, как упросить Ильку Кривая Нога остаться в своем чуме неизвестного человека. Пришлось расстаться с ружьем.

Засыпая на шкурах под нескончаемую песню пурги, Антон часто видел во сне три высокие сосны возле монастыря, гору, с которой он с друзьями-товарищами должен был напасть на царский гарнизон. Тут Антон вскакивал, сбрасывал с себя оленьи шкуры, пугал прыгнувших в ноги собак, выползал из низкого жилища и кружил возле него.

Илька Кривая Нога тоже просыпался, косолапил за Антоном, говорил на ломаном русском языке.

— Не бойся. Совсем не бойся. Медведь спит. Крепко спит. Не бойся. У Ильки хорошее, хорошее ружье есть. Спи, парень. Долго спи. — Доверчивому и простодушному Ильке были непонятны душевные страдания Антона.

А ночь тянула отведенное ей время, и снова, лежа на оленьей шкуре, сквозь дрему он будто слышал голоса повешенных на высоких соснах товарищей: беги, беги, Антон! Измена! Он прислушивался к тишине и от таинственного шороха снега, тягучего, нескончаемого завывания ветров и метелей испытывал томительную тоску, готов был бежать, бежать вслед за Лаврентием. Безымянный пятнистый песик, прижавшись к ноге Антона, тыкался влажным носом. Рука Антона коснулась всклокоченной шерсти на его спине, пальцы дотронулись до острых ушей, и обласканный песик от наслаждения жалобно скулил, облизывая шершавым языком его большие ладони, вилял хвостом. А Антону виделось хлебное поле, гнезда аистов на крыше дальнего сарая, часы на башне ратуши, и на самой ее высоте золоченая труба горниста, который, открыв окошки, трубит на четыре стороны света. Слезы сами катились по щекам, прятались в густой бороде. “Неужели здесь, в этих заболоченных местах придется доживать свои дни?”

В неказистом жилье Ильки Кривая Нога никто не замечал страданий Антона. Каждый жил своей жизнью, а сам хозяин с утра уходил на охоту с ружьем Лаврентия, возвращался, засыпанный снегом и заиндевелый, заносил в чум запахи леса.

— Скоро солнце придет. Скоро, скоро, — говорил он, вынимая из лузана шкурки соболей. — Скоро, совсем скоро. Соболю шкуру менять собрался. Илька больше не станет бить соболя. Плохая будет шкурка, купец брать не будет. Зачем стрелять соболя. Пусть бегают. Пусть бегают.

Весна приходила нехотя: солнце шарило по горизонту, освещало макушки деревьев, будто боялось коснуться лучами промерзшей земли. От его отблесков снег твердел, покрывался толстой ледянистой коркой. Пятнистый пес носился по насту, как по мощеной дороге, прижимал уши и заливался лаем. Звонкое эхо перекатывалось по болоту, улетало в даль.

Однажды с дальней стороны ветер донес крик. Илька Кривая Нога положил темную ладонь козырьком на лоб, долго глядел, слушал, повернув к болоту открытое ухо, затем махнул рукой:

— Потепка Меланью косы таскает. Мало-мало кататса, — сказал и пошел обратно в чум. Потепка, седой старик, зимой приезжал

Ильке. Он долго и до пота пил чай, разглядывал ружье Лаврентия, кососа поглядывал на Антона. Руки у Потепки были большие и сильные, с широкими твердыми ногтями и темными ободками набившейся под ними грязи. В глубоких складках возле рта темнели бороздки от размороженного табака, положенного за губу. Густая, зеленоватая жижа сползала до самого подбородка и вызывала у Антона брезгливость. Он вставал и уходил из чума, чувствуя на спине колючий взгляд старика.

— Потепка богатый. Шибко богатый. У Потепки много-много оленей, — говорил Илька Кривая Нога, проводив гостя. — Потепка, как собака, сердитый. Плохой Потепка.

На противоположном краю болота обозначились темные пятна.

— Беги, беги, — сказал Антон пятнистому щенку и тот, прижав уши, пустился бежать по скользкому насту, заливаясь радостным лаем.

— Плохой Потепка. Опять Меланью волосы таскат, — сказал Илька Кривая Нога. — Беда, беда. Совсем плохо живет Меланья. — Илька не успел войти в чум, а щенок, жалобно скуля, бежал обратно, подпрыгивая на трех лапах, волок переднюю, то ли перебитую, то ли онемевшую от сильного удара.

Антон будто кто-то толкнул в спину, он сделал несколько шагов, но провалился в снег.

— Не ходи, не ходи. Потепка злой, как собака, — уговаривал Илька, подавая Антону широкие охотничьи лыжи, обитые шкурой оленьей голени.

Антон шел на лыжах неумело: запинался, падал, упираясь руками о колючий наст, поднимался.

Потепку он узнал сразу. Тот сидел на нарте и будто напоказ Антону толкал хореем в спину женщины, привязанной к нарте кожаными ремнями, и kloкочущим, нервным криком, казалось, подбадривал себя. Он делал вид, что не видит Антона. Да и кто, когда мог помешать ему, Потепке Самбиндалову, у которого пять стад оленей.

Но, встретившись взглядом с Антоном, он спрыгнул с нарты, поднял хорей над головой, с размаху ударил по спине женщину. Та, сделав несколько шагов, провалилась в снег, уткнувшись лицом в ладони и подставляя Потепке покатую спину. Одна черная коса, привязанная к ремням, распалась, и волосы, подхваченные ветром, кружили над ее головой.

Антон от гнева словно забыл все слова. Он смотрел на Потепку и не видел его лица, перед ним расплывалось круглое пятно. По-видимому, вид у Антона был устрашающим. Старик с визгом метнулся к нарте и вытащил из-под шкур топор. Потепка умел драться, но те драки были из-за оленей, из-за пастбищ, из-за охотничьих угодий. Никогда в своей жизни он не дрался из-за женщин. Каждый отец сам привозил ему в жены своих дочерей, менял их на оленей. Так было всегда. Потепка всегда был прав. Другие рассуждали: зачем ругаться с Потепкой? У Потепки много оленей, а богатые всегда сильные...

Потепка лежал в снегу и не верил, что руки его связаны за спиной. Он плевался, роняя в снег мокрые крупинки табака, и кричал, кричал что-то женщине на своем, не понятном Антону языке. Она стояла не двигаясь, и только вздрагивания плеч да всхлипывания передавали ее состояние, но она не поворачивала головы, боялась взглянуть на незнакомого человека.

— Потепка убивать будет, — неожиданно сказала она по-русски. — Потепка купил меня. Потепка бить будет.

— Я из него дух вытряхну, — пообещал Антон, с отвращением глядя на старика. Тот барахтался в снегу, в ярости бил о снег ногами и хрипло выкрикивал какие-то ругательства.

— Не будет тебя Потепка бить, не будет, — говорил Антон, лихорадочно отвязывая Меланью от ременной упряжи. — Я ему шею сверну. Слышишь ты, старая собака!

Меланья стояла перед ним маленькая, напуганная, с белым лицом в кровавых подтеках, со встревоженным взглядом черных глаз и такими бровями, словно взобравшимися от испуга высоко на лоб.

— Не бойся. Пойдем со мной. Пусть он тут валяется.

Потепка понимал сказанные Антоном слова и истерично кричал:

— Меланья! Меланья!

Но рука у Антона была сильная. Он вел Меланью к чуму Ильки Кривая Нога. При виде ее Илька встал на лыжи и побежал к Потепке на край озера.

Старик искусал в кровь губы, но не кричал на охотника, не грозил ему проклятиями. Он обмяк, ссутулился, еще больше постарел.

Илька Кривая Нога вернулся понурым.

— Он боится Потепки, — сквозь слезы прошептала Меланья.

— Не бойся. На добро у людей память добрая, — говорил Антон, собираясь в дальнее русское село.



Меланья ушла с Антоном Шмигельским и народила ему трех сыновей, здоровых и крепких.

## Глава четвертая

Проскрипел плетеными коробами рыбный обоз, и скоро в мгlistых сумерках расплылись очертания лошадей, подвод, мужиков. С высоты взгорья казалось, что на тверди скованной морозами реки образовалась темная трещина и разделила ее на две половины.

Василий Афанасьевич стоял с непокрытой головой, мям в руках лисью шапку, сквозь прищур пытался отличить одну подводу от другой, но перед глазами плыла темная полоса, и только редкие окрики мужиков глухими отзвуками ласкали его слух. Скоро все стихло, и над селом воцарилась привычная тишина. Может, так было и всегда, только купец не замечал этого. Раньше, проводив обоз, он шел домой веселый от сознания, что все рыбные хлопоты позади и он будет жить спокойно до новой путины, думал только о том, в какой оборот пустить предполагаемую прибыль, зная наперед, какая прибавка будет к его капиталу. Он всегда был уверен: никто не обманет его. "Мужики наши честные — не станут брать грех на душу. Послушные, услужливые. Это нонешный год их будто подменили, будто муха какая укусила — на слово каким-то комитетчикам поверили. Того не понимают: богатством всяк силен — хоть человек, хоть власть. Ну, чего есть у этой голодраной власти, кроме стола, отобранного у волостного старшины впридачу с Савлушкой? — рассуждал купец, испытывая чувство одиночества, которому никак не мог найти объяснения. — Раньше-то все горохом на берег выкатятся — обоз провожают, а тут никого нет. Вот наказание-то. Филисада, что ли, там маячит? — заметил он женскую фигуру на берегу. — Она. Кто же еще? Молодчина баба. Не она, так Филипп давно бы учинил растрату или спился. А она все блюдет, свет ведет. Воротятся, надо подарок ей сделать — платок кашемировый. — Успокоив тем себя, Василий Афанасьевич обернулся и увидел дворника Маита. Тот стоял без шапки, кланялся в пояс ушедшему обозу. — Может, чего знает? — по-своему рассудил хозяин сердце дворника. — Ну провожал мужиков, так не до такой же. Больше-то времени не нашлось напоить лошадь, — ругнул про себя купец ленивого хозяина. — Теперь, поди, и прорубь-то льдом зануло. Мороз силу набрал". — Но тут купца обдало жаром, он

поперхнулся: гуськом на водопои шли его лошади. Ременный кнут с визгом резал морозный воздух, и лошади бежали трусцой...

Сенька, не ожидая встречи с Василием Афанасьевичем, шархнулся в сторону, запоздало стащил с головы шапку и засвистел тягучим, режущим слух посвистом.

“Как же так-то? Как же? — растерянно кружась на одном месте, неизвестно кого спрашивал купец. — На кой черт мне этот нахлебник? Евлампий-то говором гнал лошадей на водопои, посвистом из конюшен выманивал, ворковал над каждой, а это — разбойник. Чистый разбойник! — сжимал кулаки Василий Афанасьевич. — Да к чертям его собачьим. Пусть даром хлеб жрет, может, подавится чужим куском, а чтоб к лошадям — не допушу более. Это не только людям — курам на смех: в какое время караческих лошадей к водопою гонять. Луна-то вон к горе карабкается. Сколько это часов-то будет, а он поить лошадушек погнал. Простудит. Объявился тут на мою голову. Вот пойду сейчас в управу, все комитетчикам расскажу — выведу его на чистую воду. Зайду и скажу: так, мол, и так. Попросил меня по дружбе тобольский купец Крашенинников взять на постой глухонемого знакомого, чтоб я его при первом случае в снега к остякам да вогулам отправил. Я пообещал — дело нетрудное. Все знают: вогулы ко мне наезжают, в секрете не держу. В конюха определил, Евлампия держать не стал, а он мизинца его не стоит. Думал, не зря же кормить такого жеребца. А он, видать, и не глухой вовсе, а соглядатай. Да ночью к нему в конюховку еще одного... Ох, голова моя разламывается. Вот обскажу комитетчикам — они на него управу найдут. Все равно чужой человек. Заберут — туда ему и дорога. Одной ниткой с дезертиром Прокопием Лазаревым связаны. Тот в голбце целые дни сидит. Ждет чего-то. Пусть бы обоих заодно за шкирки выволокли. Тот тоже к вогулам собрался. Вон где спасения ищут”.

Купец и в самом деле шел к комитетчикам. “Дом, что ли, переставили задом наперед? Огонь-то у них почему в другой половине светится? Или уж у меня в голове все перевернулось? — Василий Афанасьевич приподнялся на цыпочки, глядясь в окно. — Алексей Чудинов — других не различу, в глазах мельтешит. Вот зайду к ним, и все как на духу расскажу. Сцапают они этого Сеньку да Прокопия, жить спокойно стану, а то все время кажется: кто-то шныряет по двору. Может, от метели какая доска поскрипывает, снег шуршит, а мне все чудится: кто-то чужой расхаживает, замки



...пугает. — Схватившись за штукетину, купец сорвал с гвоздя дощечку. — Вот выхлещу вам окна!" — неожиданно мелькнула мысль. Пережегнув зубами, Василий Афанасьевич торопливо зашагал по широкой, тихой улице. От волнения тряслась борода, стучали зубы. Луна уже успела высветить каждую избенку, баню, расчерченные жердями огородные межи. Впереди Василия Афанасьевича бежала его тень, похожая на копну сена с торчащим на макушке клопом. Он с силой прихлопнул ладонью лисью шапку, заметив, как бокову от копны отделилась черная рука.

Сенькин свист подстегнул его, и он с поспешной торопливостью поднялся по скрипучим ступенькам крыльца, широко распахнув дверь, в изнеможении сел на порог...

— Наплевать на эту рыбу, — услышал над головой тихий голос Акулины Федоровны. — Или у нас капиталов не хватает? — Ей хотелось сказать, что копить их не для кого. Одному Никите на сколоченном капитале спокойно можно прожить жизнь, но она тут же шлохвятилась: дала себе слово не начинать самой разговора, от которого у Василия Афанасьевича возникает зубная боль и отдает по всей левой щеке до самого виска.

Акулина Федоровна тихо сняла с него шапку, отряхнув от снега, повесила на гвоздь, провела мягкими ладонями по холодной лысине мужа.

— Васька-то-шаман когда приедет?

— Пора еще не подошла, — уткнув бородатое лицо в плечо Никити, чуть слышно сказал Василий Афанасьевич.

— Скорей бы уж, — вздохнула Акулина Федоровна. — Хоть бы от этого разбойника избавились.

— Не было печали...

— А он, Вася, вовсе и не глухонемой. Я нонче пошла в амбары посмотреть: много ли рыбы осталось. Много ее, хватит до новых уроков да еще и останется, — перешла на шепот хозяйка. — Слышу: в конюшне матерится кто-то. Наша прислуга никогда не матерится, если иногда Маитко, где сноровки не хватает, какое слово вывернет, а тут прямо как в извозе. Я прижалась к косяку, сама боюсь, поблизости никого. А Сенька-то на лошадей грозит, всякие им напасти сулит. Чем они ему не по сердцу? Для всех одно заглядение наши лошади, а он...

— Потерпи, — касаясь холодными, дрожащими губами ее руки, проворил Василий Афанасьевич. — Если чего, так я в комитет схожу. Там все наши мужики.

С этими словами Василий Афанасьевич поднялся и отправился спать. "Сон-то потерялся. Заботы ото сна отбили. И молитвы справляю на сон грядущий, а сплю, как петух на жердочке. Сказывают, вся головная боль сном лечится — не верил, а теперь бы рад дать отдых телу, забыться от всего — не могу, — стонал, жалея себя, Василий Афанасьевич. — Всякие мысли в голове торчком стоят. Ну в этот ли час про обоз или про Сеньку, или про комитетчиков думать. На кой они леший мне сдались. Сейчас бы спать, десятый сон досматривать. Вот ведь истинная правда: утро вечера мудренее. Да утром-то я бы с какой радостью да яростью все обмозговал, а теперь в голове гул стоит".

Вроде бы он и не спал, а прослушал лай собак. Вскочил от стука в дверь.

— Шаман Васька приехал, — сказал с порога Маит. — Собаки все село разбудили. Сенька-то их палками дубасит, а ежи бы он их лаской, каждая в свою нору спряталась. А он бы все дрался, — судачил дворник, со сна протирая кулаком здоровый глаз. — Я уж и не знал, на какую напасть думать. Распахивать ворота-то? Али как? — повернулся дворник к Акулине Федоровне, оставляя возле порога труху, сыпавшуюся из продырявленной пятки пима.

— Распахивай! Отворяй, Маит, — сказал Василий Афанасьевич, для чего-то надевая новую синюю косоворотку, и стал стучать в западню, вызывая прислугу.

На дворе тьякали охрипшие от лая собаки. Им откликался из двора волостного старшины привязанный на цепь грозный пес Полкан. Возле ворот, окружив со всех сторон оленьи упряжки, вразной брехали сбежавшиеся со всего села лайки. Человек, сидевший на нартах, походил бы на снежный ком, если б не отмахивался хореем.

— Кыш по домам! Экая невидаль — оленьи упряжки! — с натугой отодвигая тяжелые ворота, бурчал Маит. — Я вот покажу вам, как сон у людей разгонять, пуστοлайки.

Купец бежал к оленьим упряжкам, широко расставляя руки и принимая в объятия сурового, промерзшего в долгой дороге Ваську-шамана.

— Ну, слава богу, явился. Вот радость-то, Василий Николаевич... Айда, айда, — бормотал Василий Афанасьевич. — Еще найдется кому твои упряжки во двор завести. Еще найдется. Айда греться. Дорога-то какая у тебя долгая, поди, весь до косточек промерз!

## Глава пятая

На другое утро поднялась метель. Непроглядная белесая мгла бушевала над Обью: с завыванием и свистом переворачивала мириады снежинок, гнала их вдоль пологих берегов, забрасывала лодки, бани, кособокие крестьянские избы. Ее грозная сила нарастала, сорвала крышу с мехоношинской избы, вымела с поветей сено и оно кружило над селом, подхваченное мощными потоками воздуха. Собаки, поджав хвосты, спрятались в конурах или уползли под сени изб. Бабы в натопленных избах бегали от окна к окну, вроде как чувствовали свою вину, что мужики ушли с обозами и, не выдержав душевных переживаний, вставали возле божниц, просили у господ бога заступничества.

— Собаки-то уж дня три по снегу на спинах катаются. Первый признак — метели быть, так мы не берем в толк старинные приметы. Торопимся все поскорее, как на пожар, — выглядывая в запороженное снегом окно, ежась и потирая рука об руку, говорил Савушка. — Я вон через огород пошел, так куда там, по самое брюхо в снегу увяз. А мужики как? А лошади все из сил выбьются!

Степан Петрович промолчал. Трудно было не согласиться с писарем: день, другой можно было повременить. Непогода для всех непогода.

— Ох и холодно в этой половине. У меня зуб на зуб не попадает. Считаю, целый час возле печки сижу, а согрева никакого, а в той половине теплынь.

Степан Петрович ощупывал ладонями потрескавшиеся кирпичи, разглядывал черные полоски, чем давал повод писарю поговорить.

— И утарно тут, и не привычно. Угли какие-то холодные, и извод пола дует. Перетащим столы обратно. Все одно, как называли этот дом управой, так и станут звать, хоть в какой половине сиди. Разве только спалить его да другой выстроить, и то станут ли называть сельсоветом? Незнакомое слово. Для всего время надо, а мы теперь мерзни в этой половине. Все ведь приходят да уходят, а я си́днем сижу...

Степан Петрович и сам подумывал, что поторопился с перетаскиванием столов, но не стал долго раздумывать, махнул рукой.

Савушка звонко хихикнул, схватился за столешницу и, кряхтя, изо всех сил поволок свой стол, пинком распахнул дверь и, не замечая наметенного в сени снега, сновал из одной половины в другую.

Один перетащил стулья и табуретки, не забыв вытащить из-под печки лампу и торопливо плюхнулся на свой стул, будто боялся, что его кто-нибудь займет.

— Ну, слава богу, — радостно вздохнул писарь, сощурил глаза, долго и сосредоточенно вглядывался в мутную, белесую муть за окном.

— Парень, что из Тобольска приехал, сюда идет, — сообщил он.

— Власов? — вглядываясь в бесформенную фигуру человека, кутающегося в длиннополом полушубке, спросил Степан Петрович.

В это время распахнулась дверь и ловким прыжком посетитель перемахнул через порог. По виду это был совсем молоденький паренек. Не отрасли он усов, его с первого взгляда можно было принять за девочку. Слишком белым и чистым было его личико с веселыми темными глазами. У Степана Петровича мелькнула мысль: такого слабенького и в снега? Обморозится.

— Фельдшер Павел Власов, — стаскивая с головы шапку, с порога представился паренек и, немного подождав, добавил, — командирован в снега.

— Знаю, — протягивая руку, ответил Степан Петрович и, пристально посмотрев на Власова, отметил, что тот слишком утомлен. “Ему перво-наперво отдохнуть надо, а уж потом о деле”. Он уже хотел посоветовать ему это, как по комнате разнесся оглушительный вопль.

Саввушка в больших белых пимах топтался на столе, сцепив на груди пальцы, зажмурив глаза, орал благим матом. Лицо его исказилось и, еле шевеля губами, писарь выдавил из себя почти со стоном:

— Мышь! Мышь пробежала мимо моих ног! Я этих тварей до смерти боюсь. С измальства напуган, — уже извинительно говорил писарь, приходя в себя, и, сползая со стола, совсем сконфуженно бормотал: — Откуда ей взяться? Сколько лет здесь сижу, и в такой тишине, бывало. Но хоть бы одна когда появилась, а тут при людях, при разговорах...

Прошло минут десять пока Саввушка пришел в себя, слабым голосом попросил воды. Степан Петрович зачерпнул ковшом из ведра, налил в фарфоровый бокал, из которого всегда пил Саввушка, подал. Писарь пил медленно, с шумом цедил воду через редкие зубы. Потом пристально посмотрел на Степана Петровича и угадав,

то тот отнесся к его выходке по меньшей мере хладнокровно и даже сочувственно, вздохнул с облегчением. Теперь ему надо было посмотреть на приезжего. Но фельдшер, в первую минуту пытавшийся помочь Саввушке, в порыве схватил его за руку, но потом, поняв, что это только обыкновенный испуг, быстро отвлекся. И как ни в чем не бывало говорил Голощاپову:

— Я вас видел в Тобольске. Даже день помню.

— Да. Тобольск — город известный. Купеческий и пролетарский. Через него проходили и прятались в лесах почти все российские бунтари. Навек запомнится его каторжный централ. Вот уж где делается все, чтобы отбить у человека желание жить вообще. — Степан Петрович потупил взгляд, с минуту стоял и сосредоточенно глядел в пол, будто отыскивал щель, куда юркнула серая мышь.

— Всем, кто побывал там, запомнится Тобольский централ, — подтвердил почти шепотом фельдшер, и Саввушка, уже отходящий от испуга, удивленно пучил глаза на фельдшера, еле допуская мысль, что и этот худенький паренек побывал там.

И вдруг ему показалось, что приезжий паренек и Степан Петрович засмеялись. Но это ему в самом деле показалось. Степан Петрович в это время стоял отвернувшись к окну, и лицо его было почти веселое, но беспричинно вспыхнувшие жаром щеки выдавали волнение.

— Я про тот день говорю, когда государь в Тобольск прибыл, — продолжал свое фельдшер. — Хоть и суматошным день был, а точно вас как раз тогда и видел.

— Был такой день. Помню, — проговорил Степан Петрович с серьезным видом и снова повторил. — Был такой день. По заданию Совета в карауле стоял.

— Вот именно, в карауле, — подтвердил не без гордости фельдшер и еще добавил. — Возле губернаторского дома. Ну и встреча была! — он закрыл глаза и даже потряс головой. — Все двадцать пять церквей враз зазвенели! А эти богомолки, монашки, кликуши прямо по земле ползали, следы их целовали, водой, где царские водки стояли, лица мыли, — запальчиво рассказывал Павел Власов от волнения у него воспалялась речь. — Город сразу наполнился фонами да баронами, генералами да святошами. Откуда только они выползли! Слуг только царских больше ста человек. Вещей привезла целый вагон. Житье в губернаторском доме, это тебе не каторжный централ!..

От таких подробностей о царской фамилии у Саввушки быстро прошел испуг. Взгляд оживился, осанка за столом выпрямилась. Он положил голову на ладонь, другой рукой крепко держал локоть. Мысли его улетели к далекому Тобольску, где учился, и теперь представлял, как по тем же улицам, где ходил он, ступала нога самого государя... Только когда фельдшер смолк, Саввушка высказал свое искреннее соображение, совсем не раздумывая, хорошо это или плохо:

— Уж и государя готовы упрятать в каторжный централ! Все кругом крушится, а государь при чем? — В голосе писаря была сочувственная нота и даже больше, чем сочувственная. Он и не хотел скрыть этого, а даже наоборот, подтвердил: — Прямо так всех и хотели бы сравнять сразу! Что тебе царь, что тебе я, грешная моя душа. — Писарь перекрестился, сам испугавшись своих слов.

— Не думал, что у тебя такая любовь к самодержавцу, — с горячностью выпалил фельдшер, бойко взглянув на Степана Петровича, а писарь, облизнув обветренные губы, твердил свое: — По мне, если говорить о человеколюбии, то государя надо иметь в виду в первую очередь. И по-моему, грех великий не только поднимать руку на государя, а даже словами богохульствовать.

— У тебя и понятия! Тебя самого в Тобольский централ не мешало б турнуть. Тогда бы другое заговорил. Государь-то — самый первый виновник нашей никудышной жизни. Сколько крови пролито? Сколько? Всю Россию готовы за здорово живешь отдать немчине. Больно-то им нужны российские мужики. Немцы, они и есть немцы. Царица-то наша еле-еле русские слова выговаривает, а мы все “государыня-матушка”! Для близиру, в насмешку ее Александрой Федоровной зовем. На черта ей эта Александра Федоровна! Ее доподлинное имя — Алико Виктория Елена Бригитта Луиза Беатриса Гессен-Дармштадская! Язык вывернешь. Я ее вот так, как тебя, видел. Худущая, злющая. Проходила мимо стражи — в солдат плевала. Эх ты, слепота!.. — вошел в пыл фельдшер и из его запальчивости было ясно, что он не в первой ведет спор об участи, постигшей государя в это смутное время. — И за границу бы сбежал. Прихвостни бы на руках вытащили. Да, да. Было все продумано.

— Россию-то, поди, не взял бы с собой, — удивляясь своей смелости, вставил писарь и почему-то зажмурился.

Кто-то в сенцах стряхивал с пимов снег, топтался, громыхал половицами. Все обернулись: на пороге стоял Алексей Чудинов. Расставив руки в стороны, не сняв меховые рукавицы, в упор смотрел



Степана Петровича. — Зосим-то Кукушкин, сказывают, много ружьев в короб наложил. Кабы с мужиками перестрелку не учинил.

— Я доподлинно знаю — взял, — боязливо вытягивая губы, подердил писарь.

— Чего молчал? — неожиданно грубо выкрикнул Степан Петрович, подходя к столу писаря.

— Запаяматовал. Про ружья никто не говорил, я и в голову не подумал. Доподлинно своими глазами видел: складывал Зосим ружья в короб.

— Не маленький, мог сообразить: зачем в обоз ружья?

— Так, берут. Мало ли, зверь какой. И гармошки берут, и даже палатки...

— После драки кулаками не машут, — погасив в себе досаду, сказал Степан Петрович.

Иглистые снежинки, влетевшие в приоткрытую Алексеем Чудильным дверь, растаяли в тепле и блестели на полу каплями. На какую-то минуту воцарившаяся в комнате тишина заполнилась злощасным завыванием метели. Саввушка молча полез к вьюшке, плотно ее прикрыл.

— Ну ладно, Савелий Лукич, оставайтесь на своем месте, а мы к Григичу сходим, — по-отечески хлопнув по спине фельдшера, сказал Степан Петрович, натягивая на ходу треух, сшитый из пыжика шкурки молодого олененка.

— Я с вами выйду. Погодите, — заторопился писарь. Он долго мог закрыть дверь, затем подкатил сосновый чурбан, прижал к полу.

Растревоженный разговорами о государе, он шел домой еле переставляя ноги и часто проваливаясь в снег. Все время переговариваясь, слова, которые вылетели у него из уст. Не знал, жалеть ли ему об этом или нет. Он почувствовал, что никак не может определиться, никак не может понять себя. "Одному говорю одно, другому — другое. Вот жизнь пошла! Сам себя не поймешь".

От какого-то мучительного предчувствия заломило в висках, и уже не разбирая дороги, брел наугад в сторону своей избы, чтобы скорее залезть на печь и отлежаться.

## Глава шестая

Олени неслись по заснеженной равнине, выбрасывая из-под копыт хрусткие комья наста. Васька-шаман лежал на нарте, закрыв глаза.

“А вдруг эти большевики уже пришли в тайгу? — подумалось ему. Видел же он вчера чей-то запорошенный нартовый след, но не остановился, не посмотрел. — Может, они только на Урале? Может, в верховьях Оби нет этих большевиков? Тогда зачем Федор Рогалев погнал упряжки вниз по Оби, к морю?” — От напряженных, непонятных мыслей у шамана разболелась голова. Невольно взгляд остановился на нартах Федора Рогалева, и он, верный данному слову, решил ехать на Молебен Камень, к старой юрте, где живут его идолы и где полную ночь можно провести в молениях, очищающих душу и проясняющих мысли. Весь день шаман был в дороге. Он по-особому, по-хозяйски глядывался в леса, в болота, в озера и речушки, встречающиеся на пути — они принадлежали ему. У подножия Молебного Камня стоял могучий сосновый бор. Желтоствольные деревья с кудрявыми кронами укрывали его от больших снегопадов, собирая снег на пушистых ветвях. Метели облетали бор стороной, и в любую погоду здесь стояла глухая тишина. На крайних деревьях висели шкурки белок и горностаев, черепа зверей и птиц. Искусной рукой Васьки были вырезаны деревянные идолы, измазанные кровью жертвенных оленей. Возле высокой сосны с темным дуплом стояла старая юрта. Метель замела к ней все следы, и она сиротливо покосилась на один бок. Оленьи и лосиные рога украшали стены. Отбросив в сторону сосновую жердочку, прикрывавшую дверь, он стал отгребать ногой снег. От легкого удара по косяку в снег свалились рога. Васька вздрогнул, отскочил в сторону, увидев в этом недоброе предзнаменование. Он долго смотрел на упавшие рога, и какая-то непонятная сила медленно подкрадывалась, разрушала в нем веру в силу всемогущих богов.

Шаман резко оттолкнул дверь, она проскрипела протяжно и жалобно. Тусклый свет, проникающий через крохотное оконце, освещал темные углы, покосившиеся нары с белыми оленьими шкурами, разбросанные на полу маски и бубен с бубенцами. Чужой показалась старая юрта, в которой он всегда находил успокоение. Руки шамана дрожали. Он заметил это, когда разжигал чувал. “О чем всегда думают люди, опускаясь на колени и с надеждой всматриваясь в выпуклые глаза деревянных идолов? Просят ли они то же самое, что просит в своих молениях шаман? — думал он. — И буду ли я теперь просить своих духов о пище, здоровье, хорошей охоте бедным охотникам? Буду ли молиться о Домне, которая прячет от меня глаза?”

Сидя в сумерках возле разгоревшегося чувала, он не находил покоя. За стенами юрты крепчал мороз, на равнинах, за борами, бушевала и выла метель. Здесь он хотел сосредоточиться, осмыслить то, что услышал от купца Федора Рогалева. Васька глубоко шумно вздохнул. Захотелось закрыть глаза, уснуть, увидеть во сне глубокое небо, тайгу в цвету, караваны пролетающих птиц, но сон не приходил. Пересилив себя, снял малицу и начал готовиться к молению. Вымыл снегом лицо, достал из ящика рубаху старого шамана, его пояс, его песцов. Сегодня Васька вынул черных соболей, белых колонков, приготовил много масок птиц и зверей. Приоткрыл дверь, приложил к косяку ухо — вслушивался в вечерние голубое небо, всматривался в побледневшее небо, в луну, которая от темной зеленой хвои стала голубоватой и, остановившись на другом краю бора, не собиралась уходить, зная, что до утренней зари еще дале-

“Буду ждать утра”, — подумал он, зная, что небесная мать живет на востоке у солнца и каждое утро на кончике солнечных лучей посылает на землю души рождающимся людям.

— О, великая мать! — воскликнул Васька. — Воскреси в моей памяти твои заветы. О, мое солнечное божество! — с благоговением всматривался он в изображения Солнца и Луны на двух серебряных табличках, прикрепленных к лицевой части деревянного идола. — Вы только вы наше светлое начало!

— Васька-шаман замер от охватившего его волнения: везде — на бубне, на поясе, на подвесках, монетах, металлических бляхах — повсюду повисли символы Солнца и Луны, охраняющих его людей от злых духов и опасностей.

Шаман знал, что его предками мир разделен на три мира.

Верхний мир — небо, небесные светила. Это место, где обитают бессмертные души.

Средний мир — наша земля с водами, сушей, лесами, горами, растениями и животными.

Нижний мир — где обитают злые божества, темные силы: здесь находится страна мертвых, куда после смерти человека уходит его душа — тень.

Всю ночь шаман был словно в бреду. Но вскочил со шкур проворно, как только на небе стали появляться первые лучики далекого солнца. Начал развозить нарты с добром купца Рогалева: одну — к подножию горы, другую — к старому кедру, третью — оставил возле кустов, а четвертую — самую старую — с полозьями,

набитыми золотыми слитками, опрокинул за юртой, рядом со стгнившими шкурами жертвенных оленей.

Вернулся в юрту усталым не от дел, а от дум о купце Рогалева. Разжег чувал. Веселые огоньки заиграли на сухих полешках, светились бликами на полу, на оленьей шкуре. Огонь — живое существо, оно движется, нуждается в пище, бывает добрым и злым, рождается и умирает. “Огонь умеет говорить, — рассуждал Васька, — но не всякий понимает его язык”. В шипении разгоревшихся дров ему слышалось: “Погибнет Федор, погибнет Федор!”

В бору проскрипело подсохшее дерево, треснула от тяжести снега ветка, вспугнув присмиривших оленей. Васька стремглав побежал к нарте, выхватил из-за пояса нож, ударил под левую лопатку сытого оленя, принося его в жертву. Пронесся протяжный храп, не успевший вырваться мычанием. Тяжелая голова животного качнулась на шее, словно раздумывая, в какую сторону упасть, вздрогнуло тело и привалилось к снегу. В судорогах задние ноги пробороzdили копытами гладкий наст. Несколько темных капель крови окропили снег, но Васька-шаман припал губами к пораненному месту, отхлебывая теплую, как молоко, оленью кровь. От оленя пахло шерстью, потом и парным внутренним духом. Скоро шаман стал ощущать солоноватость на губах, прилипшую ворсинку и улавливать легкое шуршание тающего под коленями снега.

С трудом поднялся на омертвевшие в коленях ноги, холодными липкими ладонями ошупал одежду и лицо, в изнеможении рухнул на шкуры.

“Может, к купцу Мялишеву поехать? — мелькнула мысль. — Может, Василия Афанасьевича не выгнали большевики? Может, он живет-поживает, горя не знает?” И сразу потеплело на душе, он явственно ощутил удары сердца, услышал свое дыхание, перевел взгляд на жертвенный нож, испещренный знаками тамги и глубокими зарубками, уверовав в то, что с его помощью к нему вернулось просветление. Со вздохом он взял нож, увидел вспыхнувшее от солнечного луча лезвие и спрятал под широкую плаху над дверью...

Олени понесли нарты по вчерашней тропе, уже переметенной на низких местах. Некормленные, ослабевшие олени набычились, подставляя встречному ветру широкие лбы, часто останавливались, пытаясь свернуть к болоту. Шаман удивился своему равнодушию, когда надумал объехать стороной юрту, в которой оставлена Домна. Снежинки падали на лицо, и он лениво сдувал их струйкой воздуха

через слипшиеся губы. И все перед глазами мелькало в белой снежной мути, расплывчатой и безбрежной.

“К Мялищеву. Только к купцу Мялищеву!” — звал его внутренний голос.

Вдруг олени остановились. Шаман увидел свежий след оленьих нарт, который вел в сторону Молебного Камня. Жаром охватило тело, мелкой испариной покрылся лоб, и шаман не мог сообразить, пот ли это или враз растаявшие снежинки. Прикрыв глаза, в слабом головокружении пошатнулся, стал приглядываться, намереваясь взглядом промерить след и, быть может, увидеть убегающие упряжки. Олени шумно дышали, выдувая ноздрями ямочки в рыхлом снегу. “Может, это большевики? — подумал Васька. — Может, они, как говорил купец Рогалев, поехали торговать с охотниками? Приподняв над оленьими спинами хорей, шаман крикнул во всю силу, услышал свой голос, летевший по заснеженной равнине. — К купцу Мялищеву! К купцу Мялищеву!”

Он хотел объехать юрту Прасковьи, но, подумав, что к купцу нельзя ехать без мехов, свернул к реке. Мысли о богатстве купца Рогалева, как ему показалось, остались там, на Молебном Камне, он захоронил их вместе с оставленными ящиками и сундуками.

Прасковья, узнав о намерении шамана ехать к купцу Мялищеву, ойкнула, прижала руки к усохшей груди. Цветастый платок сполз с головы, и она, не ощущая его падения, стояла перед шаманом старая, с глубокими морщинами, не подозревая, что держит желтыми зубами только один край платка. Она не вспыхнула, не покрылась алым румянцем щеки, когда шаман сам прикрыл ей голову. Подумав, что, быть может, никогда больше не увидит Ваську-шамана, Прасковья достала красную рубаху с белыми перламутровыми пуговицами, новые белые унты и малицу.

Выложив все на середину юрты, заплакала, и Ваське, как никогда в жизни, стало жаль ее, но он не знал слов, какими можно остановить слезы женщины. Он просто никогда этого не делал, а твердо знал одно: слезы приходят и уходят. Прасковья, наклонив голову, видела ноги Васьки в расшитых кисах с разноцветными кисточками из шерстяных ниток. И в глазах ее стояла разноцветная радуга и слышался далекий голос матери: “Цветная радуга пьет воду в реках, озерах, ручьях, а где она пьет, там лежит золотая ложка или золотая чашка, или золотая колотушка для бубна. Кто хочет сходить туда — должен надеть хорошую одежду”. Не за золотой ли колотушкой для

бубна собирается поехать шаман к купцу Мялищеву? Она подняла голову, а перед глазами все еще летали разноцветные искорки.

— Не езд, Васька, за золотой колотушкой, — сказала она, побледнев. — Разве плохо тебе живется?

Васька не понял ее или не расслышал. Он уехал в ночь на двух сытых упряжках, с богатой поклажей дорогих мехов.

За три дня езды олени упряжки оставили позади много урманов и янг, рек и перелесков. Впереди показались крутые берега великой реки и темный пихтовый лес. В стороне стали попадаться охотничьи лыжни, проезжие сеновозные дороги. Васька остановил упряжки, поправил упряжь, колокольчики, старательно выколотил забитый снегом савик.

За поворотом начнется новый перегон в пять лун, и тогда Васька-шаман будет думать о купце Василии Афанасьевиче, о его богатых рыбных промыслах, а пока что перед глазами стояло испуганное лицо Федьки Рогалева.

Шамана волновала встреча с купцом: они когда-то поспорили с ним из-за охотничьих угодий. Но хозяин туземной стороны перешагнул свою гордыню.

Возгласы купца: “Дружок! Василий Могучий! Бог прислал тебя ко мне!” — насторожили шамана, и он подумал, что и сюда пришла страшная релюция.

Исподлобья бросая взгляд на купца, Василий Могучий нашел в том перемены. Лицо показалось ему серым, большой нос то и дело раздувался и, казалось, что купец никак не может чихнуть. Какой-то крадущейся походкой он повел шамана в верхние комнаты, где раньше тому никогда не доводилось бывать. На стене в комнате пошевелился человек. Шаман смутился, осененный догадкой, что на него смотрит его собственное изображение, сделал еще несколько движений, робко подошел поближе, поправил взлохмаченные волосы. “Какой старый стал”, — мелькнула мысль, и он круто повернулся спиной к зеркалу.

На столе шумел самовар. От фарфорового чайника шел пар, вкусно пахло заморским чаем, рыбными пирогами, шаньгами. Купец брэнчал посудой, отыскивая рюмки в настенном шкафу.

— Давай, дружище, погрейся с дороги. Давай погрейся, дорогой Василий Могучий! Нас, оказывается, и зовут одинаково — Василиями, а я как-то раньше не замечал, — пряча взгляд от шамана, говорил купец.

Тепло клонило шамана ко сну. Он мучительно пялил глаза, но не мог удержать головы, которая откидывалась то в одну, то в другую сторону. Не было силы одолеть дремоту.

— Ну и времена пошли, Василий! Ну и времена. В своем доме приходится шепотом говорить, — разливая по рюмкам водку, говорил купец, и его редкие вздохи, дрожащий голос, боязливый взгляд казались шаману похожими на рогалевские.

— Каким ветром занесло тебя в наши места, Василий Николаевич? Просто так тебя не заманишь. — Купец искренне дивился появлению в селе шамана.

— Шибко на улице холодно. Шибко. Охотник из урманов ишо не пришел. Я мехов привез. Хорошие меха. Прасковья дала.

Василий Афанасьевич понял, что шаман не хочет отвечать на его вопрос.

За дверью раздался стук. Купец торопливо убрал со стола бутылку, сквозь зубы прошептал:

— Какая холера еще ломится? — семена, подошел к двери, прислушался и, воротясь, долго и тяжело дышал, не мог собраться с духом. — Окаянные, волю почуяли. Пашка с болота приехал, так зубенит в двери, спать просится. Раньше-то близь бы ворот не подошел, а тут готов всех на ноги поднять. Тебе хорошо, Василий. Живешь в тайге, в тишине. Я тоже думаю к тебе приехать. Что вокруг делается — глаза бы не глядели. Все вверх тормашками летит.

“Вот она какая, релюция. Плохо, видно, живется купцам в своих больших домах”, — думал шаман.

— Бежать надо! Бежать, — все говорил и говорил Василий Афанасьевич. — Никаких мехов твоих не надо, Василий. Все равно все прахом пойдет. Люди все как сдурели. Бежать надо. Да куда бежать?

— Федька Рогалев к океану бежал, — не подозревая ничего обидного для купца, сказал шаман.

Василий Афанасьевич враз уронил голову.

— Смылся! Успел! — В глазах купца потемнело, к горлу подкатывала тошнота. — Давай, Василий, спать. Ничего не говори, ничего не спрашивай.

Пошатываясь, купец повел шамана в большую комнату, к мягкому дивану.

В это время и раздалось два выстрела.

— Совсем рядом ружье выстрелило. Совсем рядом, — встревожился шаман, готовый бежать на помощь.

## Глава седьмая

Ефим три дня был в полубреду: рядом с родными лицами перед глазами мелькали лезвия сабель, пучки огненных искр, потом пришло спокойствие. Обессиленное в недуге тело ныло, а мысли уже тормозили, кружились в голове роем. Он открыл глаза. Прислушиваясь к ровному дыханию Даши, сполз тихонечко с кровати и на цыпочках, боясь скрипа рассохшихся половиц, подошел к окну. Облокотившись о подоконник, рассматривал освещенную луной дорогу и по ней пытался определить: прошел ли, отправлен ли Мялищевский обоз. Но метель успела замести санные следы. “Кто пошел с обозом? Нельзя было отправлять его без опытного человека. Каратели неминуемо попадут им навстречу, — терзала мысль, но тут же он старался успокоить себя. — Да Степан-то Голошапов не дурней меня? Больше моего знает про мужиков. За эти два года каждая червоточинка на виду стала. Сколько человек ни крутит, ни вертит, а от себя не сбежит. Не сам, а время выпарит, выгонит наружу всякую хворь и злобу”.

Перед рассветом, как бы отходя на отдых, мороз еще раз пробежал по селу, звонкими шелчками треснули на заиндевельях стеклах узоры куржака, из промороженных углов полз по половицам жгучий, студеный воздух.

— Простудишься, — будто кто-то не сказал, а дыхнул над ухом. — Маитка еще лучину не зажигал. — Это говорила Ефросинья Алексеевна, спавшая с ребятишками на русской печи.

Последние дни она не то чтобы хворала, а просто вдруг обессилела. С вечера лезла на печь, прижималась спиной к прокаленным кирпичам, грела поясницу, которая будто разламывала пополам ее худое и слабое тело.

— Не знаешь, обоз-то как? — спросил Ефим.

— В тот же день мужики отправились, не замешкались. На, брось под ноги, — протянула она рукав от старой шубейки.

Во сне захныкал Сергуша, приподнял над подушкой вихрастую голову, сонными, бессмысленными глазенками поглядел на пол.

— Спи, спи, голубок, — воркующим шепотом говорила Ефросинья Алексеевна, не сводя глаз с сутуловатой спины сына. Вздохнула незаметно. “Как быстро пролетели годы-то. Ничего ты не видел, Ефимушко. Прости меня, грешную. Ничего, кроме нужды и забот, не досталось на твою долю. Вот уж и спину согнуло, а жизни



не видел. Как сами были горемычные в вечных батраках, такую, видно, и вам долю оставляем. Вроде, и ерепенитесь вы, об чем-то думаете, только не под силу все, не под силу!” — Тяжелый, стонущий вздох вырвался из груди Ефросиньи Алексеевны.

— Захворала, что ли? — шепотом спросил Ефим.

Выстрел громко ухнул над селом, и тишина будто проглотила его.

А люди уже вскакивали с постелей, выбегали на улицу, метались по оградам в недобром предчувствии.

— С реки, с реки стреляли! — кричал Маит на всю улицу, на бегу застегивая полушубок. — Я токо услышал удары пещни — про-снулся. Токо достал с печки пимы, токо вышел на крылечко, а тра-а-а-а-ах! Та-рарара-р-рах! Тень чья-то мелькнула по подберегу, — перепутанный купеческий дворник бежал через проулок к реке.

— Алеха! Это же Алеха Чудинов! — закричал Маит, остановившись возле проруби в растерянности, потом запнулся о крошки битого льда, очутившись рядом с неподвижным, безмолвным Алейхой, у которого опрокинулся назад темный чуб. В крике или возгласе, который никто не услышал, остался приоткрытым рот и вроде бы в этот миг он откликнулся на плач, доносившийся с берега.

— Кто стрелял? Кто? — не зная кого спрашивал Степан Голощанов, заталкивая в голенище валенка угол суконной портянки.

Сбежавшиеся к проруби сельчане стояли безмолвно, склонив головы, словно каждый чувствовал свою вину.

Неистовый голос Клавдии Чудиновой заглушал всхлипывания баб.

— Чуяло мое сердце, чуяло! Говорила, недалеко до беды... — причитала Клавдия. И только коснувшись холодного лица мужа, словно обожглась: — На север собрался. К вогулам. А на кого нас оставил? Как жить-то без тебя станем? Как жить-то без тебя, отцакормильца! — Причитания неслись над селом, и каждое слово отдавалось в звонком морозном воздухе.

Мужики подняли теплое еще, тяжелое тело Алексея, несли к дому осторожно, оставив на снегу темное кровавое пятно, тут же припорошенное морозной пылью.

— В спину. В спину выстрелили, — поддерживая голову Алексея, говорил фельдшер Власов.

Степан Петрович в первые минуты растерялся и, сам не зная почему, пошел напрямик в сельский Совет. Не сел, а грохнулся на

стул. Положив голову на руки, не обращал внимания ни на шаги, ни на разговоры.

— Собрать всех комитетчиков, — услышал Саввушка, подойдя к столу.

— Ага. Я мигом. Дунька в один конец села побежит, я — в другой. Как же! Как же!

— Кто же стрелял? Кто? — спрашивал Степан Петрович пришедших в Совет мужиков.

— Купчишки особняками живут. У всех ворота на палках да псы на цепях носятся. Кто там у них прячется? А видать, прячется, — говорил Митрич, собиравшийся вместе с Андреем и Павлом Власовым в дорогу. — Кто-то же знал.

— Сами в тайности ничего держать не умеем. Вот Клавдия причитала, тоже про северную поездку к вогулам упомянула. Да чего Клавдия? Значит, у кого-то все время ушки на макушке, — откинувшись на спинку стула, говорил Степан Петрович.

Митрич обыденкой ездил по сено многолетней солдатской вдове Ольге Суховой, у которой уже лет пять как квартировал. Уж какие были между ними отношения — одному богу известно, а людям бы и не обязательно про это знать, только по первым годам каждое его подсобление Ольге вызывало толки: мол, все это неспроста. Какой это мужик, что живет возле здоровой бабы да не воспламенится.

Хозяйку свою Митрич навеличивал по имени и отчеству — Ольгой Марковной, никаких обидных слов в ее сторону не допускал. Ребятишки, а их у Ольги шестеро было, росли помощниками.

Вроде, чужим был в суховском доме Митрич, а как сказал, что опять на Север дорога предстоит, Ольга всплакнула. Митрич даже растерялся, зануло сердце, и он вдруг понял, как славно жить под теплой крышей, среди хороших людей и знать, что тебя ждут, а быть может, как своего, жалеют. Но раздумывать над этим у него опять не было времени. Надо было выезжать на Север, объехать многие стойбища. Ладно бы налегке, а то трое груженных саней! А тут беда с Алексеем!

— К ним дороги ведут, больше и грешить не на кого, — негодовал Митрич. — К Мялищеву ночью Васька-шаман приехал. Интересно, будет ли он по кабакам шляться, как раньше? Наверное, мышью спрячется и носа не покажет. А кто бы о нем знал, если бы Маит ворота с речной стороны не отворил да собаки на все село лай не učinили? Вот на Урале купчиков хором попросили, имуще-

тво конфисковали, а кто супротив законной власти голос подал — под ружье! А у нас? Только и есть, что не стало волостного правления. А хоть Нестор Прохорович, хоть Василий Афанасьевич или хоть этот жадюга Земцов? Разве их пальчиком пошевелили? Живут в свое удовольствие, за нами поглядывают, вслед плюются да в откровенную своего часа ждут.

Вошел Ефим Дорошин. Он был бледен и слаб.

— На Урале проще: заводы, рабочий класс, в руках кое-что покрепче наших граблей да литовок. А убийцу искать надо — далеко не ушел. Метель следы порошит. Майта звать надо — он вроде кричал: тень по подберегам видел. Наверное, помнит, в какой стороне выстрел грянул.

Небо высилось над предутренним селом. Утро распахивало даль. Тяжелые грузные облака ворочались в ожидании порывистого ветра, готовые высыпать на равнины, покосы, крыши домов снежную лавину.

— Поезжайте, Митрич, — сказал Степан Петрович. — Ждать нечего. Час от часу не легче. Поторопитесь.

Дорога Лаврентия Лазарева с Шитоевым перекрестилась далеко от дома. Там, на фронте, казалось пустышным делом увезти подпоручика в снега к вогулам. Шитоев помог ему дезертировать, с полгода жить в какой-то деревне, а потом стали пробираться на Север. До Тобольска добрались без всяких приключений, документы были в порядке, а потом как придется, где какую подводу наймут, где с каким-нибудь сеновозчиком. Из соседней деревни до развилки подвез какой-то ухарь, выторговавший у Шитоева последний полтинник.

К своему селу Лаврентий подходил, как к месту казни. Он не увидел ни одного огонька, если не считать свет в избушке старой Лупентихи, но и в темноте сразу отыскал крышу своей избенки. “Лучше застрелиться, — вздыхая, нащупывал он за пазухой пистолет, из которого не сделал ни одного выстрела. — Зачем мне этот поручик Шитоев? Как проходить мимо своего дома? Легче еще тысячу верст пешим, чем десять шагов мимо своих ворот. На воротах каждая дощечка, каждый гвоздик своими руками ошупан. На шеколке сыромятный ремешок излажен. За три года, поди, не износился. Господи! Наказанье-то какое. Я ведь дезертир при старой власти, а при мужицкой-то, поди, нет. Чего ее бояться? На

кривую-то тропинку легко сворачивать, а потом на широкую дорогу как выходить? “Лаврентий был на грани полного отчаяния. Порой ему казалось, что он уже кричит и голос его слышат во всем селе, порой чудилось, что он слышит голос Анны, зовущий его домой. Лаврентий уткнул лицо в рукавицы. “Замерзну тут, как бездомный пес. На что человеку жизнь дана? Не для того, чтобы перетерпеть столько мытарств и очокуриться возле своего порога. — Внутри у Лаврентия что-то булькнуло, и вырвался не то плач, не то смех. — Господи! — он, преодолевая свинцовую тяжесть в ногах, брел к дороге. — Лучше бы не видеть этих белых налечников. Он приподнял щеколду, сел на сосновый чурбан, поставленный на попа. — Павлушка, поди-ка, колол, так и не сложил, варнак, убежал, заигрался”.

— Так и знал — не устоишь! — вздрогнув от хриплого голоса поручика Шитоева, он втянул голову в плечи, ожидая подзатыльника. Хотелось упасть здесь, во дворе, и лежать, не поднимая головы и не открывая глаз.

— Не дури, — приподнял Лаврентия за ворот полушубка поручик. — У купца отсидемся. Потом на север, а оттуда пойдешь на все четыре стороны.

— Тебя и без меня купец к вогулам отправит. Дорога туда одна, — робко воспротивился Лаврентий, но рука у Шитоева сильная. — На какой мне ляд все четыре стороны? Мне одной своей до смерти хватит, — Лаврентий, скуля, на четвереньках выполз из собственного двора.

У Шитоева кончалось всякое терпение. “Если этот слюнтяй квакнет еще одно слово — придушу на месте. И он удивился собственному терпению: — Недолго, Лаврентий, осталось. Сам посуди, каких-то сотню шагов. Давай не дури”.

Лаврентий, не в силах говорить, молча кивнул и, пошатываясь, довел Шитоева к калитке купца Мялищева.

Какая у них была договоренность с Василием Афанасьевичем — неизвестно, только встретил он Сеньку Шитоева прохладно, сразу определил место в конюховке. Узнав в солдате с обмороженной щекой Лаврентия Лазарева, перекрестился, хотел было позвать кухарку, чтобы та сбегала за Анной, но Шитоев, наставив пистолет на купца, процедил:

— Твое дело держать язык за зубами. Запомни, почтенный, с этим и жить станем.

Три месяца просидел Лаврентий в подполье конюховки, по вечерам слушая ругань поручика. Лишь ночью, взбираясь на крышу сарая, видел лошадей, везущих с покосов сено. Торопливых сельчан узнавал по походкам, кланялся каждому в спину, слизывая слезы с усов.

В одну из ночей в конюховку пришла Анна. Сквозь щель в западне увидел он узловатые руки, сложенные на груди, потом темные концы головного платка, наклонившись к завалинке, пропахшей запахами кошек, увидел круглое лицо с вздернутым носом и настороженные глаза.

— Где он? Может, записка та с фронту, — говорила она, веря, что купеческий конюх в самом деле глухонемой. — Вот воду-то мутят. Дня-то нет — по ночам блудит. Ежли кто увидит, слава из-за тебя пойдет. Этакый жеребец! На всякий роток не накинешь платок! “Глухонемой” вроде бы улыбнулся, встал на западню, топнул ногой. Это был условный знак Лаврентию. Западня приоткрылась, и Анна, увидев обросшее волосами чудище, попятилась к двери.

Лаврентий, выползший наполовину, уткнулся лицом в пол и заревел навзрыд. Анна птицей вспорхнула от порога, упала рядом, лихорадочно ощупывая голову, лицо, плечи Лаврентия и запричитала...

— Такая, видно, твоя планида, Лавруша, — вздыхая, примириительно говорила она, помолодевшая от жадных желаний Лаврентия, представляя, с какой бы гордостью прошла с ним по селу. “Даша-то, Даша Дорошина все бегом, все с улыбкой. Голым-гоলেখонька, а уж веселости не занимать”, — с завистью думала Анна, убегая глухой ночью через подворотню мялищевских ворот.

Как-то, прибежав в конюховку в полночь, притащила в подполе картофельных шанег. Лаврентий, то ли нездоровилось ему, то ли устал он от вонючего подпола, разговаривал мало, ни о чем не спрашивал. Ел вяло, как-то не по-людски, наклонив над лавкой голову. Крошки сыпались изо рта, попадали на бороду, повисли на усах, а он жевал хрустящие корочки крепкими зубами, и ей чудилось, что он мурлычет, как голодный кот. “Так и дичают люди”, — вздохнула Анна.

— Завтра мужики к вогулам едут. Хлеб им бесплатный везут. Прямо так, привезут в чум и отдадут — ни денег, ни мехов не возьмут. Запрещено новой властью. Митрич да Алексей Чудинов собираются, да с ними парень молодой, фельдшер из Тобольска.

“Глухонемой”, лежавший на лавке возле порога, заворочался, заскрипел просохшими досками лежанки.

— А Даша Дорошина с Ефимом в Реполово собрались. Она прибежала, у меня бусы просила. Помнишь, ты на ярмарке мне купил. Камушки такие желтенькие, точеные. Я уж сама-то их одену, когда ты домой придешь. Ребята тебя ждут — дни считают. Я сказала, будто ты из Тобольска письмо прислал и скоро сам объявишься. Теперь где кто стукнет — они к дверям.

— Ефим-то зачем туда? — спросил Лаврентий.

— Да у власти какие-то свои дела. Даша говорила, да я в толк не взяла. Нашто мне знать про все это.

С самого утра Сенька Шитоев следил за избой Алексея Чудинова. Гонял лошадей на водопой и увидел: грузят три подводы, стягивают поклажу веревками. Не пропустил Митрича, который водил в кузнию подковать лошаденку. “Вроде, все верно болтает Анна”, — доставая винтовку, подумал поручик и совсем было собрался выйти, да собаки подняли небывалый лай.

— Сейчас успокою одну, — буркнул сквозь зубы. Выходил из конюховки Шитоев боком, плотно прижимался к стене. Лаврентий, нервно покашливая, припал к подоконнику, долго приглядывался и, приоткрыв дверь, шепнул: — Погоди. Там, однако, вогулы приехали. Гляди, сам хозяин бежит.

Шитоев вошел в конюховку, разразившись матерщиной.

— Ты чего, Семен Фролыч, это ведь на наше счастье. С ними уедем. Считай, сам бог послал. В такое время вогулы не приезжают. Кто-нибудь их побеспокоил. Чего им делать в селе в такую пору? Сейчас все на охоте. Самая охотничья пора. Я вот тоже люблю лосовать. Дал бы бог выползти из этой могилы, — разговорился Лаврентий, смахивая кулаком слезы. — Вот и Маитко носится.

— По этому одноглазому пуля тоскует. Глазом бы не моргнул. Кривой, а все видит, все слышит.

— Только бы ты играл с этой игрушкой, — укоризненно сказал Лаврентий, отодвигая от себя винтовку.

Они снова припали к окну. Распахнулась дверь, и сам Василий Афанасьевич побегал навстречу приехавшему.

— Наверное, сам Василий Могучий. Сам шаман. Больше никого хозяин так встречать не станет. Никого!

Маит цыкнул на собак, и они, поджав хвосты, попрятались в конуры.

— Ну, с богом! — подбодрил себя Шитоев, когда во дворе стихло. Как волк из логовища, крадучись, вышел он из ограды, при-

жался к забору, сжимая кулаки в кипящей злобе на все, что происходило вокруг: и на то, что живет в неведении, и что вынужден гонять лошадей, притворяться для всех глухонемым, и на то, что сам напросился в этот туземный край. Не подвернулся бы Лаврентий — не было б и соблазна. Местный, все тропы-дороги знает, а трус. Связался. Холод пронимал до костей. Он стал подпрыгивать, стараясь согреться. Желваки гуляли под заскорузлой кожей. Уж нет сил держать курок наизготовке и скрюченный в напряжении палец. Еще немного, он сорвется и выстрелит в мглистое небо, в метельную мглу, в снег, в стог сена, в крышу дома, в прохожего человека, в оленя, в собаку! В черта! В дьявола! Хоть в кого!

Алеху Чудинова Шитоев все-таки укараулил. Увидел его с пешней — смекнул: пошел долбить прорубь. “Лошадушек перед дорожкой напоить собрался. Лошадушек”, — шептал Сенька. Он даже не целился. Казалось, только приподнял курок — и глухой выстрел сбросил с него напряжение, он захохотал и даже подпрыгнул, когда увидел, что не промахнулся.

В конюховку он не бежал, а полз по снегу. Кубарем свалился возле порога и долго катался по полу. Потом, сплевывая, изрек:

— Прикончил одного комитетчика.

— Кого? — оторопело спросил Лаврентий, придерживая головой западню.

— Одного из троих, кто к туземцам собрался. А завтра этого Дорошина приглубим, и можно в леса. Верно сказал: туземец на счастье приехал.

— Ефима? У меня рука на Ефима не подыметя. Не за тем меня уговаривали, чтобы людей убивать. Дороги показать — покажу, а стрелять — не стану. Из-за этого с фронта сбежал, а тут в своих пулять! Даже думы такой не держи, Семен Фролыч.

— Замри! Не рви душу, — цедил Шитоев. — Куда ты денешься? Одной веревочкой связаны.

Терпение у Шитоева иссякло. Раздражало все: конюховка с крохотным грязным окном, висевшие на стене хомуты, от которых несло лошадиным потом, от грязного пола, грязной постели, от шороха, от ползающего в подполье Лаврентия.

Вчера на него напала рвота. Весь день выворачивало, он только успевал бегать за угол избушки. Тряслись, как в лихорадке, руки. А все из-за брезгливости: в алюминиевой чашке со шами оказался клочок собачьих волос. Грохнувшись на лежанку, скрежетал зубами, проклиная все на свете, и готов был покончить все одним нажатием

курка. От этой мысли Шитоев вскочил и долго сидел в задумчивости.

“Все еще впереди. Все. Только бы к этим вогулам съездить. Узнать, как и что там. На что этим туземцам какая-то новая власть? Старой власти до них не было дела, а этой, народной... — Тут Сенька сплюнул — снова подступила тошнота. Он прокашлялся. — А уж у этих, господи прости, и называть голодранцев “властью” язык не поворачивается. У самих заплата на заплате — к вогулам едут, хлеб бесплатный везут. Увезут — ни денег, ни мехов не возьмут. Запрещено новой властью. — Шитоев, слушая разболтавшуюся на радостях жену Лаврентия, сгорал от нетерпения во что бы то ни стало остановить комитетчиков. — С одним покончено. В селе переполах, но этот Митрич не побоялся уехать вдвоем с фельдшером. Ничего, еще встретимся на узенькой дорожке. Ждать осталось недолго. А напоследок еще агитатора Ефима Дорошина прикончить. Так и отблагодарю сатаровцев за приют”, — рассуждал Шитоев, обозлившись на весь белый свет.

Ефим Дорошин перемогался, но откладывать поездку в Реполово было нельзя. Зашифрованная Никитой Мялищевым записка подтверждала, что в селе заверховодил купец Яков Лапшин, агитируя мужиков остаться в селе, хлебом-солью встретить вооруженные отряды и общими усилиями вернуть извечный покой и порядок. Но никто не знал, что за это ему, Якову Лапшину, должность волостного старшины обещана, поскольку в торговом деле он в постоянном убытке стал, только тем и держится, что от отца осталось. А коль будет власть, то и прожить можно влать, без торгового дела.

Разговор с мужиками вел, а сам уже в уме прикидывал и сортировал их, как пойманную рыбу. “Мелюзгу на себя работать заставляю, активистов-комитетчиков всех на суку вздерну на страх другим”.

Вот и собрался в Реполово Ефим Дорошин помочь сельским активистам развенчивать лапшиновские байки да и самого купца приструнить, а то он что-то вдруг гоголем заходил.

Езды от Сатарово до Реполово полный день на сытой лошади. Даша обрадовалась поездке в родную деревню. Три года не была, хоть и рядом совсем. Ефросинья Алексеевна посоветовала снохе надеть батистовую подвенечную кофту, чтобы не выслушивать деревенских судов-пересудов, без которых деревня не была бы дерев-



ней, где все знают про всех. И про Дашу могут сказать, мол, в чем из дому ушла, в чем в деревне ходила, в том и явилась. Нитка бус, взятых у Анны Лазаревой, оказалась кстати, подходила к Дашиным большим, зеленоватым глазам.

— Поезжай-поезжай, — подбадривала Ефросинья Алексеевна сноху. — Ефим-то только для виду хорохорится, а сам хворает. Да и Сергушку возьми. Сколько разов обещала. Бабушка-то Полина его токо красненького видела.

Выехали пополудни. Снег поскрипывал под полозьями кошевы, равномерно звенел маленький колокольчик, закрепленный на круглом изгибе расписной дуги. Морозец разрисовал инеем бороду Ефима, усы, выбившуюся из-под шали Даши прядку темных волос, воротники полушубков.

— Замерз? — спрашивал Ефим, ощупывая теплой рукой нос Сергушки. Тот весело смеялся и, высунувшись из теплого тулупа, как из мехового гнездышка, тянулся к вожжам, понукая, как отец, лошадь.

Откинувшись на спинку кошевы, Ефим пристально глядел на проявляющиеся в небе звезды. Вечерело. Он вслушивался в звон колокольчика, с трудом приподнимал отяжелевшие веки, чтобы не пропустить своротки к кедрачам, после которой они окажутся в трех верстах от села. Лес стоял темной стеной, сквозь которую не проглядывалась даже оранжевая полоска уходящего за горизонт солнца. Из-под нависших снежных козырьков на разлапистых ветвях смотрела густая, дремучая чернота, хранившая в себе многие тайны. Остроконечно целились вершинами в небо и темно-зеленые кедры гнули ветви к земле, под тяжестью снега скрипели и лопались.

Никто не заметил, когда и с какой стороны вышли из кедрача люди, схватили под уздцы лошадь. Это было как во сне, неожиданно.

— Стреляй! — донесся голос и сразу же выстрел рассек воздух. Испуганная лошадь со ржанием поднялась на дыбы. Сергушка, спронея не понявший, что происходит, визжа, карабкался на облучок.

— Бери змееныша за ноги и об дерево!

Мелькнули в воздухе ручонки Сергуши, и глухой, бухающий удар по стволу. Казалось Даше, что дерево дрогнуло от корней до крохотных завязей шишек на макушке и в страхе замерло, роняя на снег прошлогодние иголки. Ее истошный вопль проглотил снег.

## Глава восьмая

**В** большом купеческом доме Васька-шаман спал плохо: скрипела деревянная кровать, били настенные часы и было жарко от нагретой печи. И прожил-то у купца всего три дня, а затосковал. По лесу, по чуму, по снегу, по оленям. Купец вроде и не держал его, не уговаривал, а вздыхал, как больной:

— Погоди, Василий Могучий. Погоди. Куда тебе торопиться?

Шаман кивал головой, соглашался. А ночью опять вспоминал свою бескрайнюю снеговую сторону.

По тому, как луна взобралась высоко над звездами и они задрожали то ли от яркого света, то ли от струй холодного воздуха, шаман знал: ночь перевалила на дневную половину. Он зевнул, потер замозжившие колени.

— Василий Могучий, — протолкнув между матерчатыми занавесками лысую квадратную голову, неожиданно позвал Василий Афанасьевич. — Домой собирайся, друг любезный.

Шаман отозвался, но, сев в постели, долго не мог взять в толк, что от него хочет купец. Потом встал, одернул помятый подол длинной рубахи, поправил пояс с ножнами, ловко натянул и привязал к поясу тонкими ремешками меховые кисы, вошел в крохотную горенку.

На полу в тяжелом медном подсвечнике горел огарок.

— Мальчонка-то как крикнул. В ушах крик стоит. Прости меня господи! — молился мужик, стоя на четвереньках.

— Хватит мух-то ловить, — рыкнул здоровенный конюх, к которому уже приглядывался шаман. — Распустил нюни. Мешок с дерьмом!

— При мне-то не лаяйтесь! Знать про ваши дела не знаю и знать не хочу, — помогал Лаврентию подняться с пола Василий Афанасьевич. — Экие страсти творите, безбожники!

— Вино в нем жалеет, значит, хлебать незачем, — говорил Сенька. — Собирайся. Пятки-то все равно смазывать надо, — и, потоптавшись возле скамейки, неожиданно для всех заорал: — Вста-а-ть!

Василий Афанасьевич с перепугу прохнуллся на стул, прикрыв глаза ладонью.

— Что, хозяин, онемел? — истерично кричал поручик, забыв про всякую осторожность, но тут же, обтирая носовым платком лоб, извинился: — Прости, Василий Афанасьевич, не сдюжил. Сам

знаешь: сила на силу идет. Скажи гостю, чтоб в своем царстве-государстве помогал нам.

— Про то его просить не могу и не стану, — резко ответил купец, успокаиваясь. — Там его власть — там он и хозяин!

— К чертовой матери! — опять взвился Сенька. — Развелось хозяев — ни вздохни ни охни. Сам разберусь. Только плохо, что он нашу перебранку увидел. Насторожится. — Шитоев сел на скамейку рядом с Лаврентием, по-дружески положил на его плечо руку. — Чего, друг, поделаешь? Жизнь пошла такая: дерись-бранись, а за сильных держись! Суждено нам с тобой в тундре дни коротать — своих поджидать.

— Мне домой надо, у меня ребяташки малые, со дня на день дома ждут.

— До-мой! Выдумал. Василий Афанасьевич передаст Анне, что как был ты военной обязанности, так и остался. Был тебе приказ в тундру ехать — и делу конец. В лесах да снегах, может, умные мысли придут. Собаки заперты? — обратился он к Мялищеву. — А то опять на все село лай подымут.

И тут Василию Афанасьевичу показалось, что в доме хозяин не он, а конюх Сенька Шитоев и что в этом человеке спрятана страшная, непонятная ему, злая сила. Сердце забилось учащенными толчками, перед глазами рассыпями промелькнули искры и, чтобы не упасть в темноте, Василий Афанасьевич прижался к стене, приоткрыл дверь, и все вышли во двор.

— Во какая релюция, — выдохнул Васька-шаман, сметая со спины оленей снег и с тоской оглядываясь по сторонам. — Зачем релюция поехала в тундру? У охотников ничего нет. Лес, снег, болото — кому надо? — повторил он пришедшие на память слова купца Рогалева.

— Не знаю. Ничего я не знаю. Все путается в голове. У себя под носом разобраться не могу, а уж про твою тайгу и тундру судить не стану.

Шаман засопел, заговорил быстро-быстро на своем языке и по жестам, по привычке грызть на большом пальце ноготь Василий Афанасьевич угадал его волнение.

— Где там Лаврентий? Поторапливай своего гостя! — нервничал Шитоев, не зная, куда деть силу, схватился за скобку ворот, потянул на себя.

— Пуп сорвешь, — разглядывая следы санных полозьев, сказал Маитко, будто выросший из-под земли.

— Ты, ты опять тут, одноглазый леший? — При виде дворника у Шитоева от злости перехватило дух.

— Но-но! — Маитко юркнул под оленьи нарты. — Ишь, разговорился жеребец выездной. Сейчас как заору “караул”! — мужики-то прибежат да завернут тебе за спины белые ручки. Убивец! Ты Алеху-то убил. Ты!

Шитоев, потеряв над собой власть, кружил возле нарт, орал:

— Едемте или я перестреляю вас всех!

В предутренний час, когда даже петух в курятнике еще не решился подать голос, во дворе купца Мялищева творилось невообразимое. Купец сидел на ступеньках крыльца, словно оглушенный.

— Зачем Сенька в тундру просится? Худой человек Сенька. Злой, — шептал Васька-шаман, присаживаясь рядом с Василием Афанасьевичем. — Поедем со мной. В тайге тихо. Лес шумит — люди молчат, слушают. Зверь кричит — люди слушают, птица летит — люди глядят. Поедем.

— Ох, добрая твоя душа, — растрогался Василий Афанасьевич. — Нельзя мне пока. Сам видишь, нельзя. Чужого добра никому не жаль. А ты там хозяйствуй, Василий Могучий. Хозяйствуй.

Шаман резко встал, стащил с нарты савик, ловким движением набросил широким подолом на голову и плечи и предстал перед купцом богатырем. Он искал взглядом хорей, и Шитоев вовремя уловил намерение шамана неожиданно крикнуть на оленей и выехать с купеческого двора. А там — ищи ветра в поле!

— Куда? Куда лыжи наострил? Не шути, хозяин туземной стороны. Не тот час. Пуля быстрее твоих оленей.

Но шаман будто не слышал Сеньки Шитоева — приподнял над оленьими спинами хорей, и бык-коренник, натянув упряжь, пошевелил приставшие к снегу нарты.

— Где Лаврентий? — кричал Шитоев, не выпуская из рук второй конец хорей. От нетерпения у него перекашивались губы. — Гад ползучий! Я с тобой еще разберусь, — грозился он.

— Лавруха-то повесился, — сообщил Маитко, выбегая из конюховки. — Повесился Лавруха-то. Да и как ему, сердечному, не повеситься, если рядом такое чудовище!

Шитоев вцепился в косматый савик шамана. Затрещали ворсинки в его крепко сжатых пальцах.

Захлопали в людской двери. В конюховку вбежала прислуга. Холодные капли пота выступили на лбу поручика, по спине пробежал озноб. Слабеющей рукой он толкнул в спину Ваську-шамана.

Тот гикнул и застоявшиеся олени выбежали в распахнутые ворота.

Даша лежала навзничь поперек кошевы, будто разглядывала на небе тучи и звезды. Иней запорошил лоб и брови, но возле приоткрытых губ, обдаваемый редким дыханием, таял. Скуляще-протяжный собачий лай доносился, казалось, из-под земли, и, не в силах ничего понять, она попыталась поднять голову.

— Буянко, — пошевелились губы, и мохнатый снежный ком уперся сильными лапами в ее грудь, ткнулся в лицо мокрой, слюнявой пастью, лизнул щеки, потянул за полу полушубка и, отскочив в сторону, заскулил. — Сергуша, Ефимушко, — простонала Даша, боясь поверить в то, что случилось на лесной дороге. Перед глазами все плыло и качалось, падала и проваливалась в тучи луна.

Лошадь, почуяв людскую возню, перестала храпеть, ударила копытами по раздробленному облучку кошевы, застрявшему между березовыми стволами.

— Ох люди вы, люди-и-и, — стонала Даша, ползая по сыпучему снегу возле кошевы. Ефим, не успевший от неожиданных выстрелов выскочить из нее, лежал на тулупе в луже крови. — Сергуша, Сергуша, — звала Даша сына, шаря руками под облучком кошевы, думала: быть может, мальчонка спрятался там со страху. Неистовый лай Буянки звал ее к высокому кедру. — Как рука поднялась на ребенка? Дитяtko ты мое. — С жадностью хватая губами то одну, то другую ручонку сына, рыдала Даша. Не помнит, как несла к кошеве отяжелевшее тело Сергуши, как положила рядом с отцом, развернула лошадь на дорогу. Та без понуканий побежала рысцей. Впереди, будто указывая ей дорогу, бежал Буянко.

Весть о бандитском нападении на семью Дорошиных выстрелом облетела село.

Писарь Саввушка вздрогнул, опрокинул на выскобленный ножом стол высоконький пузырек с химическими чернилами, стал торопливо собирать разложенные бумаги, проклиная час, когда остался работать в Советах. “Тогда думать и размышлять было некогда, — оправдывался перед собой писарь. — Степан Голошапов не спрашивал, желаю ли я, писарь управы, справно вести дела при новой, народной власти. Как откажешься? Как в глаза скажешь: не стану? Они бы за ушко да на солнышко. Конечно, может, бы и не так было. Нашел бы место приказчиком, или учетчиком, или, на худой конец, экономом пошел. Да больше-то Нестера Прохоровича послушал. А то бы жил спокойненько”.

— Не мирятся господа со своей участью. Ни старого ни малого не шадят. У твоего дружка-то, Василия Афанасьевича, конюх-то — глухонемой вроде, а Маит рассказывает: притворяется. Да еще кто-то там в избушках сидит, ночами лунатиком по двору бродит, — укоризненно говорил писарю Степан Петрович.

— Перед ним, купцом-то, перед ним все шапки снимают, знают — кормилец! — писарь втянул голову от страха, что проронил вслух такие слова.

— Ладно, беды-бедами, дела-делами. Время не ждет. Оно торопит и всякого на своем месте определит, — будто прочитал мысли Савушки Степан Петрович.

К обеду с близлежащих деревень в Совет съезжались комитетчики. “Ноги бы моей там не было, — думал Нестор Прохорович, надевая беличью шапку, длиннополое драповое пальто с собольим шалевым воротником. — Но раз пригласили — схожу. Послушаю. Да говорить-то там кому? Степке-печнику? Власть — курам на смех! Скоро еще Маитке слово дадут.

Ненадеванное с прошлой зимы пальто оказалось свободным, плечи повисли. Только теперь он заметил, как похудел — опала пышность и стать, которой он гордился и которая, как ему казалось, подходила к его чину волостного старшины.

Из-за поворота во весь мах неслась тройка, впряженная в роскошную кошевку с откинутой на сиденье медвежьей шкурой.

Наездник стоя раскручивал вожжи над головой и пронзительно свистел.” Однако, у Якова Лапшина отобрали лошадей, разбойники, — вспыхнул Нестор Прохорович. — Чего доброго, и до моих доберутся. Кто их остановит? Скоро ли законная власть придет? Чего медлят в Тобольске? Эти-то по-настоящему заворачивают, силу чувствуют, если на заседание из других деревень шпарят. Ну да ничего. Мы их все одно голодом морить зачнем”, — сплевывал он под ноги ядовитую горечь.

— Посторонись! — послышался голос сзади. С заиндевелой бочки на санях, приветав, понукал лошаденку мялищевский дворник Маит.

“Этот-то одноглазый в именинниках ходит. Истинных виновников как на блюдечке обрисовал, а Василия Афанасьевича на чистую воду вывел с глухонемым работником да дезертиром Лаврухой Лазаревым. И ведь кто мог подумать? Сам-то Василий Афанасьевич путем не знал. Нет. Не стал бы он в эти дела впутываться. Ведь что

под боком творится, и не знаешь. А этого дворника-то близ двора теперь допускать не надо, а он, видать, им воду везет. Я бы не пустил. Ни по чем! Хозяина своего ославил, и хоть бы тебе что! Гонит лошаденку и посвистывает. — Нестору Прохоровичу до того стало муторно, что он не поленился наклониться — поднял мерзлую глызку и бросил вслед Маиту. Постоял с минуту, не зная, как достать из кармана носовой платок и обтереть руки. — Перед кем вырядился, дурак? Разве эти лохмотники понимают толк в путней одежде? Это бы в Тобольске, или кто из именитых прибыл в село — другое дело, — досадовал на себя, проклиная жизнь, от которой нет никакой радости. Искося глянул на дом Мялищевых, мимо которого проходил, искренне пожалел Василия Афанасьевича за такой конфуз перед новой властью, да и Алеху, и Лаврентия, сельских мужиков, ему было жаль. Чего он не мог сказать про Ефима Дорошина. — Не желаю больше слушать ничьих разговоров. — Нестор Прохорович повернул в проулок и, проваливаясь по узкой тропке в снег, вышел к своему дому.

Василий Афанасьевич в это время, приложив к голове холодную тряпку, сидел в кресле. Светлое пятно на стене — крохотный отблеск солнечного лучика, пробившегося вверху оконной рамы, подмигивал ему, вселял надежду. С обозом-то теперь где мужики? Пожалуй, полдороги прошагали. Нет, полдороги много. Может, верст триста. Только триста. На краю же света живем, на краю — и такая кутерьма. А что там-то, где людно, делается”?

Акулина Федоровна вошла в комнату на цыпочках, боясь скрипнуть половицей.

— Не сплю я, — отозвался Василий Афанасьевич. — Какой тут сон!

Купчиха, испугавшаяся смерти Лаврентия Лазарева, до тошноты пила валериановый настой и лежала в постели. Вспомнив о письме Никите от образованной барышни из соседнего села, решила порадовать Василия Афанасьевича.

Тот прочитал все дословно.

— Ни в жизнь не поверю, что он может против отца пойти, — прослезился Василий Афанасьевич, складывая вчетверо мелко исписанный лист. — Чуяло мое сердце — барышню завел. Дело молодое. А Саввушке я припомню, если все будет, как есть. Я ему еще покажу, как наводить тень на плетень. Обрадовался. Среди ночи прибежал — бумагу важную казать, а самому только подачку полу-

чить. Радетель. Только бы пожитья, только бы руки погреть. И ведь все норовят под шкуры купцу Мялищеву шпильку подсунуть. Ну вот и слава богу! — перекрестился Василий Афанасьевич. — Вроде ты меня, моя голубушка, живой водой напоила. Вот только сидел и думал: на что так за все радею? Нам с тобой хватит, что сколочено. Все ему бы передать. Чтобы все в дело пошло. В памяти у людей осталось: мол, крепкого достатку купец Мялищев был.

Акулина Федоровна молча слушала мужа. Она не очень-то верила письму, но не хотела расстраивать Василия Афанасьевича.

— С Вассой что-то делать надо, — шепотом сказала она. — Никакого послушания не стало, будто кто подменил.

— Не связывайся ты с кухарками. Где лучших-то возьмешь? К этим привыкла, да и они ничего без спроса не трогают. Спокойно живешь, где что положила, там то и взяла.

— Никита-то к ней ходит!

— Ну и пускай ходит, господи. Дело-то его молодое, — раздраженно ответил Василий Афанасьевич, сбрасывая на пол тряпку с головы. — Стану я еще о кухарках думать.

— Вовсе не все равно, к кому у него сердце клонится, — клонила свое Акулина Федоровна.

— Сердце клонится, сердце клонится! На кой черт тогда принесла письмо от этой барышни?

— Нашла и принесла, а к Вассе он то и дело забегает, а если и не забегает, то глаза на кухню тарачит — свету, вроде, белого не видит.

— У нас все не слава богу. Все шиворот-навыворот! Одно хорошо — другое плохо. Хоть бы про кухарок не говорила!

— Как не говорить-то? Сам про Вассу спросишь, да еще кланяться к ней пошлешь. Ты-то тоже на кухню ныряешь. Я ведь слышу, когда от тебя настойкой-то разит. Другая не даст, а эта: бери, бери, хозяин.

— Ха-ха, — взвеселел на минутку Василий Афанасьевич. — Если хозяина будет ни во что не ставить, как тогда быть?

— А вот пусть попробует еще! Пусть коснется к бутылкам. Я сама их сургучом запечатаю. Пусть попробует откроет. В суд подам.

— Ты хоть говори да не заговаривайся. Где он теперь, суд-то? Да кто тебя слушать станет? Боже ты мой! Ведь и на кухарку не найти управу! — сплюнул Василий Афанасьевич, расслышав стук в дверь.

— Заходите, заходите. — Василий Афанасьевич поднялся с кресла.



Широко распахнув двери, вошел главный лодочник Иван Валерианович Земцов.

— Вот гость так гость. Всем гостям гость! — засуетился Василий Афанасьевич, не зная, на что и подумать: так просто Иван Валерианович не пойдет. У него все дела, все хлопоты, все заботы. Без лодок, каюков, барж, колданок здесь никуда. Все как зайцы на острове. Все перед ним на коленях, особенно купцы. Хоть и Василий Афанасьевич. Кто бы он был без барж и лодок? Рыбьего бы хвоста не видел.

— Милости, милости прошу, Иван Валерианович, — сгибаясь в поклоне, говорил купец. — Ох и денек у меня сегодня. Ох и денек! Лавруха-то что учудил. Уехал бы уж в тундру, так нет — в петлю полёз. Ох ты наказание какое. Ума не приложу, как перед Анной ответ держать.

— У Анны свое горе — вдовье, а вот в Совете про тебя круто веревки вяют. В вину ставить хотят и смерть Алехи, и раненье Ефима Дорошина, и кончину мальчонки его. Так и требуют: к ответу купца Мялищева! За укрывательство бандитов.

— Я почему знал! — задыхаясь, шептал Василий Афанасьевич. — Мое дело с краю. Сном-духом не знал, никаких кровавых дел не видел.

— Я был там и пришел сказать. Не прибавил, не убавил — что слышал, то и говорю.

— Проходи, проходи, Иван Валерианович. Правда-то всегда наверх выйдет. Ни при чем я тут. Совсем ни при чем. Сеньку-то Шитоева все видели. По селу ходил, не прятался, а когда Лавруха объявился — не знаю. Тайком, видать. Видно, у них договоренность была. По ночам-то я в ограде не бываю. Ты вот знаешь, что у тебя творится? Там, может, не один Лавруха притаился. Теперь все, как тараканы по щелям, прячутся.

Ивана Валериановича маяла одышка: он облизывал губы, прежде чем сказать слово, а тут поперхнулся от неожиданного поворота разговора.

— Василий Афанасьевич, я не за тем к тебе пожаловал, чтобы напраслину выслушивать.

— Истинно пожаловал, — сконфузился Василий Афанасьевич, вроде бы вовсе не имея намерения пообидеть уважаемого человека. — Милости прошу к столу. И чего только не скажешь, чего только не сболтнешь, себя защищая, — виноватился купец, подставляя кресло к теплой печи. — Вот сюда, Иван Валерианович. Вот сюда.

— Обоз-то у тебя, Василий Афанасьевич, богатый? — откидывая голову на спинку кресла, спросил Земцов, искоса поглядывая на купца.

— Обоз-то? — не зная, как сразу ответить, переспросил купец. — Да средненький. Уловы нынче, слов нет, хорошие были. Особенно осетр шел. А зачем тебе знать, любезный Иван Валерианович?

— А за тем и пришел сказать: может, как-то его спасти можно. На Совете они хоть прямо и не говорили, так я не лыком шит — все понял: обоз-то твой для прикрытия отправили, чтоб больше мужиков из села ушло. Отряд какой-то карательный ждут. Вот и сегодня говорили: всем в леса идти, не оставаться в селе. Все возле этого разговор вертелся, хотя, вроде, главное — какую-то мудреную резолюцию принимали. Не знаю, кто ее в толк возьмет, только у меня ума не хватило ее понять.

— Как же! — вскинулся Василий Афанасьевич. — Рыба-то там отборная. Осетры икраные, муксуны колодкой соленые, нельма как одна в льдинки спрятана, живьем ее водой обливали, замораживали. Больше тридцати коробов. Это же чистый разор! Я за такие дела государю жаловаться стану. Суда потребую. Денег не пожалею.

— Где он, государь-то? Был, и нет трону, а ты — обоз с рыбой, — стонал Иван Валерианович, вытирая слезы, будто обоз был не Василия Афанасьевича, а его.

Мялищев только теперь стал понимать, почему мужики так быстро согласились идти в обоз, и собрались как по команде.

— Обхитрят они всех, обхитрят. Я послушал, так откуда что и взялось. Степан Голошапов телеграмму сочинил: мол, все с дальней окраины России, жители Сатаровской волости поддерживают Советскую власть, приветствуют Ленина и Совет Народных Комиссаров. Голосуют, шумят, как настоящие, — с раздражением говорил Земцов и хлопал себя по толстым бедрам мягкими ладонями.

— В толк не возьму ни одного слова, Иван Валерианович. Или уж из ума выживаю с этими передрягами, — сознался Василий Афанасьевич.

— Голошапов-то так и говорит: все вопросы продовольствия, снабжения, сельскохозяйственные машины, мануфактуры должны быть в наших руках. Говорит, будто ставит точку.

— Пусть шире рот разевают. Хлеб-то пока в наших амбарах лежит, — хорохорился купец.

Лодочник, побывав на заседании Совета, почувствовал: крепнет

мужицкая власть. А зачем к Мялищевым приходил, и сам себе ответить не мог. Наверное, выговориться. Больше не с кем.

Обмотав голову полотенцем, Василий Афанасьевич лег в пуховую постель, в которой раньше засыпал мгновенно.

“Прибыли-то какие раньше были, от зависти у людей глаза на лоб лезли. Видно, только уж в постели да в ночи и повспоминать приятности. Бывало, ездил на ярмарку с приказчиками, так какой капитал привозил — во сне не приснится”.

Купец Мялищев расширял и множил свое хозяйство, занимаясь перепродажей рыбы, скупленной у инородцев и пойманной на своих угодьях. Наперечет знал все речные ямы, где в осеннюю пору скапливается ценная рыба: осетр, стерлядь, нельма, муксун. Нередко по рекоставу, когда еще неокрепший лед трещал и гнулся под тяжестью человеческого тела, он приезжал на промысел.

“По добрым ранешным временам прибыль-то была бы невиданной, — думал Василий Афанасьевич, ворочаясь с одного бока на другой, громко и протяжно вздыхая. — Рыбка-то какая! Во рту тает! С осетрины-то ноне можно брать по три рубля с пуда, а то и по пятерке пойдет. С нелемки-то осенней, из которой особенно вкусны рыбные пироги, трешницу брать надо — не меньше... — Но тут купец прикинул в уме, какую сумму придется заплатить обозникам, и проскрежетал зубами. — Это же подумать только — рублевую поденщину заломили, а? На свой аршин все измерили, а мужицкий аршин супротив купеческого вдвое длиннее. Да и поденщину-то растянут. Лошаденки у всех хилые, сено дорогое. Ладно хоть своих лошадей немного дал. Да они нынче вроде и не просили. Разве Липатий? А остальные все своих взяли. Как это меня раньше мысль не обожгла? Неспроста лошадей-то взяли своих. Неспроста. Я, дурья башка, не обмозговал. Оно, конечно, на ярмарку всяк свои излишки возит. Кто морошку, кто черемуху да малину сушеную, кто орехи кедровые. У прасинских, точно знаю, на продажу грузди соленные в кадках, у мелещинских бочонка два с брусникой и клюквой. Раньше-то все на моих лошадях. На многое глаза закрывал, да разве это помнится? А в обоз-то нынче пошла голь перекатная. И на своих лошадях. Хоть у меня, старого козла, рог и крепкий, да обхитрили. Ох и обхитрили. А Зосиму да Филиппу с ними ничего не сделать. А больше и послать и просить было некого, как сдурели все”!

Тут пришла Василию Афанасьевичу горькая мысль. Даже слезы на глаза выдавила. “Сына бы послать. Вот бы кому в это время в



обоз идти, — горько вздохнул купец. — Не кому-нибудь капитал скапливаю. Не век жить буду. Придет время — не за горами. Дети от отцов наследуют, берут каждую копейку, а мой-то, как навоз в проруби. Нет никакого стремления, никакого желанья к делу. У других, как коршуны над отцовским добром, а этот хоть сейчас все по ветру пустит. И в кого пошел такой — ума не приложу. Какое бы было у меня спокойствие на душе, если бы Никита пошел с обозом. Спал бы я безмятежно. Пусть бы все пустил по ветру. Так это не кто-нибудь чужой, а мой сын. Охота, значит, к нему пришла: разгулялся человек из богатого сословия, распахнул душу, показал людям щедрость купеческую. А у меня все наоборот: в рот кладу — а он выплевывает. И где он сейчас? В этакую морозную пору? Был парень как парень, вернулся из этого Тобольска — как подменили, будто и не отец ему. Молчит, молчит, ни худого, ни хорошего слова не слышишь. Не передраги бы, так все одно как-нибудь разобрались, а тут не до него: то одно, то другое. Может, и правду Акулина Федоровна говорит, что к Вассе ходит”. — Подумалось вдруг, что не разговоры это, а на самом деле. Возьмет да принесет кухарка в подоле наследника Василию Афанасьевичу. От досады и еще черт знает каких мыслей Василий Афанасьевич скрипел зубами, прятал голову под подушку.

## Глава девятая

Первые версты лошади шли медленно, будто примерялись к поклаже, к дороге, к окрику ямщиков. Разноголосый звон колокольчиков скоро стал привычным. Мужики шли за подводами по нуро, примеряли шаг, растаптывали туго стянутые дратвой новые заплаты на пимах, приглядывались к дороге.

Верст через десять Филипп Митрофанов, ехавший в плетеном коробе в голове обоза, громко засвистел, что означало время первого перекура. Лошали, бывавшие в обозах, остановились сразу, предвкушая отдых. Те, которые шли в обозе впервые, сделав несколько шагов, тыкались мордами в спины идущих за подводой ямщиков.

— Ты гармонику-то не прихватил? — закричал через долгий ряд подвод Липатий. — Я свою-то в мешок с сушеной морошкой толкнул.

— Еще дом за поворотом виден, а он гармонику запросил, — ответил Савелий Тиунов вместо Филиппа.

— Да это я так, для блезира его спрашиваю. Думаешь, он слышит меня? Вона, гляди, как сыч, из короба башку поднял.

Филипп Митрофанов не напрасно остановил обоз. Он увидел на развилке дорог две подводы — Арси Попова и Антона Шмигельского. “Эти-то зачем? — с раздражением подумал Филипп. — Только их тут и не хватало. Этим палец в рот не клади — откусят и скажут: так было. Вот узнал бы Василий Афанасьевич, ни в жизнь бы не отправил обоз, лучше бы стноил да выбросил рыбу. Не-ет, тут надо ухо остро держать”. И, не дав мужикам выкурить по самокуртке, приказчик понужнул вожжами свою сыгую лошадь. Обоз дружно двинулся вперед. Клонился к вечеру короткий зимний день. А тут поднялась метель: будто сразу смешалась земля с небом.

— Скорее к Паняве. Скорее! — закричал Антон Шмигельский.

Крохотная избушка среди сгрудившегося на обрыве сосняка до середины была занесена снегом. Тоненькой струйкой вился из трубы дрожащий дымок и таял в морозном тумане. В стоптанных пимах, из пяток которых выставлялся сенной клок, стоял низенький, худенький, сгорбленный старичок с редкими длинными волосенками, раскиданными ветром в разные стороны. В заскорузлых руках он комкал старенькую шапку и низко кланялся каждой подводе.

— Жив, Панява? — кричал Филипп, подстегивая лошадь.

— Милости прошу. Милости прошу! — шамкал беззубым ртом Панява.

Мужики наскоро рассупонили лошадей, подпустили их к корму, а сами тут же завалились спать, кто на полу, кто на деревянных нарах, сколоченных вдоль стен, бросив под себя занесенные с возов тулупы.

Панява неслышно ходил по избушке, все время грозя сухим крючковатым пальцем серому лохматому псу, развалившемуся возле печи.

— Нельзя, Лохматко, шумлеть, негоже это. Пушай ямшики глаза сомкнут. В обозах-то, как пташки, спят, будто их кто кнутом понужает. Торопятся. Нужда их гонит пушше кнута.

На непонятные, но наставительные слова хозяина Лохматко скосил голову набок, вилял хвостом, тихо хлопал им по темному полу. Громкий храп разнесся от порога. Лохматко вскочил на сильные ноги.

— Ложись, — приказал Панява и положил руку на мягкую спину собаки. — Это они от пристатка. Скоро ишо впереди лихва будет. Мужики все молодые, им до ядреного храпа далече. Это он в душе отдушину сделал.

Лохматко опять завилял хвостом.

— Они вот нам гостинцев привезли: хлебушка, кренделей, соли. Вот опять и доживем с тобой до весны, а там, бог пошлет, может, и сядем на обласок да кружным путем через острова в деревню махнем. — Эти разговоры со своим псом Панява вел каждую зиму, когда приходил обоз, и присутствие людей будоражило в нем память и вызывало тоску. Он знал, что в деревне ему делать нечего, да и деревни его давно уже нет, разве только могильные кресты. Оно бы и не мешало побывать на старости лет на месте, где прошли годы, где ходил он здоровым и сильным, где похоронена Евлюша и ребятишки, которых в одну неделю покосила какая-то хворь, но он понимал, что пешим дойти не хватит сил, а выдолбленный из многолетней сосны обласок одному не дотащить до речного берега. Лежит этот обласок лет десять возле избушки, почернел от дождей, напоминает ему о времени, когда ныла и скучала душа по людям, а теперь все внутри приспокоилось.

В большом закопченном котле закипала вода: вначале по поверхности побежали мелкие пупырышки, срыбили гладь и спрятались в воду. Вслед за ними вздувались и лопались легкие воздушные пузырьки и вдруг, будто догоняя их, с самого дна вывернулся громадный пузырь, перевернулся на поверхности, расплескав по растрескавшейся от времени чугунной плите горячие брызги. Они подпрыгнули на каленой плите, прокатились, издавая визгливо-шипящий звук, и тут же потерялись. Панява вскочил, прихватил подолом длинной холщовой рубахи дужку котла, оттащил на край. Теперича пора мужиков будить. Времечко свое они отоспали, хоть на дворе ишо и ночь темная.

— Филипп Ильич, — Панява потормошил за плечо разомлевшего от тепла приказчика. Не отвечая на зов старика, тот яростно чесал вспотевшую шею и подбородок.

— Филипп Ильич, — постояв над нарами, прошептал старик.

Филипп рывком поднялся, тараща глаза. Пошарив руками, вытащил из-под тулупа ружье.

— Господь с тобой, — Панява отскочил к печке, нечаянно наступив на лапу собаки.

— На што оно тебе, ружжо-то? Али тут звери тебя кусать станут? — прошептал старик.

— Ф-у-у-у-у! — приказчик грузным телом грохнулся на нары, обтирая пот рукавом рубахи.

Проснулись ямщики, спросонья бурча, пошли на улицу впрягать лошадей.

— Грузно и метельно, погодить бы надо, — воротясь с улицы, сказал Арся. — Лошадей угробим.

Но Филипп заспорил, закричал, заторопил мужиков.

Скоро послышался визг и скрип полозьев, легкие, еще не набравшие силу, посвисты ямщков.

Никто не помнил, когда и кем был проложен зимний обозный тракт в стороне от великой реки. Многим он казался неудобным, и не раз удалыцы намеревались изменить его, сворачивая на почтовую дорогу. Но всегда с теми случалось что-нибудь непредвиденное: то погибала лошадь, то разбивался ямщик, то кто-нибудь что-то терял, одним словом, рассказней всяких было так много, что мало кто уже рисковал изменить этот путь. Тракт был глухим и пустынным.

К полудню обоз остановился на отдых. Ямщики, уставшие от одиночества и молчания, собрались в кружок. Развязав матерчатые кисеты, потчевали друг друга собственным самосадом.

— У тя, Липатий, самосад с кислинкой, — сплевывая с губы табачную крошку, сказал Зосим Кукушкин. — Долго под половиками его твоя Настя морила, вот он и заглох. Но ничего, крепкий. — Он сделал несколько затяжек. — Я сам делаю табак, бабе не доверяю. У них к этому табаку никакого радения нету, а раз радения нету, то по-путнему и не получается. А пошибче мово табаку, право слово, ни у кого нету.

— Да тебе токо кажется. Всяк к своей вони привыкший, — разобженно ответил Липатий.

— Пойдите-ка, мужики, — скосил голову Зосим. — Никак, какая-то подвода навстречу несется. Слышите — колокольчик?

— Верно твое слово, — подтвердил Липатий, тут же вскочив на воз, чтобы оглядеть дорогу.

Навстречу, визнув в снегу, брела лошадь. Размахивая вожжами, на возу стояла женщина. Завидев обоз, бросила в сторону вожжи и спрыгнула в снег. Запинаясь и падая, почти ползком выскочила на дорогу.

— Мужики, страсти-то какие! Страсти! — кричала она. — Отряд какой-то лютый идет. Порют мужиков до смерти. В Яровках-то Левонтия Силина до смерти заполостали, да он так на досках и лежит, для пристрастки всем. Никого не щадят, никого! Баб воло-

кут, старух, стариков — всех. Я-то по нужде в Яровки свернула — ребят завести, побоялась одних в избе оставлять. Старшой-то озороватый. Ничего не понимает. Боюсь, избенку спалит, я в короб их всех — да в Яровки повезла.

Это была Меланья Крохина — солдатская вдова, собравшаяся поехать на ярмарку. Цветастый платок выбился из-под толстой шерстяной шали. Старенькая шубейка с новыми заплатками на локтях расстегнута.

— Я токмо выезжаю, а по деревне реви! — оглядывая сбежавшихся мужиков, говорила Меланья. — Гляжу, трое солдат волоком волокут Евсеича. Знаете вы его. Он по деревням ходил, тес пилил. Ну, пропалинка у кого на щеке. — Меланья трясущимися руками хлопала по раздумянвшимся на морозе щекам. — А он уж бездыханный. Я лошадь разворачивать, а она уросит, тожеть, поди, перепуталась, сердечная, — говорила женщина, едва переводя дух. Спина загнанной в беге лошади враз покрылась инеем.

— Простынет, — Серега Шарапов сдернул с подводы Филиппа рогожину, бросил на спину Меланьиной лошади.

— Ну и чего такого, — вдруг перебив Меланью, сказал Филипп. — Идет законная власть.

— Это кака ишо законна-то? Это про что она так лютует-то? — Меланья попятилась, перекрестив лоб. — Это же зверье в штанах.

— Но-но, ты потише, — Филипп небрежно прошел возле Меланьи, поправляя на лошади сбрую. Меланья, и без того ослабевшая душой, запнулась о ком снега, упала.

— Неужто ты с емя заодно? Крест-то на груди пощупай. Может, он в рассудок приведет, — говорила Меланья, вставая.

Арсю Попова встревожили Меланьины слова, хотя он и знал, что из Тобольска на Север идет карательный отряд. Он прикидывал в уме, как расформировать мялищевский обоз, кого по каким охотничьим избушкам направить.

— Слушайте меня, мужики, — сказал Попов, вскочив на воз с рыбой. — Это идет карательный отряд, под чьим руководством — я не знаю, но цель у него одна: уничтожить всех, кто сочувствовал. Я говорю не про тех, кто участвовал в восстановлении Советской власти, а только сочувствовал. Кровью, и только кровью будет с ними расплата. Я предлагаю...

На воз, как хищный волк, вскочил Филипп. Разъяренный, схватил Арсентия за рукав, заорал:



— Душить его надо-ть, этого заразу! Душить!

— Погоды! — остановил его Астафий, оказавшийся тоже на возу.

— Это за что же его душить-то, а? Говори, Арся, свою линию, а мужики сами с усами.

— Задним подводам разворачиваться! Всем в лес к охотничьим избушкам! — Антон Шмигельский опрокинул в снег приказчика.

— Пустое! — орал Филипп, пурхаясь в снегу. — Им наперед известно, чей это обоз. Не тронут они его, пропустят. — Поднявшись, он матершинно выругался и побежал к подводе.

— Ружж-ж-о! — удивилась Меланья и с безумной бабьей силой толкнула в спину Филиппа.

Выстрел эхом понесся к лесу.

Меланья заголосила, из плетеного короба выскочили трое одетых в лохмотья ребятишек. Старшенький, остроглазый, испуганно смотрел на обозленное лицо Филиппа.

— Во, гадина! Во кому штаны-то стаскивать надо! — кричали мужики, связывая Филиппа вожжами.

— Поплатитесь за чужое-то добро! Поплатитесь! — сопротивлялся приказчик.

— Торопитесь, торопитесь, мужики! — Шмигельский помогал поворачивать обоз.

— Арся, поворачивай! Домой! Пусть все уходят в леса. Так и передай Степану: встретимся, где уславливались.

Мужики сгрудились, топтались на одном месте, словно не умели брать лошадей за уздцы.

— Все равно догонят вас, — ныл связанный приказчик. — Далеко не уйдете.

— Опять кляп просишь? — первым сворачивая в сторону подводу, предупредил Савелий Тиунов. Зосим Кукушкин надрывно хохотал сам не зная над чем. Он помнил просьбу купца: в оба глаза глядеть за обозом. “А чего тут глядеть? Тут и так видно — все в распыл пойдет”!

— Торопитесь, мужики, — подбадривал всех Антон Шмигельский. — Рыбу купеческую можно здесь оставить, а в леса — налегке.

— Разорители! Грабители! — орал Филипп и зажмурился, когда увидел, как Липатий, кряхтя, сталкивает в снег короб, груженный икрами осетрами.

— А я-то куда? — металась между подводами Меланья.

— Домой тебе надо, Меланья, домой.

— В прорубь брошусь. В прорубь. Мне на ярмарку надо — хоть

помирай. За душой гроша нету. Рыбалила-рыбалила, а рыбу-то купцам задарма отдала. Опять в долги пошла.

— На ярмарке-то чего продавать станешь? Ребят, что-ли?

— Горшки везу. У мастерового Климентия в подсобницах была, а потом он меня к станку подпустил. Вот теперь везу. Сказывают: глиняные горшки на ярмарке с руками-ногами берут.

— Ни на какую ярмарку не поедешь, — сердито сказал Антон. — Заморозишь ребят, да и время какое. Кому торговать-то? Кому нужны твои горшки, если люди каждый час под смертью ходят?

— А кто вы мне будете, чтобы я вас послушала? — осмелела Меланья, поправляя сбившиеся из-под платка рыжие кудрявые волосы. — Про мою-то бедность никто не спрашивает, а тут указчики нашлись. Но-но!.. — закричала она на лошаденку.

— Домой поезжай! Ребят не губи! — закричал на нее Липатий, но она даже не обернулась. Зосим Кукушкин, все время молчавший, басовито захохотал:

— Баба — не наши мужики. Она тебе не подчинится. У нее волос длинный, а ум хошь и малюсенький, а всегда при себе.

Обгоняя Меланью, Липатий загородил дорогу, сбросил с короба сено, прыгнул на горшки и стал топтаться, разламывая их в мелкие черепки. Горшки побольше поднимал над головой и бросал в кучу.

Меланья и все, кто был рядом, обомлели, а он, словно прислушиваясь к хрусту и скрежету черепков, молотил ногами с лихим остервенением.

— Люди добрые! Люди-и-и-и! — опомнившись, заголосила Меланья. — Мужики! Или вы слепые? Разве вы не знаете, что я солдатская вдова? Или мир ноне оглох и ослеп?

Зосим катался по возу, корча ноги в теплых собачьих унтах.

— Ничего, Меланья, ничего, — успокаивал ее Сергей Шаратов. — Ничего. Так надо. Возврутятся тебе твои денежки — погоди немного. А сама домой поезжай. В своем селе мужикам скажи: пусть в лес уходят.

Меланья не слушала его, она причитала и жаловалась на свою несчастную бабью долю.

— Сколько денег-то хотела за свои горшки выручить? — спросил Липатий, обтирая рукавом глинистую пыль с лица, потом пошарил по карманам, потряс грошами на ладони и подошел к приказчику: — Раскошеливайся! Давай пятнадцать рублей купеческих денег.

— Ты горшки хропал, а купеческими денежками расчет вздумал

производить! — прошипел над головой Липатия голос трактирного вышибалы. — На чужой каравай рот не разевай!

— Доставай деньги! — приказал вдруг Антон, вытащив из кармана наган. Круглое темное дуло было направлено в голову приказчика. Тот, сощурился глаза, закричал:

— Бери! Пусть пропадут они пропадом. Суй руку в правое голенище. Тамо в тряпице.

Зосим при виде нагана поперхнулся, разжал кулаки.

— Бери, Меланья, деньги за твои горшки, а у нас с Василием Афанасьевичем свой расчет будет. При свидетелях отсчитываю тебе пятнадцать рублей, и чтобы без оглядки домой ворочалась.

— Лишку за мои горшки-то. Лишку, — говорила Меланья в нерешительности.

— Бери, Меланья. Арихметика тут проста: без омману с тобой расчет сделали. Твоя-то дорога да мытарство с ребятами по такой стуже разве сэстолько стоят, дурочка ты! Бери. Это, если говорить, подмога от новой власти. — Липатий подмигнул мужикам.

— Падайте, ребяташки, на колени, падайте! Кланяйтесь мужикам, — запричитала Меланья.

Медленным, размеренным шагом брела по обочине, по самое брюхо в снегу, худая Меланья на лошаденку, объезжая обоз. Как галчата, выставились из короба трое ребяташек, не понимая, что творится на зимней дороге.

Зосим Кукушкин будто опомнился, когда увидел, как худая лошаденка Меланьи Крохиной, потряхивая отвислым брюхом, выехала на дорогу.

— Куда все расползаетесь? На кой черт мне ваши лесные избушки? Я отроду не лесовал.

— Спохватился. Все похохатывал, дурак! — обозвал обидным словом приказчик вышибалу. — В очах-то у тебя, видно, божья роса была. Теперя ответ вместе со мной держать станешь. Я все обскажу.

— Но-но, — протянул Зосим, доставая из-под сена ружье.

Но направленный в его сторону наган Антона Шмительского удержал прыть трактирного вышибалы, готового перестрелять всех мужиков.

Обоз хорошо проторил дорогу. Она стала ровной и твердой, хотя две метельные ночи успели кое-где наместить переметы.

Арся Попов настегивал лошаденку, и та бежала рысцей, стяхивая легкий куржак с длинной челки.

— Торопись, милая, торопись, — похлопывая меховыми рукавицами, говорил Арся. — У нас в селе дел много. Мы ведь все верили и не верили в карательные отряды. Не ближний свет в наши края идти, но по всему видно: приперли их наши на всех фронтах. Торопись, торопись, милая. Эти молодчики полкуют. Сорвут на мужике свою злость. Вооруженные все, кадровые — знают, что к чему, а у нас мужики военному делу не обучены. У них на человека рука не подыметя. А пока жалеть станут, с ними быстро расправятся. Наше дело в лесах пробыть да испотиха пощипывать, покоя не давать карателям.





С 70-ЛЕТИЕМ!

## НИНА

## ПОЭМА

СМОЛЬНИКОВ Алексей Степанович родился в 1926 году в г. Сарепуле Удмуртской АССР. Города его детства — Сургут, Ханты-Мансийск.

В 1944 году после окончания Ханты-Мансийской средней школы № 1 был призван в армию, затем на фронт.

В 1954 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького.

Работал журналистом, участвовал в геологических экспедициях на Сахалин, Камчатку и Чукотку.

Автор многих поэтических книг, в их числе — "Паводок" (1957), "Годовые кольца" (1977), "Полдень" (1983). Известен как переводчик с языков народов России и зарубежных стран.

Член Союза писателей с 1964 года.

Живет в Москве.

*Если бы требовалось какое-то одно слово для характеристики автора, я, пожалуй, сказал бы, что Алексей Смольников — поэт серьезный. Это не значит, что ему чуждо чувство юмора — отнюдь нет, прочитайте хотя бы "Рыбацкую уху", — это значит, что поэт ответствен за каждую строчку. Конечно же, могут быть строки лучше или хуже, но все, за что не написана ни одна...*

Марк СОБОЛЬ



Н. Т.

1

Или ночи осенние длинны,  
Или годы уходят, как льдины,  
Или память с годами ясней —  
Почему ты мне вспомнилась, Нина,  
Будто не было в мире родней?

Одноклассница, русая челка,  
Глаз улыбчивых хитрые щелки,  
Полинявшая блузка — война.  
По какому такому проселку  
Повернула в поэму она?

Вот на школьном крыльце, как бывало,  
Голичком по пимам помахала,  
Потоптала подшитой кошмой,  
Вот прошла, не смущаясь нимало,  
В наш десятый, как будто домой.

Здравствуй, Нина! Забыла ты, что ли? —  
Тридцать лет уж прошло, как не боле,  
Как закончили мы этот класс!  
Мы давно уж не учимся в школе,  
Здесь уже позабыли о нас.

Видишь вон за окошком солдата?  
Это п а м я т н и к. Мы же когда-то,  
Все ребята, ушли на войну.  
Вы же нас п р о в о д и л и, девчата,  
Вы на всю голосили страну...

Только Нина, нет-нет, улыбнется,  
Легким пальчиком челки коснется,  
Приближаясь к знакомым дверям...  
Не ищи нас, никто не вернется,  
Н и к о г о не увидишь ты там!

2

Что в гостинице маяться толку!  
Ночи белые в нашем поселке  
Ленинградских, пожалуй, белей.  
Я бродил тротуарами долго  
Без каких-то особых затей.

Я стоял у домов, где когда-то  
Жили мальчишки — наши ребята,  
Жили девочки, ждавшие нас...  
Переулочком этим шербатым  
Провожал ли я Нину хоть раз?

Домик рубленый на два оконца,  
Как слеза золотая на солнце,  
Проступает на бревнах смола.  
А под окнами речка смеется,  
И вода в ней вкусна и светла.

А за речкой до неба по склону  
Темных елей тяжелые кроны  
И кедрач, и осинник грибной...  
Четверть века я шел сюда ровно,  
Сколько лет не встречался с тобой!

Вы сначала писали, девчата,  
А потом подевались куда-то,  
Далеко разбросало войной.  
А когда мы вернулись, солдаты,  
Не нашли мы из вас ни одной.

Мы не поняли, вы понимали,  
Что мы все н а в с е г д а уезжали,  
Возвратимся ли, нет ли домой.  
Мы не поняли, вы понимали:  
Расставались не с нами — с судьбой.

Разлетелись вы все из поселка,  
Да и мы задержались не долго —  
Подались за умом кто куда.  
А разыскивать — что же без толку?  
Упустили мы наши года...

Я присел на скамейку у дома.  
Вон и речка бормочет знакомо,  
Старый кедр закачал головой,  
Будто мне проворчал: неуема,  
Ну, зачем ты сюда, дорогой?..

Вот и долго сегодня не спится,  
Вот и тенькает тонко синица  
С белой веточки в белую тишь,  
Где течет, говорит, серебрится  
Светлый-светлый, как юность, Иртыш.

### 3

Как-то в городе дальнем, не близко,  
Получил я однажды записку  
На тетрадном, в клетку, листке.



Мало ль пишут на сцену курсистки!  
Я вертел ее тупо в руке.

“Я пришла. Опоздала. Уроки!  
Ты на сцене (узнать бы!), и строки  
Торопливые эти прочтешь.  
Даже странно, что вдруг ты до срока,  
Не дождавшись записки, уйдешь...”

В ленинградском торжественном зале  
День поэзии. Музы блистали —  
Поэтический жаркий турнир.  
Четверть века как пушки молчали,  
Пировала поэзия мир.

Я уже отчитал свои ямбы  
И, укрывшись подальше от рампы,  
Ждал антракта. И вдруг твой листок.  
И подписано: Н и н а. Да я бы  
И по букве узнать тебя мог!

Методически, чтобы не сбиться,  
По рядам, как по строчкам страницу,  
Перебрал я глазами весь зал.  
Ах, как были внимательны лица,  
Только нужное мне не узнал!

Стой! Ей — с о р о к. Была она р у с а.  
Ну, чего тебе праздновать труса —  
Приглядишься, и ползала не в счет!  
Ты начни, не спеши, не волнуйся,  
Как поется: кто ищет — найдет.

Нина, Нина, ну что тебе это? —  
Указала б какую примету,  
Уронила бы сумочку вдруг!  
Ах, как слушают нынче поэтов —  
Даже кресло не скрипнет вокруг...

Вспомнил! Надо искать в этом зале  
Тех, кто, слушая, руки держали,  
Как в молитве, прижав их к губам,  
Будто зябко на пальцы дышали.  
Впрочем, нет и таких по рядам...

Да и что я, ведь это же в школе  
Ты держала их так поневоле:  
Было холодно в классе — война.  
Мы бы дров навозили поболее,  
Лесу много, да лошадь одна.

Ну, конечно, ты грела их, Нина,  
Вечерами садясь к пианино  
В нашем зале, подале от глаз.  
Вот и вся тут “привычке” причина,  
Как мне вспомнилось это сейчас!

Как леталось по клавишам звонким  
Этим пальчикам девичьим тонким,  
Как стеклянно пассажи текли!  
Мы стояли, притихнув, в сторонке,  
Мы почти не касались земли...

4

И пока я все шарил глазами  
В ослепительном праздничном зале,



Все искал тебя в дальних рядах,  
Вдруг припомнились наши печали  
О твоих музыкальных делах.

Мы однажды распорились даже:  
Где ты учишь все эти пассажи,  
Учишь пальчики беглости — как?  
Инструмент-то — все домики наши  
Обойди — лишь один, это факт!

... Той голодной зимой спозаранку,  
Чуть светлело, схвативши берданку,  
Я торил на охоту свой след —  
Куропатку какую, подранка,  
Или ронжу подбить на обед.

А обратно, довольный удачей,  
Шел я логом домой. Это значит —  
Мимо окон обмерзших твоих.  
Уж какие уроки-задачи, —  
Лишь бы в школу успеть! — не до них.

Только ты мне в окно улыбалась,  
Даже музыкой ты занималась!  
Это тоже был факт, и какой!  
Я заметил, как ты наклонялась  
Над столешницей, грубой доской.

Ты забыла прикрыть их газетой,  
Черно-белые клавиши эти  
Из двухцветных бумажных полос!  
Обо всем позабывши на свете,  
Чуть в окно не просунул я нос.

Может, это распевка какая?  
Может, гаммы? — поныне не знаю,  
Что ты пела, склонясь у стола.  
Вот и спорили мы, вспоминаю,  
Но столешница эта — была!

... Так я все вспоминал в этом зале,  
Где стихи уж давно отзвучали,  
И ведущий томил микрофон.  
Ты, наверно, меня не узнала  
И решила: ушел уже он...

Я вскочил, не дождавшись момента,  
Как закончатся аплодисменты,  
Ошибиться и встретить готов.  
И зачем эти все сантименты —  
Я пошел напролом вдоль рядов!

Я увидел глаза поначалу:  
Мне казалось, лицо излучало  
И сомненье, и радость, и страх.  
Я приблизился. Ах как играло  
Солнце в русых твоих волосах!

И тогда на виду, на проходе  
Я обнял тебя вдруг при народе  
И забыл все на свете слова.  
Я лишь видел — нас люди обходят,  
Я лишь помнил — плывет голова...

5

Уж на лестнице гулкой старинной,  
Уж на улице темной, пустынной

Я увидел, не веря глазам,  
Как минутно задумалась Нина  
И по-школьному... п а л ь ц ы к г у б а м!

— Нина, стой! Т ы и г р а е ш ь, признайся! —  
Только ты подышала на пальцы,  
Улыбнулась: — М ы е д е м к о м н е.  
Муж, наверно, порядком заждался.  
Будет нам р а н д е в у при луне!...

Я не помню, о чем мы болтали,  
Как мы ехали, что вспоминали,  
Лишь в прихожей опомнился вдруг.  
Дома нас, разумеется, ждали:  
Стол накрыт, при параде супруг.

Я усажен за стол, я ухожен,  
Первый тост за приезд мой предложен,  
Я привстал на какой-то момент.  
Я и ждал, что у в и ж у, и все же  
Улыбнулся, найдя инструмент.

— Нина, даже ста-рин-ный, с свечами!...—  
Только ты приумолкла печально:  
— Ах, не надо о нем, не черед.  
Лучше в с т р е т и м с я! Рюмки скучают.  
Я ждала, пусть и он подождет...

Ох, уж этот полуночный ужин,  
Через четверть столетия к тому же,  
Через жизнь, что несет на рысях!  
Не вином я сегодня контужен,  
Помолчите со мной, я иссяк.

Я исыяк. Так чего же сию я —  
То грустя, то смеясь, то тоскуя,  
То вином разбавляя печаль?  
Будто в гору поднялся крутую,  
И открылась мне новая даль.

А внизу, из туманной долины,  
Тонко-тонко, как зов мандолины,  
Мне синица слышна до зари.  
Или клавиши трогает Нина  
За стеною? Пойди разбери...





## РУССКИЙ ЛЕКАРЬ

Рассказ Сардакова  
Иосифа <sup>1</sup>

(Из книги избранного  
“Клятвопреступник”).

АЙПИН Еремей Данилович родился в 1948 году в п. Варьеган Сургутского (ныне — Нижневартовского) района.

Окончил Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище и Литературный институт им. А. М. Горького.

Служил в армии, работал журналистом, редактором в научно-методическом Центре по народному творчеству, представителем Президента Российской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе. Избирался народным депутатом СССР и Государственной Думы Российской Федерации.

Автор книг прозы “В ожидании первого снега” (1979), “В тени старого кедра” (1981), романа “Ханты, или Звезда Утренней Зари” (1990), сборника публицистики “Обреченные на гибель” (1994). Произведения Еремея Айпина переводились на венгерский, испанский, кубинский, эстонский языки.

Член Союза писателей с 1981 года.

Живет в Москве. Возглавляет Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

## 1. Гость дальней земли.

**И** среди русских есть тарэм<sup>2</sup>.

Дело было после войны. В ту пору я был пастухом в верховье Агана, на землях рода Казамкиных. Как-то во второй половине лета к нам приехал русский молодой человек, зоотехник, или, как мы его называем, олений лекарь. Сначала осмотрел стоянку и оленей, что возле дымокура спасались от комаров и паутов. Потом в одном чуме чай попил, поговорил с людьми, затем перешел в другой. Любознательным оказался, всем интересуется. Об оленях, о житебытье, об обычаях расспрашивает. Чай пьем — разговариваем. У дымокура на оленей стоим — разговариваем.

Между собой мы называли его Русским Молодым Человеком, Оленьим Лекарем и просто Лекарем.

Настал вечер. Я потеснил свою семью в половинке чума: моя мама передвинула постель ближе к двери, за ней переместились наши старшие дочки Лидия и Валентина, младший в люльке Егорка с матерью, еще здравствовавшей в те годы. В каждом чуме жили по две семьи: летом легче каслать — меньше поклажи. Гостю дальней земли постелил и натянул полог рядом с собой, ближе к спине дома, на почетном месте. Сначала он все называл меня “бригадиром” или “Иосифом Александровичем”. На это я ему сказал, что отец мой давно ушел в Нижний Мир. А у нас, у хантов, не принято называть по имени и попусту беспокоить тех, кто уже перебрался в тот мир. Поэтому зови меня просто Осипом.

На другое утро он говорит мне:

- Осип, хочу пастбище осмотреть.
- Смотри, — говорю. — Все вокруг — это пастбище!
- Нет, — говорит. — Мне все своими глазами надо увидеть!
- Что смотреть: бор видел, болото видел?
- Видел.
- Мне надо пройти по ним своими ногами!

<sup>1</sup> Эту историю я услышал в шестидесятые годы от бывшего оленевода Иосифа Александровича в доме моего отца на среднем течении Агана.

<sup>2</sup> Тарэм — выносливый, стойкий, мужественный с оттенками прилагательных “благородный”, “справедливый”, “достойный”.



— Везде одинаково: боры, болота, реки да озера.

— Зачем это тебе?

— Понимаешь, Осип: я хочу узнать вашу землю...

Разговор происходил возле дымокура. Как водится, мы смотрели на пришедших с пастбища оленей. Я повернулся к моим пастухам, спрашиваю по-своему, что с ним делать? Можно ли взять на обход? Выдержит ли? Но люди мои засомневались. Мол, где-нибудь “ляжет” — и потом плетись домой, тащи его на себе. А если далеко от дома ослабнет? Мол, комары да мошкара его заедят. Разве городской выдержит такое?! Мол, с ним только намучаешься — и дело не сделаешь, пастбища не обойдешь. Зачем попусту на него время терять? Словом, все высказались против, не связывайся с ним. Поживет здесь день-другой и сам начнет в город проситься. Никто из приезжих тут долго не выдерживает. Особенно в комариную пору и в жару.

Выслушал я своих пастухов и говорю ему:

— Комаров много, Молодой Человек!

— Не съедят, поди, — отвечает он.

— Болота толкие!

— Не утону, поди.

— Тропы длинные и тяжкие!

— Но вы же ходите по ним.

— И все пешком и пешком!

— Я солдат! — говорит.

— Ну и что?

— Я солдатом был, — говорит. — Сколько оттопал — не счесть!

— Терпишь, значит?

— Терплю!

— Много дней терпишь?

— Сколько нужно будет.

Я помолчал немного. Думаю, если ему так хочется — пусть попробует. Коль ляжет — так уж как-нибудь дотащу до дома. Сказал ему:

— Ладно, ноги твои: хочешь — пойдем.

— Конечно, пойдем! — бодро согласился он.

Перед уходом я отдал ему летние нырики<sup>1</sup> и попросил свять сапоги. Переобулся. В сапогах по нашим болотам далеко не уйдешь.

---

<sup>1</sup> Нырики — мягкая кожаная обувь из ровдуги, мокасины.

Собрались, последний чай попили. Надел он на себя свой рюкзак — и мы пустились в путь. Объяснил ему, как и куда будем идти. Сначала по сосновым борам пойдем вдоль Агана вниз, потом по боку одного из его притоков повернем на север, поднимемся до самого верха реки. Оттуда, по верховьям больших и малых притоков Агана, двинемся на восток. Там будем брать все правее и правее, в сторону полуденного солнца. И, возможно, выйдем к Агану недалеко от его истока и совсем с противоположной стороны вернемся домой. Сделаем большой круг, в центре которого пасется наше стадо.

Спутник мой кивнул: мол, все понял.

Я двинулся скорым шагом далеко идущего человека. По твердой земле соснового бора мой напарник шел ходко, шел хорошо. Это немного успокоило меня. Подумал: “Похоже, парень и вправду день-другой выдержит!” Пускаясь в дорогу, так прикинул: как только мой Лекарь начнет сдавать, назад повернем, домой поплетемся. Как-нибудь, с большими перекурами да привалами, авось, дотянет до дома. Такое у меня было на уме, когда вопреки словам моих пастухов я решил его взять с собой.

Идем по бору. Он чуть позади меня на шаг или полшага отстает. Идем — то молчим, то двумя-тремя словами перекидываемся. При ходьбе быстрой обстоятельный разговор не вяжется.

Идем, изредка на перекуры останавливаемся. Мы бы вообще не останавливались, если бы я ему строго-настрого не запретил курить на ходу. Стояла непомерная сушь, все боры давно пересохли. И от одной маленькой искорки ягель мог порохом вспыхнуть. Он со мной согласился без лишних слов. Вначале я одним уголком глаза все следил, чтобы он окурки тушил по-летнему — закапывал в песок. Это самый надежный способ тушения. Поэтому место для перекура выбирал ему возле песчаных выбоин на тропе или на зимнике. Впрочем, он тоже прекрасно понимал, что если спалим пастбища — кончим оленей. Если кончим оленей — то лишимся жизни.

Для меня же нет проблем с огнем. На ходу достаю табакерку, на ходу курю — табак за губу кладу. С улыбкой предложил ему:

— Попробуй мой табачок, Молодой Человек!

— Не привык к такому способу курения! — тоже с улыбкой ответил он.

— Вот поживешь с нами, попасешь оленей — и научишься по-нашему курить!

— Научусь — так хоть на спичках сэкономлю! — смеется он.

— Главное, без огня начнешь обходиться.

— Да, ваши ягельники и боры от огня сберегу!

Покуривая папиросу, он расспрашивал, как мы пасем стадо в летнюю пору. Я коротко рассказал ему. Сразу после весеннего отела, в начале лета, когда появляются комары, мы переходим на круглосуточное дежурство. Пасем попарно. Два пастуха дежурят день и ночь, потом заступают на смену следующие двое. Так и ходим за стадом всю ночь. Утром пригоняем оленей домой, где они у дымокура лежат до тех пор, пока не проголодаются. Встали олени, пошли на пастбище — пастухи за ними. Там живем почти до конца лета. Примерно в конце июля, когда ночи становятся совсем темными и оленей уже трудно различать от деревьев-трав, отпускаем их на вольный выпас. За лето они приучаются к дымокуру. И по утрам, избавляясь от паутов и назойливой мошкары, так называемой “комариной рысцой” прибегают домой к спасительному дыму. А если не являются к дымокуру, то приходится разыскивать их на пастбище.

Как раз это время выпаса сейчас наступило.

Что в эту пору делают пастухи? Да дел всегда невпроворот! Через каждую неделю-другую делаем дальние обходы пастбищ. Смотрим, не отбились ли за его пределы большие группы оленей. Если есть таковые, заворачиваем обратно, пригоняем домой. И второе важное дело — ремонтируем старые и мастерим новые нарты, готовимся к осени и зиме. Пастух без нарты — это как охотник без ружья. А за год столько ездовых и грузовых нарт изнашивается и ломается, что к концу лета не знаешь, с чего начать. Тут за полтора-два подснежных месяца каждый пастух должен поставить на ноги — точнее, на копылья — весь свой аргиш. Иначе по первоснежью вместе с семьей останешься на первом же брошенном становье. Поэтому все свободные дни либо латаешь упряжь, либо по берегам речек выискиваешь кремневые лесины на полозья. За два-три касания по весеннему насту нартовые полозья начисто “сгорают”. Вот и ходишь в поисках дерева покрепче, если весной какие-нибудь нащепки не успел приспособить на полозья.

Выкурил он папиросу, схоронил окурок в песок — и мы двинулись дальше.

— По чьей земле, Осип, идем? — спрашивает.

— По земле рода Казамкиных, — отвечаю.



- Они не против колхозного стада?
- Кто их станет спрашивать?
- Да, пожалуй...
- Все здесь принадлежит колхозу. Так считается.
- Помолчал мой спутник, потом спросил:
- А твоя земля где, Осип?
- Моя земля тоже теперь стала колхозной.
- Далеко она отсюда?
- Река Ягурьях была землей рода Сардаковых<sup>1</sup>, — сказал я.
- Это вниз по Агану?
- Да, правый приток. Сразу за поселком, за Варьеганом, где контора нашего колхоза.

Оба замолкаем. Идем дальше.

Сосновый бор.

Горячее солнце.

Жужжанье паутов.

Писк комаров.

Оленьи тропы, оленьи следы.

Полуденный чай не стали варить. Из дома вышли поздно, почти к середине дня. Решил, что напарник мой выдержит без еды до вечера. Лишняя остановка — лишняя трата времени. Подумал, если он хорошо пойдет, может быть, удастся обойти большую часть пастбищ. Коль уж приспичит, очень захочет есть — так напомнит про обед, не маленький. Но все идет, молчит про еду — значит, еще терпит.

Миновали бор Узорчатого Яра, на котором расположены зимние и летние селения основной ветви рода Казамкиных. У главы рода много имен, рассказывал я своему спутнику. Ханты зовут его и Чачики, и Данива-ики, и Коски Отец — это по имени старшего сына. Русские кличут его дедом Василием, это его русское имя. Белая голова, белая борода. Сколько ему лет — он, пожалуй, и сам не знает. В Летнем Селении<sup>2</sup> он, бывало, с трубкой в зубах усядется на крутояре возле дома и подолгу смотрит на медленные воды Агана. Возможно, Старший Казамкин вспоминал рассказы о том времени, когда его предки пришли сюда, в верховье Агана с далекого Казы-

<sup>1</sup> Там к 80-м годам геологи построят крупный поселок Новоаганск.

<sup>2</sup> Селение будет жить до тех пор, пока на юге, за черным урманом не откроют знаменитый нефтяной Самолпор и не встанет город Нижневартовск, откуда вытянутся сюда его бетонные цугальца дорог и стальных нефтепроводов.

ма, правого притока Нижней Оби. Пришли и обосновались тут в пустынном в ту пору верховье реки. Ведь на среднем и нижнем течении тогда уже жили другие роды. Если сплукаться вниз, то после Казамкиных пойдут Сардаковы, Айпины, Лейковы, Тылчины, снова Айпины, Тырлины, Покачевы, Епаркины, вторые Тырлины, снова Покачевы, потом Лисмановы — а там и устье Агана.

Почему яр называется Узорчатым? Старший объяснял все очень просто. Он указывал рукой на нижнюю оконечность яра, на самый высокий угор, поросший соснами: посмотрите там и все поймете. И вправду, под соснами, на белоягельном бору лежат причудливые узоры из белейшего песка. Будто давным-давно, в незапамятные времена, их вырезала искусная мастерица из камуса белого оленя. Отсюда и пошли названия: Узорчатый Яр, Узорчатого Яра Селение и еще одно имя Старшего — Узорчатого Яра Старик.

Почему у Старшего столько имен? Он считался в свое время довольно сильным шаманом, а всякого шамана не принято часто называть прямым именем. Вот откуда у него много имен появилось. Впрочем, многие его побаивались, что ли. Ходили слухи, что он не совсем справедливо шаманил иногда. Говоря по-нашему, “обратно жил”, “в обратную сторону дела делал”, то есть не столько помогал, сколько вредил помаленьку людям, которые ему не нравились. Только красные русские не боялись его. Но, однако, когда забирали всех шаманов реки “как врагов народа”, его не тронули. Видно, судьба...

Так вот идем. Напарник мой спрашивает — я отвечаю, такие рассказы-сказки ему рассказываю.

После бора вышли к неширокой заболоченной лощине, по которой весной талые снеговые воды скатывались в пойму Агана. Не останавливаясь, ступая по кочкам, я пустился через болотце. Уже выходя на противоположный бор, услышал крик:

— Осип, спасай!.. Осип, то-ну!

Оглянулся: мой спутник посреди болотца провалился и по пояс завяз. Глаза — как два котла, волосы — вздыбились лесом. Руками, как лопатами, наклонившись вперед, загребает болотную жижу в обратную сторону. Дерг одной ногой — все ниже, дерг другой ногой — еще глубже. Всякая трясина одинаково держит: чем больше дрыгаешься, тем быстрее засасывает.

— Не шевелись! — кричу ему. — Сейчас вытащу!

Болотце вроде бы не топкое, подумал я. Как умудрился завязнуть?

— Не утонешь! — кричу ему. — Болото тут не глубокое!

Вернулся к нему, взял его за левую руку, на бор глянул. До твердой земли расстояние небольшое. Может, с хороший аркан. Может, чуть больше. Ну вот, стиснул крепко его руку, выдернул его из трясины и, добавив свою дурость, по болотной жиже волоком поволок его к сосновому бору. Можно было, вытянув из трясины, поставить его на ноги, и он выбрался бы на сухое место. Но я этого не сделал, а поволок его. Подумал: пусть как следует понюхает нашу землю, пусть попробует на вкус болотной жижи-водицы, пусть лучше узнает, как живется-работается пастуху-оленеводу.

Допер я его до твердой земли, на ноги помог подняться, выпустил его руку. Он отряхнулся от налипших остатков торфа и мха, по взлохмаченным волосам пятернями провел, говорит:

— Спасибо, Осип!.. Без тебя не выбрался бы из этой ямы!..

— Вот если бы в сапогах был — и с моей помощью не выбрался! — засмеялся я.

— Вовремя от сапог избавился.

— Или остались бы сейчас на дне болота.

— Да, верно! Спасибо, тебе!..

— За это у нас не говорят “спасибо”, — сказал я.

— Почему?

— Это такое малое дело, которое обязан делать каждый человек.

— Поэтому не стоит благодарности?

— Да, поэтому не тратят на это слово.

— Так-так, понял...

Я достал табакерку, а напарник закурил папиросу. Помолчали, потом, глядя на болотце, он спросил:

— Много ли оленей в топи попадает?

— Взрослый олень умный: топь обходит стороной.

— Но бывают случаи?

— Конечно, бывают. Кто обычно вязнет на топком месте? Глупые оленята — это раз. Взрослые олени, скажем, загнанные в болото медведем — это два. И неосторожные в пору, когда на урезе воды малых зарастающих озер появляется трава, которую у нас называют коос-пом. Эту траву очень любят олени. И в погоне за ней, бывает, олени забывают об опасности и вязнут в мягких болотах — это три.

— Как трава называется — коос-пом?

— Как будет по-русски — не знаю. А по-хантыйски так переводится: “крохаль-трава”. Утка такая есть.

— Знаю.

— Говорят, трава-то лечебная. Может, поэтому олени так любят ее.

— Мне посмотреть надо эту траву, Осип.

Помолчали, покуривая. Потом он снова стал расспрашивать про оленей:

— Как вызволяете попавших в топь?

— Очень просто: тянешь за рога или хвостик.

— А если место топкое, опоры нет?

— Тогда ломаешь сухары<sup>1</sup>, настилаешь мостки, по ним подбираешься к попавшему в беду оленю, помогаешь ему вытащить передние ноги. Если под передними ногами будет хороший упор, он сам довольно легко может выбраться.

— А сам, Осип, если бы в топь попал, как бы выбрался?

— Я бы постарался не попасть туда! — засмеялся я.

— Но ведь всяко бывает.

— Глаза показывают, где можно ходить, а где нельзя, — сказал я.

— Первое дело: никогда не ступай на буро-коричневые пятна болота, где не растут ни травинка, ни мшинка. Тут наверняка можно провалиться. Второе: болота наши довольно твердые, топких мест совсем немного... По зыбким местам обычно ходим со слагами или с арканом.

— Аркан чем поможет?

— Заарканишь дерево, пенек или просто кочку — и выбирайся по аркану из болота.

— Что же дома не дал мне аркан?

— Так вот — не догадался...

— Хоть сам бы выбрался из топи!

Когда он выкурил папиросу и сунул окурок в болотную жижу, двинулись дальше по сухому бору. К вечеру поднялась мошкара, которая назойливо лезла в глаза, ноздри и уши. Идти стало труднее. Но спутник мой молча шагает, будто всю жизнь проходил по таким оленьим тропам.

В первых сумерках мы вышли к Лахр-Ягуну, к правому, довольно-немаленькому притоку Агана. По всем меркам останавливаться еще рано, но я решил устроить здесь ночлег. Мой Олений Лекарь целый день на ногах и без еды. Хоть и бодрится, но я знаю, что человеку непривычному трудно столько пройти пешком по жаре и комарам.

<sup>1</sup> Сухара — высушенное на корню дерево.

На песчаном ярике, на берегу речки я выбрал место для привала. Быстро развел костер, повесил над огнем котелок для чая. Пока закипала вода, нарубил сосновых веток на лежанку, развернул полог. Полог от комаров был один на двоих.

Вскипел чай — и мы сели ужинать.

Пили чай степенно, не спеша, с неторопливым говором. Между тем не заметили, как опустошили котелок. Не долго думая, над огнем повесили его во второй раз.

На бор и речку опустилась ночь.

На западе, над верхушками сосен еще долго, как бы нехотя, догорала вечерняя заря.

Укладываясь спать, спросил напарника:

— Ну как, Молодой Человек, немного устал?

— Да, немного есть, — ответил он.

— Еще один день терпишь?

— Терплю, — бодро сказал он.

Это хорошо, подумал я. И собрался лечь, но мой неутомный Лекарь вспомнил про мою мамушку, стал расспрашивать.

— А твоей маме, Осип, не тяжело кочевать с вами?

— Да она еще любую молодуюшку может обскакать на упряжке! Старая закалка! — улыбнулся я.

— Но все же старости нужен покой.

— Да где возьмешь этот покой?

— В поселке жить не хочет?

— Нет, конечно... Понимаешь, я младший сын в семье, она последнего меня выкормила, — стал ему объяснять. — Поэтому, по нашим обычаям, родители на старости лет достаются мне, самому младшему сыну. Я должен заботиться о них... Я ж не могу оставить ее где попало, кому попало...

— Да, Осип...

— И нам без нее было бы нелегко.

— Помогает?

— Как же, почти полдома держится на маме. Помогает Моей<sup>1</sup> одежду шить, стирать, еду готовить. И, конечно же, незаменимая нянька нашим детям. Не знаю, как бы без нее мы пастушили, как бы каслали с места на место. Представляешь, как с такой оравой кочевать?! По-хорошему-то вообще многодетных нельзя ставить пастухами.

<sup>1</sup> Обычно не принято супругам называть друг друга по имени. Говорят "Мой" или "Моя", или, к примеру, "Лидии Мама", "Ивана Отец", "Наших детей Мама" и "Наших детей Отец".



Тогда я еще не знал, что меня ожидает впереди. Не знал, что вскоре после рождения нашей младшей дочки погаснет очаг моего дома. Все мы осиротеем. Моя, родившая мне пятерых детей, преждевременно оставит этот мир. И моей старой маме придется растить моих детей.

Наконец замолк мой спутник.

Я сунул под голову аркан и пояс вместо подушки, улегся поудобнее и с думой о маме, под мягко журчащий говор воды, вскоре уснул.

## 2. Вверх по Кольчуге-Реке

Утром, как это обычно бывает на ночевке в лесу, проснулся очень рано. Встал, вскипятил чай, разбудил напарника. После первого дня ходьбы пешком ломит все тело, это известно каждому пешеходу. Но Лекарь мой поднялся быстро, поясницей покрутил, руками помахал, шеей повертел. Улыбнулся: говорит, жить можно. Зарядкой это у него называется.

Я ему на нырки показал. Мол, руками надо поработать для начала. Вечером объяснил ему, какой уход требуют нырики. Под моим присмотром смыл с них песок в речной воде, выжал и, старательно расправив, повесил на просушку. А травяные стельки разложил на валежине — они тоже должны до утра просохнуть. И вот теперь, высохнув, кожа ныриков совсем задубела. Чтобы не намозолить ноги, берешь нырики и мнешь их руками. Они любят уход. Если как следует не будешь просушивать — сгниют, развалятся на ходу. Пропадут нырики — останешься без ног. А без ног в лесу куда?!

Размяли нырики, обулись, чай попили, обвел я взглядом место привала — не забыл ли чего — и мы пустились в путь. Сказал спутнику:

- На север мы повернули, вверх по Лахр-Ягуну пойдём.
- Эту речку так зовут?
- Да, конечно.
- А как переводится название речки?
- “Ягун” — это речка, а “Лахр”, “Лахр”...
- Не переводится?
- “Лахр” — это железная рубаха...
- Что за “железная рубаха”?
- Железная рубаха война, богатыря — как это по-русски называется?

- Кольчуга, наверное?
- Во-во — “Кольчуга-Река”, значит.

Напарник мой хмыкнул, помолчал, покрутил головой, потом спросил:

- Откуда такое название сюда пришло?
- Из древности, — отвечаю. — От предков наших.
- А у них откуда кольчуги?
- Так они ж воевали!
- С кем?

Я начал ему считать на пальцах:

— С юга нападали татары — с ними воевали, это раз. Оттуда же приходили русские — опять воевали, это два. С севера набеги делали ненцы — с ними тоже воевали, это три. Так что, судя по войнам, кольчуга у наших предков чуть ли не повседневной одеждой была...

- Да, похоже.
- В те времена много воевали.
- И кто одерживал верх?

— Как это кто?! — удивился я. — Если бы нас победили, то у нас отняли бы нашу землю! А коли мы остались жить на своей земле, значит, наши предки защитили нашу землю, отстояли ее! Вот так, Молодой Человек!..

— Не сердись, Осип! — миролюбиво сказал он. — Я не хотел тебя обидеть...

Несколько шагов прошли молча, ведя глаз по земле. Потом я снова заговорил:

- Предки хорошо защищали нашу землю, а мы — плохо...
- Почему так?
- Мы теряем свою землю<sup>1</sup>...

— Каким образом — никто же не отнимает, ни с кем же не надо воевать!

- И отнимают, и воевать приходится!
- С кем?
- С русскими, — отвечаю.
- С какими русскими?
- С красными русскими.
- С красными?! — удивленно поднял он брови.

---

<sup>1</sup> Тогда он еще не знал, что окончательно потеряет свои земли лет через тридцать, когда на месте его настоящей стоянки, возле устья Язевой Реки вырастет город нефтяников Радужный.

Коротко рассказал ему, как было дело. Когда появились первые русские, по словам наших древних, мы с ними воевали. Потом все уладили и при Белом Царе, при белых русских мирно зажили. Но тут место Белого Царя занял Красный Царь и нагрянули русские, красные русские. Нагрянули, нахлынули со своими приказами-указами — так не делай, сяк не делай, так не живи, сяк не живи. Мы немного потерпели — и поднялись войной на красных русских. На прародине Казамкиных водились в ту пору еще лихие ребята. Они и поднялись первыми. Надеялись стать хозяевами на своей земле. Надеялись на свободу, чтобы самим решать, как жить в своем доме. Но ничего не вышло, ничего не получили.

— Плохо, что ли, воевали? — серьезно спросил мой Лекарь.

— Вовсе нет, но дело плохо кончилось...

— Да, война — дело плохое...

— После своих предков с кольчугами мы, пожалуй, в первый раз проиграли войну... — сказал я.

— Почему так получилось по-твоему, Осип?! — спрашивает.

Растолковываю ему:

— Красные воевали не справедливо.

— Как это не справедливо?

— Очень просто: мы на красных — с ружьем, они на нас — с пушкой или пулеметом. Мы — на оленьей упряжке, они — на самолете. Да еще сверху бросают огненные камни<sup>1</sup>. Разве это справедливо?!

— Но это война...

— Или вот еще: где наших десятки — там красных сотни. А где наших сотня — там красных тысяча.

— Война...

— Но совесть-то надо иметь или нет?!

— Да, без совести нельзя, — признался мой Лекарь.

— Вот-вот: без совести может только нелюдь обходиться!

Помолчал мой собеседник. Мы шли бором, потом спустились в пойму и довольно долго пробирались вдоль берега по кочкарнику среди частых валежин. Я следил за следами зверей-птиц и за ходом оленей: где паслись, сколько их было, в каком направлении ушли.

Когда мы выбрались на ровное место, мой спутник продолжил прерванный разговор, спросил:

---

<sup>1</sup> Огненный камень — так называли и гранату, и бомбу.

— Осип, а война разве может быть справедливой?  
— Наша была справедливой.  
— Объясни, почему.  
— Вот слушай: если я с винтовкой приду на чужую землю, в чужой дом и меня за это прибудут — это справедливо будет, скажи ты мне?!

— Да, пожалуй...

— Все верно. А теперь, если на мою землю, в мой дом приходит красный с винтовкой, с пулеметом, с пушкой, что я должен делать?

Мой спутник молчит.

— Я должен делать то же, что сделали бы со мной на чужой земле, приди я туда с войной. Правильно говорю?

Молчит мой напарник.

— Знаю, скажешь: красные хорошие, нельзя их трогать...

Молчит.

— Когда в первый раз они нагрянули к нам, уверяли: мы, красные, для вас хорошие, помогайте нам, а вот белые — плохие, бейте их! Такие сказки нам напевали...

Олений Лекарь повел головой влево-вправо, выпрямился, медленно и увесисто опустил на меня три слова:

— Гадов... надо бить!..

Я ничего не сказал на это. Помолчав, он добавил:

— Как и хорошие люди, они попадают на всех землях...

— Тоже правильно, — согласился я.

После небольшой паузы он спросил:

— Ты сам, Осип, воевал с красными?

— Нет, я мал тогда еще был.

— Откуда все знаешь? От взрослых, вернее, стариков?

— Люди рассказывают, народ вспоминает... А тех, кто воевал против красных, всех потом кончили: кого в бою, кого в тюрьме, кого втихомолку, из-за угла.

— Осип, ты пошел бы против красных? — спрашивает.

— Если бы приспичило — куда деваться?! — вопросом на вопрос ответил я.

Немного подумав, добавил:

— Если воевать по-справедливому, так двух-трех воинов за свою землю одолел бы.

— А я ненавижу войну!..

— Я — тоже!

После этого мы надолго замолчали. Каждый задумался о своем. Слева уходила назад, говоря по-русски, Кольчуга-Река. Видно, ее "военное" название наталкивало наши мысли на эту тему и поэтому мы почти целый день говорили о войне. Мы шагали в основном по редким сосновым борам, что часто перерезались болотцами и ровными сорами. Справа же тянулись сплошные болота с большими и малыми озерами.

Чем ближе к вершине реки — тем сосны в бору реже и ростом заметно ниже. Чувствуется, что идем на север, в сторону "холодного угла".

На окраине бора, на угоре я приостановился, затем медленно, оглядывая ягель, прошел в глубину леса.

— Что там нашел, Осип? — спросил напарник.

— Медведь...

— Где?! — встрепенулся Молодой Человек.

— След, утром прошел.

— Нагрешил?

— Нет, вроде бы...

Я разгреб сучком "пирог", оставленный медведем. В нем хорошо видны остатки кустиков и листочков черники, веточки голубики. Значит, он жил в пойме Лахр-Ягуна и лакомился ягодами, лениво нежился на мягкой мураве под тенистыми кедрами. А теперь вышел на бор и направился напрямиком на центр пастбищ, в сторону большого стада. В этом для пастуха мало приятного. Коль не поймает оленя, так распугает их, разгонит. Впрочем, кто его пути-тропы ведает — может повернуть влево или вправо, может ни с того ни с сего умчаться за тридевять земель совсем в противоположном направлении. Предсказать все проделки чернолицего невозможно.

Пояснил напарнику:

— Если чернолицый нагрешит — в его пироге остается оленья шерсть.

— Тут шерсти нет?

— Нет, не видно.

— Стало быть, его совесть чиста?

— Чиста.

— Тогда пусть живет! — улыбнулся мой спутник.

На берегу Лахр-Ягуна вскипятили и выпили полуденный чай. И снова пустились в путь. Оленьих следов было немного. Они доходили до реки, вдоль нее поворачивали вверх или вниз и, описав

полукруг, направлялись в сторону дома. Река как бы выполняла роль коралла. Летний олень в воду не лезет. Так во всяком случае считается. Хотя попадают олени, которых вода совсем “не держит”. Такие олени могут переплывать довольно крупные реки. Правда, верховья не являются большим препятствием. Тут, если берега твердые, одним скачком можно перелететь исток любой самой многоводной реки.

Правда, наша Кольчуга-Река к полдню была еще широка — одним прыжком не преодолеть. Но к вечеру она заметно сузилась. Берега стали низкими, болотистыми. Тут и там, раздвигая стайки берез, к самой воде прорывались чистые соры<sup>1</sup>.

К исходу дня я взял правее, и река с полоской белых березок осталась в стороне. На ночлег я облюбовал сосновый бор-островок у небольшого болотного озера. Озеро было рыбным. В траве, возле устья речушки этого озера, оглушив выстрелом, добыл хорошую щуку с полтора-два локтя. На ужин поджарил подовушку, начал ею угощать своего спутника. Он отщипнул кусочек, попробовал. Говорит: ничего. Но я-то вижу, что не очень ему понравилась щука, поджаренная на открытом огне. Подумал: если приспичит — так привыкнет. Впрочем, русская пища мне тоже пришлась не по вкусу. Он в первый же день попотчевал меня своей едой. Мясо из банки припахивало железом и было несвежим. А трава, по-видимому, годная в пищу только городским русским, и вовсе оказалась без всякого запаха и вкуса.

После ужина мы сидели у костра и вели неторопливые разговоры. Я рассказал предание о том, как в старину в верховье Лахр-Ягуна, в этих самых местах, наши воины сражались с иноземными захватчиками. Будто бы при переезде через эту реку один из воинов-богатырей утопил свою железную рубаху, называемую по-русски кольчугой. Но воин-богатырь настолько оказался храбрым и находчивым, что даже без кольчуги вместе с товарищами одержал победу над иноземцами. И после этого сражения — в память об этом событии — река получила имя Лахр-Ягун, Кольчуга-Река. А местной Богине, как символ могущества и справедливой борьбы, достался меч в ножнах<sup>2</sup>...

<sup>1</sup> Сор — здесь: чистое ровное болото. А также так называют затопляемую в половодье чистую луговую пойму реки.

<sup>2</sup> В восьмидесятые годы, когда в этих местах открыли месторождения нефти и газа, ушли “первопроходцы” и “первооткрыватели” выкрали у Богини меч в ножнах.

Такие дела творились в старину на этой земле.

Впрочем, не только в старину.

Догорал наш костер.

Начали готовиться ко сну.

Уже в пологе, укладываясь, по привычке спросил:

— День еще терпишь?

— Терплю, — услышал ответ.

Хорошо Молодой Человек ходит, подумал, засыпая.

### 3. На Межземельную Гриву

Утром он спросил меня:

— Осип, скажи, плакать во сне, по-вашему, к хорошему или к плохому?

— Это смотря, как плакать...

— Ну, обычный плач во сне...

— У хантов так считается: если утром после такого сна глаза сухие — к хорошему, а если глаза мокрые — к плохому.

Мы оба немного помолчали. Потом я осторожно так спросил:

— Сон, что ль, плохой приснился?

— Не знаю даже, как сказать...

— Глаза-то мокрые были или нет?

— Так вот, утром не обратил внимания. Не знал же я про такую примету.

Я опять немного помолчал, а после такие слова ему сказал:

— У нас, если плохой сон приснился, утром обязательно его нужно людям рассказать, дому рассказать...

— А зачем?

— Считается, что легче станет человеку. И, возможно, плохое не сбудется, стороной обойдет человека.

— Да?

— Такая примета есть.

Встали, чай сварили, позавтракали, в путь стали собираться. Перед уходом присели у костра выкурить последнюю папиросу. Выпустив облако дыма, мой Лекарь заговорил о своем ночном сне. Вернее, начал он издали. Вот что помню из его истории.

В войну, говорит, я был командиром. Небольшим, но командиром. Были у меня солдаты, которыми я командовал. И была среди них одна женщина, одна девушка, которая за ранеными ухаживала,

с поля боя их выносила. Галинкой ее звали. Такая беленькая, стройная, как будто совсем прозрачная. Как увидел ее — она мне сразу же понравилась. Подружились мы с ней. Ждем конца войны, чтобы вместе домой поехать, вместе жить. Насколько это возможно на войне, я старался уберечь ее от пули, от осколка, от снаряда и бомбы. Готов был собою прикрыть — лишь бы жива осталась. Но не уберег. Случилось это в самом конце войны. Сказали мне после боя: “Ранили. Унесли в медсанбат”. Я мигом туда. А ее уже нет. Не стало ее. Сел, сижу над ней, смотрю на нее. Вспомнил, как она к нам в часть прибилась, как она потом рыдала в моих руках, а я ничего не мог разобрать из ее слов. Только немного позже узнал, от чего ей было так безутешно тяжело... Она подобралась к солдату. Он лежал на поле, на спине, а рядом с ним лежали его внутренности, и он был еще жив, он стонал. А она, в первый раз, не знала, что делать: бросить или взять? Бросить, но ведь живой! Взять, так ведь не выживет! Что делать? Как быть? И она плача, трясущимися руками, вместе с землей сырой кое-как заправила эти внутренности обратно в живот, кое-как перевязала и поволокла его по мокрому полю. И я тогда подумал: оказывается, убивать легче, чем спасти...

Сижу над ней, смотрю на нее. Обида брала, обида. В конце войны особенно обидно умирать. Да и не жила она совсем. Почти ребенком, школьницей отправили ее в тыл врага на диверсионную работу. Многих тогда неразумных девчонок и мальчишек послали туда именем родины и рябого. Кто посылал? За что посылал? Что они сделали, чего добились? Посылала тыловая сволочь, которая своих детей не пошлет туда. За родину? За рябого? А что такое родина? Поля, леса, горы, города?! Песок и глина, дерево, камень?! Или родина — это рябой?! Да все это не стоит одной кровинки любой девчонки или любого мальчишки! Не говоря уже о жизни! О жизни моей Галинки! Я бы все это отдал бы за то, чтобы только она осталась жива! Все бы отдал! За ее жизнь!.. А она будто предчувствовала что-то, сказала незадолго до гибели. Грустно так сказала:

“Эрик, нам с тобой после войны нельзя вместе жить...”

“Почему?” — удивился я.

“Нам не дадут покоя те, кого мы похоронили”.

“Почему тебе так кажется?”

“Их слишком много...”

Что верно — то верно. Закопали мы многих, очень многих. Возможно, она была права: после войны нам пришлось бы тяжело. Но



сейчас она ушла, оставила меня. Сажу над ней, смотрю на нее. Вижу, вижу тот день, когда мы пошли вперед, в наступление и в лесу, на опушке наткнулись на нее, "народного мстителя". Она была тогда совсем еще ребенком — исхудавшим, больным, беззащитным. Зачем ее отправили за линию фронта?! Ее и других мальчишек и девчонок?! Зачем?! Чтобы побольше людей угробить! Чтобы побольше народа уничтожить! Так я думал тогда. И так думаю и сейчас. Сидел над ней и думал, много думал. Так мне кажется. Кому нужно, чтобы она преждевременно ушла из жизни. Чтобы никога больше не жила. Чтобы никого после себя не оставила. Не сумела оставить. Карать! Покарать всех, кто послал ее на войну! Покарать самую жестокою карою! Покарать немедленно! Покарать всех, кто посылает на войну женщин и детей! Кару! Самую жестокою кару! Самую суровую кару! Сам готов покарать! Сидел над ней, смотрел на нее. И душа моя опустошалась черным огнем. И сгорела, запеклась, обуглилась. Хочу заплакать — не могу, нет слез. Иссохли, сгорели внутри. Знаю, заплачу — легче станет, облегчение придет. Но не могу. Сажу — омертвевший, обугленный. Ни живой, ни мертвый. Ни солдат, ни человек. Никто, ничто...

Так без единой слезинки и оставил ее на чужой земле...

Закончил войну, приехал домой. Вроде бы живу — смотрю, дышу. Дни идут, годы идут. Только мать все украдкой вздыхает: "Эрка, Эрка-а..." Знаю, что она хочет, что ждет. А я гляну на женщину и вижу — не та. У моей Галинки волос светлее, голос звонче и чище, взгляд нежнее, а рука ласковее. Разве может кто сравниться с нею?! Нету на этом свете второй такой женщины! Нету!..

Так вот, сегодня ночью она ожила и явилась ко мне, говорит своим чистым и нежным голосом: "Эрик, иди ко мне! Я соскучилась по тебе!.." Я обрадовался, что она ожила, что заговорила, что помнит и зовет меня. Но будто невидимое стекло разделяет нас, и я не могу преодолеть эту невидимую стенку. Но надеюсь, чувствую, что вот-вот преодолею преграду и мы будем вместе. То ли от радости, то ли от грусти, что держит меня стена, я заплакал. Она увидела это и, улыбаясь, говорит: "Иди же, иди!.. Нам вместе будет хорошо!.." Я это знаю. Улыбаюсь ей и плачу. Потом проснулся и подумал: "Может, и вправду настала пора перебираться к ней?.."

Он замолк, опустил голову, несколько мгновений сидел неподвижно. Потом так взглянул на меня своими щучьими глазами, будто собирался услышать ответ на свой вопрос. Я смешался от неожи-

данности, поерзал на своем месте, затем неопределенно проговорил:

— Погоди-и...

Он отвел глаза в сторону и ничего не сказал. Я молча поднялся, и мы пустились в путь. Шли по низким боровым гривам и болотам. Я брал все правее и правее, и наконец река осталась за нашими спинами. Я шел и думал о ночном сне моего Лекаря, о его женщине, о войне. Если зовут в Нижний Мир во сне — это плохая примета. Так у ханты считается. А у русских что это значит? Вероятно, тоже ничего хорошего. Впрочем, он же не давал согласия на уход...

К полдню мы вышли к верховью Пухэл Оллэнг Ягун, по-русски будет "Селения Конца Реки". Так я перевел ее название своему спутнику. Вдоль ее берегов тоже тянулись на север неширокие сосновые боры. На правом берегу была хорошо видна колея зимней дороги. Видно, ее еще в незапамятные времена проложили предки рода Казамкиных. По ней ездили на охоту на Межземельную Гриву. По ней наведывались на бездеревную ненецкую землю, называемую тундрой. Словом, она соединяла две земли — нашу и ненецкого народа. По ней можно каслать даже летом — она тянулась по твердым гривам. Поэтому еще называли ее "земляной дорогой".

Сейчас по ней ушли наши олени.

Ушли прямо на север, на Межземельную Гриву.

Вглядываясь в олени следы, я озабоченно ходил взад-вперед по колее. Мой напарник сразу почувствовал неладное, спросил с тревогой:

— Что случилось, Осип?

— Олени от нас сбежали.

— Много?

— По следам сто тридцать — сто сорок.

— Когда?

— Здесь прошли позавчера. Утром или в первой половине дня.

— Куда сбежали?

— На Межземельную Гриву.

— Далеко это?

— Да не близко.

— А где эта Межземельная Грива?

Я только показал в ту сторону рукой. Что мне оставалось делать? Потом немного рассказал о Межземельной Гриве. Это высокие и чистые боры, что сплошной гривой тянутся с запада на восток, а

затем сворачивают вправо, к междуречью Оби и Енисея. На Севере как раз по Гриве проходит граница наших и ненецких земель. С увалов Гривы наши реки стекают к югу, в пойму Оби, и ненецкие реки начинаются здесь же и бегут до самого Ледяного Океана, на север. Грива была богатым и сытным местом, была богатой и сытной землей. Здесь, вдали от человеческого жилья, в заповедных лесах и водах водился и множился пушной зверь, вольготно чувствовала себя крылатая птица, метала икру белая и черная рыба, паслись стада диких оленей. Осенью, по мелкому снегу, изредка наезжали сюда охотники и с нашей, и с той стороны. Поэтому и называли эту Гриву — этот большой и длинный бор — Межземельной Гривой. Она расположена между двумя землями — Землей Хантов и Землей Ненцев. Но навещивались туда изредка, не каждый год: дорога считалась дальней и трудной. Чтобы доехать, нужно иметь хотя бы несколько упряжек хороших ездовых оленей. У людей своих оленей почти не осталось после войны, а колхозных не хватало. Вот и доберись до Межземельной Гривы! Впрочем, со среднего и нижнего течения Агана и вовсе не ездили туда. Только с верховья — тут ближе, быстрее и легче добраться.

Вот такова Межземельная Грива. Межземельная — значит, между двух Земель.

— Что будем делать? — спросил напарник.

— Догонять будем, — говорю ему.

— А догоним ли?

— Догоним.

— Ты уверен, Осип?

— Конечно.

— Но ведь олень быстрее ходит!

— Это еще как посмотреть! — улыбнулся я. — Сейчас мы пойдем быстрее, чем олень...

— Не на крыльях же полетим? — он тоже улыбнулся.

— Не на крыльях, но быстрее оленя.

Я ему пояснил, что оленю надо поесть — надо, попить надо — надо, отдохнуть тоже нужно — нужно. А мы, люди, все это должны делать быстрее, почти на ходу. К тому же, стадо чем больше — тем медленнее движется.

— Почему они бегут на эту Межземельную Гриву? — спросил он.

— Тут есть разные причины.

— Какие именно?

— Вернее всего, медведь, который направился к центру пастбищ, отбил эту группу от стада, отогнал в эту сторону. Олень что думает? До дома далеко. Да еще между мной и домом ходит чернолицый. Если пойду домой — могу попасть в его лапы. А пауты и мошкара не дают покоя, нужно все время двигаться, бегать “комариной рысцой”. Куда идти? Куда бежать? А-а, есть тут недалеко, хорошая земля — Межземельная Грива. Чем севернее, тем меньше деревьев, тем больше легкого ветра, тем прохладнее. Много наполненных ветром озер, много чистых болот и соров. Довольно часто там встречаются Коорс Мив, небольшие голые сопки с округлой вершиной посреди болот, покрытые ягелем и мхами. Летом, в комариную пору они неплохо обдуваются ветром и хороши для лежки, для отдыха. Вот один из старых вожаков и повел эту группу на Межземельную Гриву, на север. Вернее всего, это Пуровский Бык, есть у нас олень с таким именем. Два года назад, в первой половине зимы, по еще неглубокому снегу, мы ездили на Межземельную Гриву на поиски потерянных оленей. Там мы повстречались с людьми с той стороны, и один охотник-пастух, приняв за дикого, подстрелил нашего колхозного оленя. И взамен отдал нам трех-четырёхлетнего быка. Видно, он и повел оленей на свою родную землю. Взрослый олень, особенно старый, как бы далеко его ни отдали на сторону, обязательно старается вернуться на то пастбище, где родился и вырос. Обычно такой беглец уходит весной в пору наста или осенью, когда идут на убыль комары и пауты, и стадо распадается на небольшие группы. Сейчас Пуровский Бык, знающий пути-дороги и земли, не только сам бежал, но и своих товарищей сманил.

— Они сами не могут повернуть обратно? — спросил мой Лекарь-напарник.

— Да вряд ли, раз двинулись в путь.

— На Гриве они сами по себе будут пастись?

— Да. Либо прибьются к диким оленям — тогда к людям уже не вернутся. Либо за Гривой войдут в ненецкие стада.

— Но ведь ненцы могут их вернуть?

— Это мало вероятно.

— Почему?

— Они у нас доверием не пользуются.

— Есть на это причины?

— Да. В старину некоторые их племена войной нападали на нас и угоняли наши стада. Не было случая, чтобы кто-то из них до-



бровольно вернул оленей, пришедших к ним с нашей земли. В старину, говорят, это был разбойный народ...

— Что тебе будет, если не догоним белых?

— Меня в тюрьму посадят.

— Так сразу и в тюрьму?

— Конечно, куда ж еще?! По колхозным законам так делается: потерял немного оленей — плати. Говорят: “Съел, сожрал!” Потерял много оленей — бригадира в тюрьму, про него говорят: “Наверное, шаман, кулак!” Словом, враг народа. Остальные пастухи платят, но переводят их в разные стада. Вместе уже они не имеют права работать: “Сговорились, со своим бригадиром слишком много оленей съели! Нельзя их вместе оставлять!” В прошлые годы по таким вот законам мы жили.

— Скажи, Осип: тебя такая участь пугает?

— Детей жалко. Много мук увидят...

— Младшему-то сколько исполнилось?

— Егорке-то? Еще и полгода нет — весной только на глаза попался...

— А старшая в школу не ходит?

— Старшей, Лидии, вроде бы через год время в школу придет.

Ну, а средней, Вале, четвертый год пошел...

— Родственники есть?

— А как же! Братья-сестры есть, дядья есть, племянники есть.

Правда, род наш небольшой — всего четыре ветви имеет.

— Родственники-то помогают?

— Кому — я помогаю, кто — мне помогает. Как без этого-то жить?

— Да, верно говоришь, Осип.

— Мне самому-то что?! Боюсь — не боюсь, а как порешит мой Верховный Торум — так тому и быть! — я взглянул на небо. — Там мой Главный восседает...

Молодой Человек проследил за моим взглядом и сказал такие слова:

— Да, от судьбы никуда не уйдешь...

Между тем мы быстро пообедали и снова пустились по следам беглецов. Помаленьку стал прибавлять шаг. Слышу, мой Лекарь чуть позади идет. Идет хорошо, но тяжеловато. В душе надеюсь, что оленей догоним до Межземельной Гривы. И, стало быть, пораньше повернем домой — напарнику легче придется, все поменьше топтать по нашим болотам.

Идем по следам. Олени по твердым боровым гривкам шли быстро, шли комариной рысцой. Время от времени они спускались попасть на чистые, хорошо обдуваемые ветром, соры. Пощипав траву и утолив жажду, они снова поднимались на земляную дорогу и трусили к Межземельной Гриве. Знать, прекрасно помнит этот путь и эти земли Пуровский Бык, вожак беглецов.

Шли мы до самого упора, до самой темноты. Когда уже оленьих следов совсем не стало видно, чтобы не сбиться с пути, мы остановились на ночлег. Попили чай и начали делать лежанку. Между тем вспомнили о сне моего Лекаря в прошлую ночь. Он спросил меня:

— Осип, у вас женщины воевали?

— Не-е, в старину женщины на место сражения совсем не допускались.

— Дети тоже?

— Да, и дети не допускались. Сражались только воины-мужчины, воины-богатыри.

— Они и с красными не воевали?

— А вот с красными русскими совсем другое дело вышло...

— Какое же дело?

— Красные боялись наших женщин.

— Вот как?!

— Когда все мужчины погибали, женщины брали их ружья и начинали стрелять в красных.

— Сами за ружья брались?

— Конечно, сами. Кто ж их заставлял?! Сами, добровольно, по своему уму так делали.

— И красные воевали с ними?

— Воевали. Потом они так стали делать: возьмут селение — и тут же забирают все ружья. Отбирали все, что могло стрелять.

— Чтобы женщины не напали?

— Да. Бывало, даже ножи и топоры забирали.

— А ножи и топоры-то зачем?

— Чтобы совсем безоружными оставить. Потом многие семьи, особенно у кого своих оленей не было, с голоду умирали. Охотиться-то нечем — ружья нет. Может, нарочно так делали — чтобы побольше людей уничтожить из народа, который воюет с ними...

Мой Лекарь на это ничего не сказал. Мы оба некоторое время сидели молча. Потом я проговорил:

— Конечно, война — это не женское дело...



Он тихо добавил:

— И не детское дело!..

Мы опять замолчали. После он перевел разговор на другое, на-  
помнил:

— Осип, ты обещал рассказать про берестяную сумку...

— Да, помню.

— Что в ней?

— Там... пуп ребенка.

— Что за пуп? — не понял он.

— То, что отрезают у новорожденного ребенка.

— А, по-русски это называется последыш, — догадался он. —

Пуповина...

— Во-во, это...

— Чей?

— Моей второй дочки Валентины<sup>1</sup>.

Днем, в верховье Селения Конца Реки, я показал ему небольшой берестяной кузовок на ветке березы. И сейчас объяснил ему, что на этом месте, в бору, была наша стоянка, где появилась на глаза дочка Валентина. Сшили из бересты кузовок, очень похожий на женскую сумочку, положили туда пуповину, зашили верх кедровым корнем, из того же корня сделали крепкую ручку и повесили на прочный сук березы. Так велит обычай. Берестянка долго висит на дереве, со временем даже обрастает мхом и лишайником. И, проходя мимо, мать и отец обязательно глянут — на месте ли сумка, не упала ли на землю. И чем дольше она сохранится на стволе — тем лучше для ребенка. Так считается. Значит, дитяти предначертана долгая жизнь. Вернувшись домой, скажу Моей, что видел берестяную сумку нашей послушной и тихой Валентины — она цела и невредима. И этой вести обрадуется мама малышки. Стало быть, дочка вырастет здоровой и жизнерадостной. Но про то, что береза наклонилась и может упасть, смолчу, не скажу. Незачем тревожить материнское сердце ...

— Можно же перевесить на другое дерево, — сказал Лекарь.

— То, что сделал один раз, трогать уже нельзя, — ответил я.

Мы снова оба замолкли. Спустилась ночь. Стало совсем темно.

Молча улеглись в своем пологу.

Вспомнив сегодняшнее утро, как это принято у ханты, я пожелал своему напарнику:

<sup>1</sup> В начале семидесятых годов дыхание тихой Валентины преждевременно оборвется в городе Вишневартовске, который к тому времени станет районным центром на этих землях.

- Пусть твой сон к тебе плохой стороной не обернется!..  
— Спасибо, Осип! — сказал он.  
На этом наш день закончился.

#### 4. День четвертый

Утром, чтобы далеко не упустить день, поднялись раным-ранешенько, когда чуть стало светать. А светать в эту пору начинает сразу после полуночи. И, быстро позавтракав, поспешили за беглецами. Теперь на кормовых болотах и сорах следы уходили то влево, то вправо от земляной дороги. То ни с того, ни с сего олени поворачивали назад, и, отыскав и вытоптав “сладкий” кормежник, снова устремлялись к Межземельной Гриве. Мы, боясь потерять следы, как зайцы, петляли по их извилистым тропам. И к вечеру нас так вымотали зыбкие и мягкие мхи, что за ужином мой Лекарь в сердцах сказал:

- Осип, ты почему этого Пуровского Быка на мясо непустишь?!  
— Хех-хе! — засмеялся я.  
— Так ведь, поди, каждый год бегаёт он на Гриву...  
— А зимой как быть: я сам, что ль, в нарты впрягусь?!  
— Есть же другие олени?  
— А этих других знаешь, сколько требуется?  
— Сколько?  
— Не могу даже сосчитать...  
— Много?  
— Конечно, много. Как только выпадет первый снег, все идут к бригадиру. И слышишь только одно: оленей давай! Давай-давай-давай!..

— И всегда не хватает?

— Да, верно. Вот считай: грузовых быков давай, быков для сеновозчиков давай, для правления колхоза быков давай! Кроме этого, самое малое по два быка для каждого охотника и для каждого рыбака. Да ещё каждый пастух оставляет по одной или по две упряжки быков. Да, чуть не забыл про почтовых быков...

Словом, объяснил ему, что зимой все держится на оленях. Рыба ловится хорошо, её в мешки затаривают и на оленях вывозят либо в обской поселок Локосово, либо в город Сургут. Эгих оленей называем грузовыми. Тут нужны только сильные быки. Сено с болотных озёр тоже вывозят на оленях. И вывозят всю зиму, потому что ко-



ров — целое стадо. И лошадей — целое стадо. Сколько им кормов-то на зиму нужно?! Начальство колхозное на разные собрания вози в город от снега до снега. Почту вози от снега до снега. Само собой, рыбалка и охота на весь сезон. Рыбакам и охотникам хоть важенки выдаем... На зиму в стаде остается один молодняк.

— На одном быке все равно далеко не уедешь, — сказал мой Лекарь.

— Не скажи! — возразил я.

— Да хлопот больше доставляет твой Пуровский, Осип!..

— Зато зимой все отрабатывает.

— Хороший?

— Не очень шустрый в нарте, но надежный. Вот считай: во-первых, он послушный вожак в упряжке. Во-вторых, как у нас говорят, он “крепок телом”. Бывает, запряжешь осенью хорошо упитанного оленя, делаешь одну-две дальние поездки, смотришь — твой олень “скинул тело”, отошал. А Пуровский Бык до самой весны сохраняет свое тело. Значит, может тянуть свою половину нарты. Ну и, в-третьих, он на снег хороший. По целине идет себе потихоньку, не спеша, как по нормальной дороге. А на снег не всякий олень пойдет. Бывает, запряжешь здорового и высокого быка, а он пройдет немного по целине и ложится. И хоть убей — не встанет и не пойдет дальше. А пастух в первой половине зимы, по еще не глубокому снегу, в поисках оленей ездит только по целине, по бездорожью. Так что Пуровскому Быку цены нет.

— Так он твой вожак?

— Да, один из моих вожаков. У меня две упряжки быков, значит, два вожака.

— Тогда беру свои слова обратно, Осип!

— Пусть еще поживет! — улыбнулся я.

— Пусть живет.

Мы немного помолчали. Потом я сказал:

— Впрочем, это колхозный вожак. Здесь ничего моего нет.

— Почему?

— Все — колхозное! Олени колхозные, земля колхозная, я — колхозный!..

Он внимательно так взглянул на меня и, поразмыслив, спросил:

— Вот вы воевали с красными. А красные, как ты говоришь, сделали вам колхоз. Скажи, Осип: а разве колхоз не облегчил вашу жизнь?!

На это у меня было что сказать. Говорю ему:

— А вот сам посуди, Молодой Человек: что нам дал колхоз... Немало лет я работаю пастухом, начал рассказывать ему. В первый же год не досчитались оленей. Колхоз все поставил нам на счет. Часть денег он удерживает за потерянных оленей, часть выдает на еду. Во второй год ни прибыли, ни убыли. Но с меня все высчитывают за первый год. На третий год меня назначили бригадиром. Были болезни, был падеж оленей. Головы, что в акты не попали, опять на нас нагрузили. Потом прибавили к ним потери четвертого года. Я все время остаюсь в накладе. Мой долг колхозу все время растет. Колхоз мне платит ровно столько, чтобы я только не умер с голода. После, когда мой долг станет почти непосильным, меня снимут со стада. Если, конечно, до этого не посадят в тюрьму. И еще много лет с моей пушнины и рыбного улова будут высчитывать стоимость потерянных и погибших оленей. Поэтому в пастухи никто не идет. Кто ж добровольно на каторгу пойдет?!

Я не могу заработать даже на рубашку. А рубашки, особенно осенью, мгновенно сгорают от пота, когда бегаешь за оленями. Первой почему-то отваливается спинка. По этой же причине за зиму сгорают на мне несколько легких малиц. Впрочем, что рубашки и малицы! Когда нужно о детях думать — как их прокормить?! Хорошо, хоть рыбой накормит река, рыбой накормит озеро. Когда глухарем одарит бор, уткой одарит болото. Не то, при таком колхозе, мы все бы давно с голоду померли.

— Так ведь колхоз создавали для вас, Осип!

Я опять не выдержал, засмеялся. Он вопросительно глянул на меня. Я пояснил ему:

— Русские пекутся о своем животе, а не о хантах!

— Почему так считаешь, Осип?

— Вот смотри: летом и зимой сотни тысяч тонн рыбы ловим и вывозим. Ханты, что ли, эту рыбу съедают?! Нет, конечно!.. В каждую зиму на сотни тысяч рублей добываем и вывозим пушнины. Что, ханты надевают эти меха?! Ханты проедают эту пушнину?! Нет, конечно! Проедает тот, кто ее получает. А получает пушнину русский, красный русский...

— Разве при белых вам легче жилось, Осип?

— При Белом Царе с нас так не выдавливали рыбу и пушнину.

— Ты-то ведь при Белом Царе не жил, Осип...

— Зато мой отец и мой дядья при Белом Царе жили.

- И хорошо жили?
- Хорошо жили, вольно жили. Каждый что-то имел. Кто рыбную реку, кто звериный урман, кто много оленей, кто мало оленей. Но имел. В те времена, если у человека руки-ноги на месте, он не мог пропасть. Он прокармливал себя и свою семью.
- Но ведь купцы грабили народ?
- Э-э, не скажи!.. Так, как грабит красный колхоз, — купцам далеко!
- Но ведь Белый Царь захватил ваши земли, Осип?!
- Люди Белого Царя захватили всего несколько городов по Иртышу и Оби и жили в них. Они хоть не лезли на наши дальние земли и селения. А красным русским все подавай — и все мало!..
- Хорошо, но красные вам медпункт построили, медика привезли. Разве это плохо?
- Покажи мне хоть одного человека, которого этот медик на ноги поставил. Знаешь такого?!
- Я ж людей не знаю...
- Нету, не ищи такого человека. Как жили — так и живем. Как мерли — так и мрем... И, думаю, когда наступит пора моего ухода в Нижний Мир, мне не поможет ни один красный медик, ни один лекарь.
- Та-ак, ладно-о, — протянул Молодой Человек. — Но красные вам еще и клуб построили, культуру привезли!
- Я опять только слабо улыбнулся. О чем он говорит? Пояснил ему:
- Клуб у нас называют “Дом пляски”. Когда мне там плясать?! Когда в поселок раз в год приезжаю! Или у охотников и рыбаков есть время там плясать? Лучше бы что-нибудь более дельное придумали. Пусть сами там пляшут.
- Помолчал мой Лекарь. Сидим у костра, крепкий чай пьем. После чая заметно легче стало, вроде бы усталость прошла. Вот и ведем неторопливо разговоры. Помолчав, мой Лекарь сказал:
- Красные дали вам школу. А против школы, надеюсь, ты, Осип, ничего не имеешь — нужно учиться.
- Да, учиться нужно, — согласился я. — Только как и чему?
- Всему, чему учат в школе.
- Школа красных, по-моему, ничему не учит.
- Почему так считаешь, Осип?
- Я не умею ни читать, ни писать. И по-русски плохо говорю, хоть родился при красных русских, при Советской власти. Ладно

бы, если бы я один такой оказался. Можно было бы сказать: ума не хватает, не способен русской грамоте учиться. Но все мое поколение не умеет ни читать, ни писать...

— Как так получилось?

— Ну, это ты спроси у своих красных сородичей.

— Стало быть, школа ничего не дала?

— Выходит, так: хорошего мало.

— А плохое есть?

— Тут с умыслом или без умысла, но красные кое-чего добились.

— Чего именно?

— Например, хотят оторвать нас от земли. Хотят отучить нас охотиться и рыбачить, пасти оленей.

— Зачем им это нужно?

— Наверное, чтобы побыстрее получить нашу землю. Ведь если я стану жить в русском поселке и стану делать русскую работу, мне не нужна будет земля для охоты, рыбалки и разведения оленей. Я перестану требовать свою землю, свои родовые угодья...

— А еще какой умысел видишь в делах красных?

— Возможно, то, что они делали во время войны с нами, то есть когда красные воевали с хантами. А теперь с помощью школы покалечить наших детей от сердечной тоски.

— Что, кого-то покалечили?

— А то — нет?! — сердито сказал я.

— Твоего?

— Моего...

Я вспомнил своего Старшенького сына. В первый год, в первый раз, когда его оставили в поселковом интернате, он ревмя ревел. Дело было осенью, в сентябре, мы уплывали на лодке, а он бежал за нами по берегу. Воспитательница и старшие школьники хватили его, удерживали, а он вырывался и бежал за нами ревмя ревя. Так и скрылся поселок с нашим ревушим сыном. Нам еще долго казалось, что слышим его крик. Я отец, еще как-то крепился, а мама его всю дорогу редела, дома многие дни с красными глазами ходила. На второй год та же история повторилась, с плачем в школе-интернате остался. На третий год хоть не ревел, но глаза на мокром месте были. Осенью, по мелкоснежью, свозил его на каникулы в стадо. Очень любил он на оленях ездить. Сделаю ему отдельную нарту, запрягу смирного быка-вожака — едет за мной по пастбищу, как настоящая пастух. Доволен. Вокруг чистый снег, сосны, солнце, олени. Что еще человеку нужно?! Кончились каникулы, отвез его в

поселок. Теперь, расставаясь, не плакал. Подумал: подрастает, выкакает к школе. Но в глазенках его стояла колкая тоска. Успокаивал себя: не плачет — и то хорошо, потерпит до больших новогодних каникул. Так ему и говорю: приеду за тобой к середине зимы, к русскому Новому году. Распрощались, уехал. После выдачи оленей с одним напарником поехали на дальние земли, в сторону Межземельной Гривы. Нужно было разыскать отбившихся от стада оленей. Как и рассчитывали, на свои пастбища вернулись ближе к середине зимы. Тут меня ждала срочная весть: сын твой тяжело болен, приезжай. Мы с женой тут же помчались в поселок, кинулись там в больничку. Лежит наш Старшенький, ни меня, отца, ни мать уже не видит и не узнает. Кое-как его дыхание достали. Тут, при нас, и ушел в Нижний Мир... Что случилось, спрашиваю. Я вам оставлял здорового и резвого ребенка. А случилось вот что. Оказывается, на спор наш Старшенький рездетый и босиком сбегал до лисофермы и вернулся обратно в интернат. А лисоферма эта за окраиной поселка, в сосновом бору. От интерната до нее, может, километр. А может, и больше — кто мерял? Бегал морозным вечером, в темноте. И страху, может, натерпелся. Простыл, слег — и нет человека. И русский медик оказался бессильным. Мы с женой умом чуть не тронулись с горя. Если бы знал, что он оживет, первого попавшего под руку учителя пристукнул бы. Пронесло, удержал меня Бог... Кому они нужны в интернате, чужие сыновья и чужие дочери?! Кто там за ними смотрит?! Кому они нужны, чужие дети?! Красным, что ли?! Русским, что ли?! Своих-то детей, при живых родителях, в интернат не сдают, от семьи не отрывают! А с хантом все, что хочешь, можно сделать, да?!

Я много дум передумал о моем Старшеньком. Со временем понял, что он сам, осознанно кончил свою жизнь. В первые годы у него была надежда, что вырвется из школы и вернется домой, вернется к отцу с матерью, вернется к сестрам. Но потом, когда подрос, вдруг осознал, что нет, не вырваться ему из цепких интернатских лап, из интернатских когтей. Он каждый год слышал, как детей, его сверстников, насильно забирали в интернат. Чуть не с милицией. Всяко грозили родителям, не отдающим детей. Председатель Совета грозил судом, грозил прокурором. Председатель колхоза — штрафом, невыдачей зарплаты и аванса. И когда мой Старшенький потерял надежду на возвращение домой, в миг, когда сердечная тоска сжала все его нутро, он ступил на священный белый

снег, который — это он знал с детства — ни в коем случае нельзя оскорблять голыми пятками...

Так мой Старшенский кончил жизнь в интернатской неволе.

Так мой Старшенский — возможно, казалось ему — обретал вольную вольницу в Нижнем Мире.

А ведь такой быстрый был, такой смысленный был. Все с полуслова понимал. Наверное, хорошим человеком бы вырос, хорошим человеком бы стал. Как вспомнишь о нем — до сих пор сердце разрывается. До сих пор сердце ноет...

Мой Лекарь тихо сказал:

— Прости, Осип... Я не хотел сделать тебе больно...

— Что теперь поделаешь... — с тяжелым вздохом сказал я. — Жизнь ему уже не вернуть...

Мы оба надолго замолчали. И молча же начали готовиться к ночи. Укладываясь спать, мой Лекарь признал:

— Да, Осип, от красных ты, конечно, хлебнул лиха...

Наступила ночь.

На нас опустилась тьма.

## 5. На Межземельной Гриве

Утром я сказал своему спутнику:

— Голодать будем...

И добавил, чтобы он потуже затянул ремень и берег продукты. Все еще идем от дома, беглецов еще не догнали. И поэтому никто не знает, когда мы возвратимся в стадо. Еды, особенно хлеба, явно не хватит до конца пути. На это он улыбнулся и ответил бодро:

— Не впервой, Осип...

Впрочем, его рюкзак заметно "похудел". И сам он осунулся, некогда мягкие черты округлого лица заострились и резче обозначились. Глаза красные, как у тетерева. И сегодня мы встали рано. Видно, не высыпается, больше времени ему требуется для сна. Но со временем у нас было туго — не до сна. Но его спокойствие и бодрость мне понравились. Главное, чтобы не упал духом. На всякий случай сказал ему:

— Пока чай у нас есть — не пропадем...

Я брал с собой несколько хантыйских хлебов, круглых лепешек на сковороде. По-хорошему, одной лепешки хватало на день. Можно переходить на половинку в день. В крайнем случае, на четвер-



тинку. Но тогда нужен “подножный корм” — где рыбу добавишь, где утку или глухаренка подстрелишь. Опять же на добычу необходимо время, а его нет. Кроме хлеба, в моем походном заплечном мешке были соль и чай. Без всего мог обойтись, а вот без крепкого чая — тяжело. И, поскольку он почти не имеет тяжести, всегда с запасом брал в дорогу. И сейчас по моим прикидкам все кончится, а чай останется. Это хорошо.

Я заметил, что рюкзак моего спутника тоже отошал. Значит, и его русская еда на исходе. Поэтому и предупредил его о возможном голоде. На всякий случай. Знал, что, имея руки-ноги и ружье, трудно погибнуть от бескормицы.

После завтрака, довольно скромного, снова пустились в погоню. И снова запетляли по следам-тропам беглецов. К полдню вышли на чистый сор. За сором, далеко-далеко в голубоватой дымке узким гребешком всплыла Межземельная Грива<sup>1</sup>. У ее подножия виднелись три Коорс Мив, три голые болотные сопки. Левая большая, средняя поменьше, а третья совсем почти крохотная издали. Напоминали они дружную семейку, идущую с востока на запад: отец, мать и дитя. Все как в человеческой жизни: отец торит дорогу, а уставший ребенок идет по готовому следу.

— Вон где наши беглецы!..

Я указал рукой на голубоватые, плавающие в мареве сопки.

Мой Лекарь молча взглядывался в сопки, но оленей, конечно, не увидел там.

И мы напрямую двинулись к сопкам. Приближаясь, на глазах вырастали и сопки, и Грива. Слева от Большой Сопки заголубело озеро со стайкой берез на берегу. Менялись и цвета. Грива из голубоватой превращалась в зеленую, а сопки становились светло-оранжевыми.

— А оленей-то не видно!.. — разочарованно сказал мой Лекарь.

Он был прав. Но сейчас я и не ожидал увидеть их сразу. Ветер был с запада, со стороны озера. Я взял левее. И наконец наши глаза наткнулись на беглецов. Олени табунились на западном, самом обдуваемом склоне Большой Сопки. Однако, мы направились не к ним, а к озеру. Надо было перевести дух, немного отдохнуть. На берегу озера мы помылись и попили полуденный чай. Потом тронули стадо в сторону дома. Но не тут-то было. В первый раз голова

<sup>1</sup> Спустя годы за Гриву придет железная дорога и там встанет город нефтяников и газовиков Ноябрьск.

табуна взяла влево и, обойдя сопку по подножию, вернулась на старое место. Во второй раз тоже ничего не вышло. Голову нам удалось направить в сторону дома, но тут мой Лекарь неосторожно “нажал” на середину, и часть оленей с хвоста откололась и понеслась к Гриве, к бору. За ними повернули, как это бывает в стаде, и остальные. Я в сердцах накричал на своего напарника и бросился наперерез оленям. Их нельзя было пустить на Гриву, на твердую землю соснового бора. По бору легко, комариной рысцей они умчались бы дальше. И там их трудно повернуть назад, в сторону дома. Я все же опередил оленей и, успокаивающе посвистывая и покрикивая, пригнал их на противоположный от Гривы берег озера. Там развели мы дымокур, и олени вокруг него разлеглись.

Между тем день кончился. Стало вечереть.

Я все прикидывал, что делать. То ли сейчас же пуститься со стадом в обратную дорогу, то ли заночевать здесь. В конце концов, глянув на усталого спутника, решил устроить ночлег. Пусть хоть немного отдохнет. Тем более, что мне было неудобно перед ним за то, что из-за расколота стада накричал на него. За вечерним чаем, как бы извиняясь, сказал ему, что у меня, как говорят ханты, “нутри короткое” — быстро начинаю сердиться, быстро во мне гнев поднимается. Но, однако, зла в душе не держу. И сегодня, видно, зря направил на него свой крик. Он коротко взглянул на меня, улыбнулся и сказал:

— Я ж понимаю, Осип: это по делу...

Стал ему рассказывать и показывать голосом, как нужно гнать оленей, как их успокаивать и подзывать к человеку. Днем, рассердившись на него, я совсем упустил из виду, что он, конечно же, ни пасти, ни кричать на оленей не умеет. Теперь я учил его ровному протяжному оленегонному крику “хоук-хоук-хоук”. Для первого раза у него неплохо получалось.

К первым сумеркам сменился ветер — с запада перешел на север. На нас из-за Гривы дохнул Ледяной Океан. Стало прохладно. Потом стал накрапывать мелкий дождь. Олени встали и потянулись пасть на сор.

Я надрал бересты и над пологом соорудил навес — все же спасение от дождя. Пока готовились к ночлегу, мы оба изрядно отсырели, а одежды лишней нет с собой. Легли спина к спине, чтобы хоть немного согреться, и укрылись тонким летним плащиком Лекаря, который он достал из рюкзака. Но все равно было зябко, поскольку



к ночи стало еще прохладнее. Мне казалось, что я совсем не спал: сквозь сон слышал, как паслись на сору олени, в какую сторону они направлялись. Все это знал по хорканью оленят и шлепанью копыт по мокрому мху. Боялся, как бы стадо не выбралось на бор Гривы. И, как только стало рассветать, потихоньку выбрался из полога, развел дымокур и пригнал к нему оленей.

Дождь то накрапывал, то переставал.

Маленьким топориком “с беличий зубик”, который всегда брал с собой на пещие обходы пастбищ, нарубил хороших сухостоин и разжег жаркий костер. Сходил на озеро за водой, вскипятил крепкий чай. Размышлял: будить или нет Оленьего Лекаря? С одной стороны, ему нужно поднакопить силы на обратную дорогу, с другой — время не терпит, еды почти нет. Чем раньше направимся к дому, тем лучше и для нас, и для беглых оленей. Пока я топтался у костра в нерешительности, мой Лекарь тяжело заворочался, покряхтел и сам встал.

— Как спалось? — спрашиваю его.

— Какой тут сон, Осип?! — усмехнулся он.

— Совсем не спал?

— Чувствую: снизу — вечная мерзлота, сверху — вода, дождь, с севера — холодный ветер.

— Да-а, старик, Ледяной Океан тут совсем рядом...

— Дремал, думал: как бы до утра дожить!..

— Зато сейчас нам жарко станет, — сказал я.

— От костра?

— Нет, как пойдем домой — олени живо согреют нас!

— Ну, дай бог...

Позавтракали почти “голым чаем”: кроме кружки круто заваренного кипятка, каждому достался кусок хлеба с беличьей головку. Тут поневоле пришлось затянуть пояса.

Теперь погнать стадо в сторону дома я решил не как по-вчерашнему, а совсем по-другому. Сделал своего Лекаря поводырем-вожаком. В один конец аркана привязал Пуровского Быка и чуть позади него — старую важенку Красивый Рог. Аркан вручил новоиспеченному поводырю и показал ему направление, куда он должен повести этих оленей и все стадо. Теперь все от тебя зависит, Молодой Человек, как быстро вернем беглецов домой. Когда он тронулся в путь, добавил:

— Свое дыхание береги, слерживай оленей на твердой земле!..

И он через сор пустился в сторону полуденного солнца, в сторону дома. За важенкой Красивый Рог с хорканьем бросился ее сын, олененок этой весны. Потом за ней пошла ее Дочка, взрослая оленьиха со своим дитя. Как в упряжке, она всегда ходила за матерью. За ними я поднял и тронул все стадо. По вязкому мшистому сору олени шли шагом. Я тихонько посвистывал, подгонял отстающих. Но сразу же за сором на твердых сосновых гривках они перешли на комариновую рысцу. И поводырю, конечно, пришлось пуститься рысцой. В эту пору удержать стадо на обычном шаге почти невозможно. Просто паузы и комары не дают стоять на месте или ходить медленно. Даже при самом неспешном беге создается ветерок, что сдувает крылатых кровососов. Поэтому как только под копытами появлялась земная твердь, олени пускались комариной рысцой. Тут человеку нужно с мелкого бега переходить на быстрый шаг, с быстрого шага — на мелкий бег. Но мой Лекарь-поводырь, похоже, под напором стада вовсе позабыл о быстром шаге. Все трусил рысцой, как и олени. Правда, в вязких болотцах между гривками, где табун вынужден идти шагом, мы переводили дух, успевали немного отдышаться.

Мой Лекарь-поводырь шел хорошо, шел правильно. Каким-то внутренним чутьем сразу улавливал, куда нужно идти. По наиболее сухим местам переходил с одной сосновой гривки на другую. Потом, когда вышли на земляную дорогу, легче стало двигаться. Если поводырь мой сбивался влево или вправо, я подавал ему знаки рукой, и он, собравшись, в чем дело, выбирался на тропу.

Дождь по-прежнему то капал, то переставал.

Ветер разломал облака, и теперь они клочьями неслись в сторону полудня. Изредка, меж этих клочьев, выглядывало солнце. Оно уже стояло высоко. Давно настало время большого привала. Но мой поводырь все нажимал и нажимал вперед, на полуденную линию горизонта, нажимал в сторону дома. Я понимал его: в дальней дороге чем реже делаешь остановки, тем лучше. Усталому путнику особенно тяжело подниматься после перекура. У меня уже горло совсем пересохло, а поводырь-вожак все идет и идет. Наконец я начал подавать ему знаки рукой. Мол, пора остановиться. Он все идет. Потом сильным пересохшим горлом стал кричать:

— Стой, чай пить пора!..

Наконец остановился. Подошел я, спрашиваю:

— Почему не останавливаешься?

Стоит мой Лекарь-поводырь, плечом на сосенку навалился. Распаренный, красный, весь мокрый не столько от дождя, сколько от обильного пота. Протер лицо двумя ладонями и, шумно вздохнув, сказал:

— Ух-х, Осип, упарился я!..

— Давно перекур надо было делать.

— Да, наверно.

— Чего же не остановился?..

— Олени упираются в спину, не давали остановиться.

— По-своему нужно делать, а не по-оленьему.

— Это почему же?

— Свои силы надо беречь. Если мы совсем выдохнемся, то олени оставят нас. Мы их просто упустим...

— Да, понял я, Осип...

Между тем я развел дымокур и уложил вокруг него стадо. А в сторонке на маленьком костерике вскипятил чай. После кружки крепкого напитка мой Лекарь заметно ожил, даже будто бы повеселел. Это обрадовало меня: хорошо держится парень. Поди, дотянет до дома, не “ляжет” на полпути.

После привала пустили стадо без поводыря. Мы оба пошли следом, посвистывая, подгоняя отстающих оленей. Я направлял их в сторону дома, не давал отклониться влево или вправо. Впрочем, они сами хорошо знали, куда нужно идти.

Олени пошли теперь медленнее. Они, как и мы, изрядно притомились. Да к тому же к концу дня проголодались: на ходу срывали где пучок травки, где листочек с березки.

Дождь накрапывал неохотно, с большими перерывами, как бы через силу. Ах-а, кончается твоя небесная вода, с облегчением подумал я о дожде. Кое-как уже выдавливаешь капли...

Перед самым вечером мы вышли на широкий сор. Стадо, словно птица, расправившая крылья, медленно, с остановками двинулось через эту чистину к лесу на другой стороне — голодные олени набросились на сочную траву.

На спуске к сору мы приостановились на полянке, где была старая пастушеская стоянка. На месте чумов два устланных сосновыми ветками круга, сломанная нарта, колотые дрова, перекладыны для сушки одежды, старые травяные стельки, колышки для привязи собак и другие следы человеческой жизни.

— Ваша стоянка? — спросил мой Лекарь.

- Наша.
- Когда стояли?
- Зимней весной.
- Какая-токая зимняя весна? — спрашивает.
- Весна, когда снега больше, чем проталин.
- А-а, ранней весной...

Я еще раз окинул взглядом становище, сказал негромко:

- Вот здесь попался на глаза мой младший Егорка<sup>1</sup>.
- Этой весной?
- Да.

Он помолчал немного, потом сказал:

— Осип, если бы я родился в чуме — ни за что бы не выжил! Как только вы умудряетесь растить детей!

— Жить-то как-то надо!.. — улыбнулся я. — Куда тут денешься без детей.

— Да, конечно, Осип.

Мы уже двинулись за оленями и теперь разговаривали на ходу. Показывал ему, по каким землям идем. Справа, в конце сора, начинается верховье Язевой Реки. По-хантыйски это Агерны Ягун. Возле ее устья стоит наш дом, куда мы сейчас возвращаемся. А левее берет начало Лягушки Река, в переводе на хантыйский Лулнэ Ягун. Это река Казамкина Петра Наумовича, или еще его зовут Агана Верховья Старик, потому как выше по течению никто больше не живет. Селение Старика стоит возле устья Лягушкиной Реки. Там их трое — хозяин, его супруга и их младший сын-инвалид с детства. Мы сейчас пойдем по борovým гривам вдоль речки до Агана, там повернем на запад и по широким борам дотопаем до дома. Дом Старика остается в стороне, заходить туда не будем.

— Понятно, Осип, — кивнул мой спутник.

Места довольно пустынные, рассказывал я. Главная река начинается с большого озера на востоке. Зовут его Агана Верховья Озеро. Изредка род Казамкиных наведывается туда на промысел. В основном охотятся в черных урманах на левобережье Агана, на полуденной стороне, куда мы сейчас держим лица.

А лица мы держали прямо на полдень. В моей памяти как наяву лежал лик нашей земли: сор, боры, болота, речки, Аган, потом чер-

---

<sup>1</sup> Егор пойдет по стопам отца, станет охотником и оленеводом, но преждевременно расстанется с жизнью в начале восьмидесятых годов в поселке геологов Новоаганске, пустившем корни на родовые земли Сардаковых.

ные урманы, болота, снова речки и река Вах, соседний крупный приток Оби.

Я шел и видел перед собой живую, дышащую землю. Видел живые ягельные пастбища. И думал, что они будут вечными<sup>1</sup>.

## 6. Ночь и день седьмой

Мы с Лекарем моим неспешно плелись за стадом. И, возможно, оба думали об одном и том же: вот у оленей есть пища, а у нас нет. А есть хотелось. Ведь мы с утра почти ничего не ели, в полдень выпили только “голый” чай. Бредя за стадом, мы, правда, с кочек сочную морошку срывали. Но она не утоляла голод. Да и поесть ее вдоволь не было времени — олени тянули нас с собой.

Посреди сора наткнулись мы на маленького олененка с белой мордочкой. Сначала я подумал, что он завяз на топком межкочье. Но, подойдя ближе, увидел, что малыш лежит на брюхе, подогнув под себя передние и задние ноги. Я остановился над ним.

— Что с ним? — спросил подошедший Лекарь.

— Силы кончились, — ответил я.

— А-а... — только вздохнул мой напарник.

Я приподнял олененка. Он встал и на дрожащих тонких ножках прошел несколько шагов и снова лег. Он широко раскрытыми глазами смотрел вслед уходящему стаду и, казалось, смирился со своей участью брошенного. Лишь ноздри его, жадно втягивавшие воздух, тревожно вздрагивали.

— А где же его мать? — спросил Лекарь.

— Увлеклась пищей, ушла со стадом.

— Вернется за ним?

— Коль скоро обнаружит пропажу — вернется.

— Если далеко уйдет?

— Тогда вряд ли возвратится.

— А что с ним будет?

— Либо пауты и комары его кончат, либо хищные птицы, либо дикие звери...

---

<sup>1</sup> Иосиф Александрович тогда не предполагал, что через 20-30 лет по юго-западным окраинам этих земель сожмется кольцо нефтяных городов: Нижневартовск, Мегион, Лангас и Покачи на Агане. Пастбища и охотничьи угодья вверх дном перевернут нефтепромыслы, трубопроводы, линии электропередач, аэропорты, железные дороги, шоссе, зимники, ледневки. А по рекам потечет нефть, и ночь побледнеет под заревом факелов.

— Не выживет?

— Может и выжить. Немного отдохнет, потом поест и пойдет по следам оленей. Рано или поздно куда-нибудь придет. К оленям или к дому, если в когти не попадется...

Я показал рукой на лес за сором, куда шли олени, пояснил:

— Там бор начинается. Если доберется туда — выживет, по твердой земле ему легче топтать, чем по этому вязкому сору.

— Значит, ему до бора нужно добраться?

— Да.

— Бросим, что ли?

— А что же делать?

Мой Лекарь еще немного постоял молча над олененком, потом решительно сказал:

— Я возьму его...

— Нам бы самим как-нибудь добраться до бора! — сказал я, переводя недоверчивый взгляд с олененка на своего спутника.

— Доберемся.

— Тяжело по вязкому сору...

— Ничего, выдюжим.

— Всех оленей на руках не перетаскаешь...

— Так пока хоть одного.

— Ладно, сам смотри... — махнул я в конце концов рукой.

— До бора близко, Осип, дойду как-нибудь...

Я связал олененку ноги и помог положить его на плечи Лекарю моему. Показал, как нужно придерживать и нести, чтобы малыш не сползал с человеческих плеч. И сам скорым шагом пустился за стадом, которое уже подходило к бору. Меня сейчас больше беспокоило то, как бы мой спутник не обессилел раньше времени. Как бы потом мне самому не пришлось брать его на плечи. Но отговаривать его было бесполезно. Это я сразу понял: если уж что-то он втемяшил в свою голову, то в другую сторону повернуть очень не просто. Я оглянулся: он далеко отстал, но, как мне показалось, шел уверенно, твердо, хотя и пошатывался на зыбких кочках. Забегая вперед, скажу, что из этого олененка потом выросла хорошая важенка. Мы ей дали имя "Лекарем Спасенная". Она родила много крепких оленят и, пока я был бригадиром, она до глубокой старости жила в стаде — как-то рука не поднималась отправить ее на выбраковку.

На окраине бора я завернул стадо, развел дымокур и устроил привал. Без отдыха моему Лекарю не обойтись, да и о пище надо



было подумать. Сколько-то можно терпеть, но должен быть и предел. В этот вечер, пока олени дремали под дымком, на озере я подстрелил лебедя.

Лекарь мой пришел не скоро. Видно, несколько раз в пути останавливался на отдых. Мы распутали ноги олененку и выпустили его в стадо. Мать тотчас же нашла его и стала кормить молоком. А спутник мой завалился на спину и, не обращая внимания на комаров и мошкору, долго лежал неподвижно, прикрыв усталые глаза.

На ночь мы завели стадо в болото и “заперли” на озерном полуострове с узким перешейком. Посреди этого перешейка, у дымного костра, мы и коротали ночь. Но сегодня нам было веселее. Я ободрал лебедя и сразу над огнем повесил котел. Пока варилось мясо, вывернул наизнанку шкуру птицы и обезжирил ее, а потом за глазные отверстия вддел в ветку сосенки. Пусть до утра хоть немного подсохнет. После мы приступили к трапезе. Когда насытились, лежа у костра, мой спутник поднял глаза на шкуру птицы, спросил:

— Не жалко лебедя?

— Так есть-то надо...

— Все-таки красивая птица!

— Да, птица красивая.

— Шкура тебе зачем?

— О, больше всего у лебедя ценится шкура!

— На что идет?

— На одежду, конечно. Возможно, Моя сошьет к зиме теплое одеяльце для сидящего в люльке Егорки. Он совсем еще маленький, ему будет холодно зимой. А коль есть большая нужда, то скроит себе зимнюю шубу.

— Из одной шкуры-то ведь шубу не сошьешь?

— Есть еще шкуры весенних птиц.

— Каких весенних?

— Турпанов, гагар, гусей.

— Оленьих шкур не хватает, что ль, на одежду?

— Да, хоть мы и пастухи, а не хватает. Каждая шкура и лапа<sup>1</sup> на учете. Да к тому же птичья шкура теплее для детей. Пух теплый и легкий, особенно лебяжий.

— А много лебедей ты подстрелил, Осип?

— Обычно весной добудешь одну-другую. Осенью, если повезет, подстрелишь пару. Летом, когда нужда заставит... А бывает, что за

<sup>1</sup> Лапами называют шкуры с ног оленей и лосей, из которых шьется зимняя меховая обувь.

год ни одного не увидишь. Значит, удача отвернулась. Лебедь — птица осторожная, умная, так просто не возьмешь...

— Так, ясно, понятно...

— Может, Моя или бабушка сошьют зимние шубки для Валентины или Лидии.

— Лидия — это старшая, да?

— Да, старшая. В отличие от младшей сестры она быстрая, подвижная и на язык остра. Словом, баловница!

— Она тоже здесь родилась?

— Да, на той стороне Межземельной Гривы, в середине зимы. В тот год мы ездили туда за отбившимися от стада оленями.

Вот ей туго пришлось — зима стояла морозная, суровая. А в чуме что? Пока огонь горит — вроде бы тепло, чуть убавится — холод. Кто родился летом или весной, тому легче выжить. Но все обошлось, выжила.

— Красавица у вас растет.

— Лидия-то?

— Да.

— Что красота, — сказал я. — Лишь бы здоровой да удачливой выросла!

— Тоже верно, Осип.

Мы помолчали немного, потом он спросил меня:

— Осип, неужели не забьешь оленя, коль нужда заставит?

— Олени не мои, а колхозные. Тут я не хозяин.

— К примеру, голод наступит.

— Так ведь каждый олень на моей шее сидит! А по осени их считают. И заранее никогда не знаешь, успеет твоя шея в эту осень или не успеет.

— Что, с голоду, что ли, умирать станешь?

— Ну, в самом крайнем случае съем оленя, тут деваться некуда. А так терпеть можно, если у тебя есть ружье и рыболовные снасти. Где лебедя, где утку подстрелишь. Где щуку или окуня выловишь. Словом, жить можно.

— Редки эти крайние случаи?

— Да, пожалуй... Опять же, если в пути съел оленя, так шкуру

---

<sup>1</sup> Возможно, красота станет причиной преждевременной и ужасной гибели Лидии. Она выйдет замуж за парня из рода Казамкиных и, когда по их землям, недалеко от их дома, проложат автодорогу Новогазак-Радужный-Нижевартовск, летом 1988 года, вскоре после смерти брата Егора, однажды утром ее обнаженное тело найдут в мелком озере возле вечно гудящей бетонки.



надо тащить и бросить часть мяса. Потом нужно будет написать кучу бумаг для колхоза. А по бумажному делу мы не сильны. Легче лишний раз пастбище обойти, чем бумагу составить.

— Да, не любим мы с бумагой дело иметь...

После сытного бульона и мяса тянуло на сон. Но спать никак нельзя. Стадо, вытоптав полуостровок, захочет на "большую землю". Если мы уснем, можем проспять оленей. А их нужно удержать здесь до утра. Поэтому я кипятил крепкий чай и отваривал костлявые куски мяса и между делом, чтобы меньше клонило ко сну, заводил один разговор за другим. Потом взялся за починку нашей обуви. У меня и у моего спутника подошвы ныриков начисто "сгорели". Давно стали вылазить травяные стельки. Сырая кожа шьется плохо. Кое-как с помощью шила и парусиновой иглы я наложил заплаты и жильными нитками стянул большие дыры. Все не босиком топтать по разохшимся шишкам и иглам-колючкам соснового бора.

— С такими подошвами мы бы на фронте много не навоевали, — заметил мой Лекарь.

Так наш разговор перешел на войны. Сначала говорили о войне с немцами, потом о нашей войне с русскими. Точнее, с красными русскими.

Я рассказал ему о листовничных дубинках, которыми русские наказывали восставших ханты. В верховьях рек красные солдаты взяли одного нашего охотника. У него была винтовка и он отстреливался до тех пор, пока не ранили в руки и ноги. Тут русские захватили его. Спрашивают своего командира, что делать с пленным. Командир говорит: кончайте его. Тут же прикладом винтовки размозжили ему голову. При детях. При полном доме детей. Их мать пристрелили чуть раньше, при перестрелке. А для отца пулю, ироды, пожалели! И приклад винтовки для таких дел, видно, оказался не очень удобным. Поэтому они изобрели листовничную дубинку. Почему именно листовничную? Да листовница на севере тверже и тяжелее железа. Такая дубинка с плохо сбитыми сучками быстро обрастала человеческим мясом. Потом ее бросали голодным псам. Псы обтачивали сучки и обнажали иглообразные волокна листовницы... После подавления восстания в нашей столице, тогда она называлась Остяко-Вогульском, устроили суд. Одиннадцать человек, руководителей, приговорили сначала к смертной казни, потом смертную казнь заменили на тюрьму. Но ни один из них

до тюремной камеры не дожид. Официально власти объявили, что остяки, то есть ханты, совершенно не переносят неволю и все умерли в следственном изоляторе "от сердечной недостаточности". Верно, мы привыкли к свободе за многие столетия. Верно, мы погибаем в неволе. Но все одиннадцать человек не могли одновременно умереть. Это каждому дураку понятно. Их просто, как скотину, забили листовничными дубинками. Вернее, даже скот так не забивают.

Разве народ может забыть такое?!

Народ может забыть все, кроме листовничных дубинок, которыми их убивали...

Разве я смогу забыть такое?!

Нет, пока не закрою навечно глаза, пока не уйду в Нижний Мир, не смогу выкинуть из памяти эти листовничные дубинки, обросшие человеческим мясом!..

Мой Лекарь, прикрыв глаза, долго молчал. Мне показалось, что он уснул. Но тут он открыл глаза, остановил взгляд на моем лице, тяжело выдохнул такие слова:

— Осип, с такими варварами и я бы с тобой пошел воевать!..

И хотя от меня никакого ответа не требовалось, но я как-то машинально сказал:

— Верю.

На его лице я уловил удивление. Вернее, немой вопрос. Поэтому я пояснил свое слово:

— На той войне на нашей стороне воевало несколько русских. Правда, это были люди Белого Царя, то есть, белые русские...

После паузы мой Лекарь сказал:

— Хотя все наши войны бессмысленны...

— Почему же: вас слишком много, а нас слишком мало?

— Да не только поэтому...

— Но мы же, потеряв землю и язык, либо все выйдем, либо вы сделаете нас себе подобными, русскими сделаете... Другой дороги нам нет... Или войю, или умирай. Конец-то все равно один!

— Наши войны бессмысленны... — повторил он.

— Это смотря для кого бессмысленны... — упрямо проговорил я.

На это он сказал мне такие слова: Да, Осип, мы, русские, самые обычные колонизаторы!.. Захватили почти полпланеты. Нам нужны не люди, не народы, а их земли. Нужны земли, земли и земли! Но что же делать, как быть?! Весь мир прошел через это. Одни истребляют, другие истребляются. На одних континентах это делали от-

крыто — с помощью пушек и ружей, на других это делается косвенно, прикрываясь лживым словом, обещая райскую жизнь. Правда, иногда исподтишка, из-под полы, вытаскиваем дубинки, чтобы проломить головы непокорным. Для острастки, в назидание другим, чтобы не бунтовали. Как это было на ваших землях, на вашей войне с русскими. Поэтому как бы много русских вам ни помогали, как бы добра вам ни хотели, повернуть жизнь в другую сторону невозможно. Или, вернее, почти невозможно. У каждого народа своя судьба... Правда, мне не совсем ясно, если судить по-здравому, зачем русским столько пространства, когда на своих исконных землях не можем наладить нормальную жизнь... Впрочем, колонизаторы тоже бывают разные. С вас русский Царь, как с индейцев, хоть скальпы не снимал...

— Зато Красный Царь с меня последние штаны снимает, — проворчал я.

Это был первый русский, сказавший мне правду.

Первый русский, имеющий честь.

Русский, имеющий совесть.

Я потом много думал о его словах. Так ли идет жизнь, как он сказал. Нужен ли я русским? Нужны ли мне русские!? <sup>1</sup>

За такими разговорами прошла ночь.

Утром мы выпустили стадо и по приганскому бору направили его в сторону дома. И сами неспешно пошли следом. Теперь я знал, что олени не свернут в сторону и раньше нас добегут до домашнего дымокура.

Мой Лекарь, пошатываясь, молча шел за мной. Иногда я обращивался на звук, похожий на храп. Он разлеплял воспаленные веки и виновато улыбался. Это, говорит, армейская привычка. На марше, бывало, когда идешь плотным строем и тебя подпирают спереди и сзади, дремлешь на ходу. Ноги идут, а сам спишь. Еще потерпи немного, ободрял я. Скоро домой придем. Сейчас бор закончится, будет болотистая ложбинка. За ней новый бор и еще две такие же ложбинки — и дом. Пояснил ему: близко от дома не принято отдыхать и устраивать долгие привалы. На смех нас поднимут люди, если узнают. На это он глухо хрипел:

---

<sup>1</sup> Спустя годы, нищенствуя на свою колхозную пенсию, он не однажды вспомнит Русского Лекаря. Он почувствует себя вояком, обложенным со всех сторон. И поймет, что миллионам переселенцев, которых притянули сюда земля, леса, недра с нефтью и газом, он совершенно не нужен. И чем быстрее он покинет свое последнее логово, тем меньше проблем будет у новоселенцев в захвате его родовых земель.



“Терплю еще, Осип!..”

Дома он уснул и проспал беспробудно сутки. Потом, когда встал, вытащил он лик земли, называемый картой. На ней я показал наш путь по пастбищу, по нашим борам, болотам, сорам. Он посчитал, прикинул в уме и сказал: “За неделю мы с тобой, Осип, почти тысячу километров оттопали!.. Столько я, пожалуй, за всю войну не прошел пешком...” Помолчал, потом добавил: “На войне-то как было: то пехом идешь, то подъедешь, то подвезут...”

И опять замолчал. Видно, невольное напоминание о войне затронуло его незаживающие раны. Немного позже, чуть ли не в день отъезда, когда мы вдвоем стояли у дымокура, он сказал мне:

— Осип, мой старший тоже погиб преждевременно...

— Где? Когда?! — удивился я.

— На войне...

На мой немой вопрос он так ответил:

— Моя была в положении... Вот-вот в тыл должны были отправить... Да не успели...

Я все понял. Вместе с ней ушел из жизни его старший. Или ушла старшая. Да какая разница? Ведь ушел человек!.. Ушел человек, которого уже никогда не вернуть... Я знал, каково сейчас ему, русскому Лекарю. И невольно подумал: и зачем я мучал его голодом и холодом, комарами и мошкаррой, паутами и грязью наших болот?! Я не в состоянии был ничего ему сказать. И поэтому молчал и молчал.

Настало время — и он попрощался со всеми и уехал, оставив след не только на наших пастбищах, но и в моем сердце...

## 7. Зима

Прошло два или три года. А может, и больше. Точно не помню. Однажды осенью провели учет и не досчитались многих оленей. Большая потеря случилась. В те годы все решалось просто: пропали олени — пастухи их съели, пастухи виноваты. В первую голову, конечно, бригадир должен отвечать. У него живот больше, чем у других. Жди, комиссия придет, сказали мне. Как решит комиссия — так и будет. Ничего хорошего от комиссии я не ждал, исход известен — бригадира под суд, а рядовые пастухи возмещают ущерб деньгами.

Наконец приехала комиссия: одна женщина, двое мужчин и четвертым был председатель колхоза Кузнецов. Когда приезжие сняли кумыши<sup>1</sup>, в одном незнакомце я узнал Оленьего Лекаря, прошедшего по нашим пастбищам несколько лет назад. Подошел он ко мне, поздоровался за руку, спросил о потерянных оленях.

— Съел, — коротко сказал я и невольно провел руками по животу. — Правда, не могу понять, как они все уместились в моем животел!..

Приезжие переглянулись между собой. А Лекарь, мой бывший спутник, сдвинул брови: мол, давай, Осип, по-серьезному. А что объяснять-то, для чего? Что год выдался тяжелым — всем известно было. Весной затяжной наст обрек стадо на бескормицу, ослабили олени, случился падеж. Летом олени копыткой болели, это большая беда для стада. Осенью медведи изрядно похозяйничали на пастбище. Вот и результат. Женщина взглянула на председателя колхоза. Тот скороговоркой поддакивал: да, наст и падеж были, копытка имела место, медведи — тоже.

— Ладно, осмотрим пастбище, — сказал Лекарь.

И все направились к чумам.

Видно, комиссия была высокая. На сей раз наш председатель Кузнецов, мужик резкий и крутой, чуть изогнувшись в поясе, как-то полубоком, засеменял перед приезжими, размахивая руками и на ходу что-то объясняя. Таким я ни разу его не видел. Как потом я узнал, один приехал из района, другой — из области, а третий — чуть ли не из Москвы. Так что глава колхоза не зря старался. Но Лекарь, замедлив шаг и оглянувшись, позвал меня:

— Осип Александрович, идите сюда, показывайте свое хозяйство!..

А показывать особенно было нечего. Нарты, упряжь, пасущиеся недалеко олени и два зимних чума. Тут вышел первый конфуз. Нюки<sup>2</sup> были старые, рваные, латанные-перелатанные. Местами взгляд проходил через обе стенки. Лекарь повел своих вокруг нашего жилища, невольно тыкая палочкой в дыры на крышке. Тут в чуме проснулась и заплакала моя младшая дочурка, которой не исполнилось и года. Мать качнула люльку — и остов дома слегка зашевелился, и заскрипел подвесной ремень на жердине. Лекарь, останавливаясь, сказал, ни к кому не обращаясь:

<sup>1</sup> Кумыш — верхняя глухая одежда мехом наружу, надеваемая на малицу или шубу.

<sup>2</sup> Нюки — крышка зимнего чума из остриженных оленьих шкур.

— А ведь мерзнут дети!..

Тут все посмотрели на моих Егорку и Валентину, путавшихся у меня под ногами. Старшую Лидию уже забрали в интернат. Все замолчали, прислушиваясь к плачу малышки за дырявой покрывкой. Наконец Лекарь поймал глазом председателя Кузнецова, сухо спросил:

— Что, нет шкур на покрывки?

Председатель весь съежился, стал меньше ростом, невнятно про-  
бормотал:

— Да-ан... ннет...

— Так есть или нет? — резко спросил Лекарь.

— Есть, но недостаточно...

— Хоть отремонтировать-то можно было?

— Можно, да не просили...

— Верно, не просили, — подтвердил я.

— Почему? — спросила женщина.

— Да... в колхозе все равно мало что выпросишь!..

— А сукна нет? — спросил Лекарь.

— Есть, сделаем! — бодро откликнулся председатель.

В те годы уже стали применять двойные покрывки для зимнего чума. Обычно нижняя шьется из толстого шинельного сукна, а верхняя — из брезента.

В чуме тоже вышла неувязка. Как водится, с холода все потянулись к печурке. А она также насквозь просвечивает, как и чумовые покрывки. Бока давно выгорели, а верх мы прикрывали кусками жести. Когда все немного отогрелись, Лекарь спокойным и ровным голосом спросил председателя:

— Кузнецов, у тебя и листика железа нет?

Председатель смешался, пригнул голову, закряхтел, стал покашливать, как бы прочищая горло. Не дождавшись ответа, Лекарь поставил ему второй вопрос:

— У тебя дома сколько печей?

— У меня... как у всех... — запнувшись, ответил председатель.

В те годы все зажиточные русские в поселке ставили по две печи: большую кирпичную и рядом с ней малую железную. В сильные холода топили и ту, и другую печь. В ту пору зимы не то, что сейчас, были особенно суровыми.

— Так отдай свою буржуйку Осипу Александровичу! — сказал Лекарь.

— Хорошо, сделаем! — почти обрадованно согласился председатель колхоза Кузнецов.

На печке уже начал закипать чайник для гостей. Тут Лекарь обратил внимание на котел, стоявший позади печки на тонких жердинах-настилах. Он взял поварешку, прислоненную к котловой дужке, и зачерпнул со дна уха. Попалось несколько окуньков и ершей.

— Это ваш обед? — поинтересовался он.

Я молча кивнул.

— Неудивительно, Кузнецов, если у вас через год разбегутся последние олени... — заметил Лекарь.

— Зато у них хлеб есть! — на этот раз быстро нашелся глава колхоза.

— Да, мука есть, хлеб есть, — подтвердил я. — Терпим пока...

— Сколько можно терпеть?..

Наступила пауза. Когда молчание стало тягостным, председатель Кузнецов, поерзав, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Это была наша лучшая бригада. Всегда сохраняли основное поголовье. Без больших потерь обходилось до этой осени...

— Однако, не лучшим образом заботились о них... — сказал Лекарь.

— Теперь позаботимся, сделаем! — приободрился председатель. — Если вы нам поможете!..

К чести председателя Кузнецова, он сдержал свои слова. Через неделю прислал нам новую печку, а немного позже обновили покрывки чумов не только нам, но и другим бригадам. Выдали шкуры на одежду и лапы на обувь. Разрешили раз в год на семью брать одного оленя на мясо. По тогдашним временам это совсем неплохо для пастуха, который совсем ничего не имел. При стаде, а ходи голодный.

Опять все замолчали. Лекарь медленным взором обводил чум: я почувствовал на себе его внимательные глаза, потом они прошли по Егорке и Валентине, примостившихся у моих колен с двух сторон, по засыпающей младшей дочурке, укутанной в меховые одеяльца и платки, по моей супруге, качающей люльку малышки, и остановились на моей седой маме, сидевшей возле дверей с шитьем в руках. Гости невольно повели головами слева направо, проследив за его взглядом. Он еще немного постоял молча, нагнул голову.

Потом выпрямился и глухо сказал:

— Поехали.

— А чай? — спросила Моя. — Чайник уже кипит!..

— Чай попьем в пути, у Казамкиных.

Комиссия дружно вышла из дома, и все поспешили к своим упряжкам, где кауры уже развязывали вожжи-поводки. Тронулись нарты. Но Лекарь придержал своего каюра и, перебирая вещи на сиденье, негромко и как-то неопределенно спросил меня:

— Ну, что, Осип?..

Я чуть заметно кивнул вверх:

— На своего Небесного Отца надеюсь...

Он почти невидимо усмехнулся и, между тем, достал небольшой рюкзачок и подал мне: вот, мол, гостинцы твоим детям. Мешок показался мне очень добротным, из плотной крепкой ткани, с мягкими широкими ляжками, и поэтому я хотел выложить содержимое и вернуть его хозяину. Но он остановил меня: мол, мешок для тебя, оставь. Он оказался очень прочным. Мы ему потом имя дали: “Лекаря мешок”, “Лекаря подарок”. Я протаскал его за спиной все мои пастушеские годы. И сейчас, правда, уже подлатанный, годится для выезда на охоту и рыбалку.

На прощание он пожал мне руку, улыбнулся и крепким голосом сказал:

— Ну, живи, Осип, работай спокойно... Даст Бог, еще свидимся когда...

Уехала комиссия.

И уехал мой Лекарь.

Что дальше было? Под суд меня не отдали. Половину потерянных оленей списали, а за другую половину сделали нам денежный начет. Ну, это не тюрьма, жить можно. Все это было впервые. После уже никого за потерю оленей не судили, только вынуждали возмещать ущерб из собственных средств. С легкой руки моего Лекаря полегчала наша жизнь...

Да, и среди русских встречаются достойные...

Но второй такой мне больше не попадался.

С той зимы прошло много лет. Русский Лекарь после этого к нам не приезжал. Не знаю, жив ли он, здоров ли? Не знаю, на каких землях сейчас живет, чем занимается!.. Но во мне и в наших землях он оставил о себе добрую память!..







## С 60-ЛЕТИЕМ!

**ТАРХАНОВ** Андрей Семенович родился в 1936 году в д. Аманья Кондинского района в семье охотника-манси.

Окончил Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище, Ленинградский педагогический институт им. А.Герцена, Высшие курсы сценаристов и режиссеров Союза кинематографистов СССР и Высшие литературные курсы Союза писателей СССР.

Работал учителем Юмасинской семилетней школы, собкором газеты "Ленинская правда", редактором окружной студии телевидения.

Автор многих сборников стихов, в их числе "Первая завязь" (1963), "Утренний лыжник" (1979), "Храм милосердия" (1988), "Пасхальный день" (1993). Многие стихи поэта переведены на венгерский, болгарский, киргизский, украинский, чешский, финский языки.

Член Союза писателей с 1980 года.

Живет в Ханты-Мансийске. Возглавляет Угро-Ямальскую писательскую организацию.

*В стихах Андрея Тарханова много исповедального. Душа поэта распахнута грозам и людям. Словно весеннее поле, она лучится радостью, счастьем жизни, но отдельные стихи пронизаны такой болью сердца, что, кажется, пульсирует она в текучих словах, как кровь в напряженных венах.*

**Константин ЯКОВЛЕВ.**





И, на время прозревшие, камни  
Плачут на косогоре села.  
Это им от небес подаренье —  
Увидать на мгновенье окрест  
Родников золотое свечение  
И молочно-оранжевый лес.  
Видят в белых одеждах влюбленных,  
Словно тающих в белом дыму.  
Эта ночь — для счастливых, смятенных,  
И остаться нельзя одному.  
Не спеши, огнекрылое утро,  
На дорогу свою не зови.  
Эта ночь, это белое чудо —  
Облик первой далекой любви.

\* \* \*

Странное безмолвие лесов.  
Что за ним для путника таится?  
Путник да вовек не заботится  
Белого молчания снегов.

Вот сугробы высотой с тебя.  
Крикни —  
и сугробы распахнутся,  
Птицы краснобровые взметнутся,  
Снегом осыпая и слепя.

Ты ошеломлен,  
ты восхищен:  
Птицы вдруг оранжевыми стали,  
И в сугробы дальние упали,  
И открылся красный окоем.

Ты не верь безмолвию лесов,  
Ты иди, мой путник, в бор кедровый,  
На тропинке утренней лиловой  
Ты познаешь музыку стихов.

## Гнев Ай-Пима<sup>1</sup>

И обнажился красный яр,  
И небо глухо застонало.  
Упал ветвистый великан  
И... на яру вдруг пусто стало.

Ай-Пим ревет, как динозавр,  
Он глину

глыбами съедает.

И перепуганный глухарь  
В слезах багряных улетает:

Из бурых вод, видать, ветра  
Рождаются и воют яро.  
Сырков раздавленных икра  
Пылает на откосах яра.

Вдали Урал — седой отец  
Глядит с таинственной улыбкой.  
Он скоро гнев Ай-Пима здесь  
Разумной назовет ошибкой.

## В том порту...

*“... и потекли золотые удавы от  
фонарей пристани...”*

*И. Бунин*

В том порту вечереет,  
и травы  
И душисто, и лунно цветут.  
В том порту золотые удавы  
По дорожкам туманным текут.

---

<sup>1</sup> Ай-Пим — река, бегущая с Урала.

В том порту и красивый, и стройный  
Человек у прибоя стоит.  
И, виденьем своим потрясенный,  
За лучистое море глядит.  
Ту — в рыданных гармоник Россию —  
Видит он сквозь года наяву:  
Этот снег и парящий, и синий,  
Эти тройки, и эту Неву.  
Видит берег до неба угрюмый,  
Видит Пасху в сиянье весны...  
Он, Иван Алексеевич Бунин,  
До утра не уйдет от волны.

## Рябиновый пожар

Другу Владимиру Тетеневу

Красный шепот рябины,  
Красный шепот ветвей  
Я в осенней долине  
Взял для песни своей.

От рябин одиноких  
Наши беды видны,  
И коварство убогих,  
И предателей сны.

Да, я славлю дороги,  
Где рябины красны.  
Я — как символ тревоги,  
Я — как воин страны.

Будем Богом хранимы,  
Лишь познав красоту.  
Из пожара рябины  
На дорогу иду.





## С 60-ЛЕТИЕМ

**ВАГАТОВА** (Волдина) Мария Кузьминична родилась в с. Юильск Белоярского (ныне Березовского) района.

Окончила Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище и Ленинградский педагогический институт им. А.Герцена.

Работала учителем на Казыме, преподавателем в Ханты-Мансийском национальном педагогическом училище, журналистом.

Автор книги "Ханты-Мансийские сказки" (1977), написанной совместно с мансийским поэтом А.Тархановым, и сборника стихов на хантыйском языке "Ас аланг" (1987).

Заслуженный работник культуры РСФСР.

Живет в Ханты-Мансийске. Работает редактором окружной национальной газеты "Ханты Ясанг".

*Поэзия Марии Вагатовой уходит корнями в прошлое, в фольклор... Ее искренние строчки дают бесценную возможность понять мировосприятие народа, который умеет жить в гармонии с природой...*

*Поэтесса не отрывается от земли своих предков, и в этом сила ее поэзии. Именно эта нерасторжимость, связь со своей землей дает ей свою звонкую песню, свою неповторимую мелодию.*

**Валентина СОЛОВАР**



## Тундра, родина моя!

И горда я, и красива!  
Черный сах на мне искрится,  
Белый сах на мне искрится.  
Я поймаю трех оленей —  
Серебром их шерсть лоснится,  
Белым инеем дымится!  
Запрягу я трех оленей,  
Запрягу, украсу шеи —  
Где других найдешь быстрее!  
Мчатся нарты, точно птицы.  
И горда я, и красива!  
Как бубенчик бьется звонок!  
Как у нарты полоз тонок!  
И смеюсь я, как ребенок —  
И горда я, и красива!  
Где олени шли гурьбою,  
Следом снежной целиною  
Я лечу, а за спиною  
Вереница нарт за мною  
Целиною, целиною!  
И горда я, и красива!  
И не знаю я вольней  
Тундры — родины моей!

\* \* \*

В моем сердце вся природа,  
Добрый нрав и ум народа,  
Что ветвятся, как деревья,  
Полны света и доверья.



Как березка золотая,  
Я свечусь на склоне лета.  
Ничего я не скрываю, —  
Мне б успеть отдать все это,  
Все вернуть земле и детям,  
Перетечь в сердца и души.  
Нет на свете доли хуже,  
Чем отдать все это смерти.

### **Тем, в ком нет сердца**

Нет в вас сердца. Ваша плоть  
Сотворит ли кровь живую?  
Вот что нелюдям живым  
Неустанно говорю я.  
Вам ли жизнь любить, когда  
Вы впились в нее так злобно?  
Скоро вытопчите вы  
Ваш лужок, скоту подобно.  
И падете — морды в пыль,  
Обескровив ваши вены.  
Впрочем, кровь ли в них текла?  
Зло с дерьмом попеременно.  
Знали ль солнце ваши дни,  
Ночи — звезд живых свеченье?  
Не оставить сыновей  
На земле вам, без сомненья.  
Потому не будет, нет  
Вам на свете продолженья.

### **Милый Петар, мой муж**

Милый Петар, муж ты мой,  
Милый Петар, друг ты мой,  
Позабыть ли мне то время,  
Позабыть ли жизнь с тобой!

Это твой тынзян плетеный  
Грел мне тело все больней.  
Не забыть мне боли этой,  
Как не знать тебе о ней.  
Потому не знай и их,  
Сыновей, детей моих.  
Потому и звать не смей  
Дочерьми моих детей.

Милый Петар, муж ты мой,  
Милый Петар, друг ты мой,  
Не качал ты детских люлек,  
Мягкий пух не стлал зимой.  
Ты не шил их из бересты,  
Не сушил ты мох для них.  
Это я вила им гнезда,  
Мое сердце грело их.  
Вот что помнит мое сердце,  
Вот о чем пою порой,  
Вот о чем хочу напомнить,  
Ставши Матерью Большой.  
Лишних слов я не сказала,  
Лжи рассказ не знает мой.

Милый Петар, муж ты мой,  
Милый Петар, друг ты мой,  
Лишь одно еще скажу я,  
Ставши старой и седой.  
Без тебя мне день без солнца,  
Ночь была бы без луны.  
Это я не говорила,  
Не могла до седины.  
Есть у нас пять сыновей,  
Есть у нас пять дочерей —  
Это я не позабуду  
В песне высказать своей.

Лишних слов я не сказала,  
Лжи не знает песнь моя.  
Я пою о милом муже,  
С ним навек гнездилась я.  
Десять жизней греет в чуме  
Наш очаг, моя семья.

*Перевод с хантыйского А. Смольникова*

## Рыбаки

Ханты встали раньше солнца —  
Летом ночи нету,  
И, потягиваясь сонно,  
Обь влезала в невод.  
Как ее светилась шея,  
Кольхался невод.  
Обь роняла украшенья  
Осетров и нельм.  
Волочились, будто бревна,  
Шуки и налимы,  
Стерлядь шла легко и ровно  
Желтого налива.  
Руки сильные у ханты.  
Тонь к концу. И ловко  
Круг на круге, как арканы,  
На песок — веревка.  
Бьет щурят зеленый ливень  
По рыбачьей жажде.  
Что улов идет великий,  
Сердцем чувствует каждый.  
Притонили,  
Обь вздохнула  
Мягко, с облегченьем,  
Листья солнца протянулись  
К людям по теченью.

## Ярась

Выйдет ли Ярась на тропу,  
Выйдет ли Ярась на обласке —  
Всякий удачен у Ярась путь.  
Видно, на прочном поводке  
Держит Ярась счастье свое.  
И по-хантыйски Ярась поет,  
И по-русски судьбу славит,  
Руки — хоть рыбу ловить, хоть прижать  
Девушку к сердцу — на все горазды.  
Карие очи...  
О, как мне жаль,  
К Ярась совсем непросто добраться.  
Нет, не гнетет превеликая даль!  
На вертолете неторопливом...  
Но вдруг не понравлюсь, —  
Что тогда —  
Ярась, счастливому из счастливых?

## Песня бабушки

За окном гнездо зиме  
Ветер с ночью вьют.  
— Спой мне, бабушка, про жизнь твою...  
— Песня, внучка, как Обь, длинна.  
У людей зима, а мне все весна.  
Я про первую жизнь вспоминать хочу,  
Как любила я наш веселый чум,  
Как шила, расшивала,  
Как я пела, танцевала,  
Била белку, мяла кожи  
И богам молилась. Что же,  
У кого просить участия?  
Мы в урмане жили. В чаще  
Годы девичьи прошли.

Помню, как-то зимней ночью  
Руки мне связали, ноги,  
В юрту мужа повезли...  
Лицо скрывала, внученька,  
Велел обычай мучиться.  
Из бересты раз десять  
Я колыбели шила.  
Один живой, что делать?  
Так мы прежде жили.  
О добрый час! И в будни  
В душе поет ручей.  
И стала я как будто  
Ровесницей твоей.

*Перевод с хантыйского Г. Слинкиной*

## Материнское сердце

Как деревья бы цвели,  
Если б не было корней?  
Как бы жили на Земле,  
Не будь бы женщины на ней?  
Без корней листва мертва!  
Земля без женщины мертва!  
Солнца глаз ласкает Землю,  
Но не будет сыновей и дочерей,  
Если нет на земле матерей.  
А материнское сердце!  
С чем бы его сравнить?  
Оно солнца ярче, горячей!  
Это — путь без конца!  
Это — сила без предела!  
Это — честь без корысти!  
Это — юность без старости!  
Это — верность без обмана!

Это — совесть моя, твоя и Земли!  
Потому мать люльку качала.  
Материнское сердце!  
Ни с чем его не сравнить!

*Перевод с хантыйского автора*



АННА  
КОНЬКОВА



С 80-ЛЕТИЕМ!

**КОНЬКОВА Анна Митрофановна** родилась в мансийском селении Евра Кондинского района (бывшей Пелымской волости Туринского уезда).

Окончила туземную семилетнюю школу и Остяко-Вогульское (ныне — Ханты-Мансийское) национальное педагогическое училище.

Более 30 лет проработала в национальных школах Березовского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов.

Автор книг "Сказки бабушки Аннэ" (1985, 1993), романа-сказания "И пун медлительных поток..." (1982, 1990), написанного в соавторстве с Геннадием Сазоновым. Произведения Анны Митрофановны Коньковой печатались в коллективных сборниках "Огонь-камень" (1981), "На семи холмах соцветие" (1995), издавались в Венгрии, Польше, Чехословакии.

Член Союза писателей с 1989 года. Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа. Живет в Ханты-Мансийске.

*Духовную жизнь округа сегодня невозможно представить без А.М.Коньковой, нашей бабушки Аннэ, матери матерей нашей древней и суровой Югры.*

*Анна Митрофановна — это мудрость, это доброта, это совесть людей моей земли. И поэтому вечно живут ее сказки и легенды, радующие сердце и душу каждого, кто с любовью прикоснется к ним...*

**Еремей АЙПИН**





## За рыбьим молочком

*“Жизнь — не те дни, что  
прошли, а те, что запомнились.”*

П. Павленко

Моя бабушка Околь — матерей Мать — не знала названий болезней, но лечила всех лекарствами, что дарила природа.

Однажды за вечерним чаем она сказала:

— У Панитки внук Перка заболел тихой болезнью. Голова увеличивается, живот становится ненормальным, ножки слабеют. Какой из него будет охотник со слабыми ногами? Его надо лечить-поить рыбьим молочком. Мы завтра с внучкой пойдем к святой Янге ловить болотных карасей — вончарков. Наловим, сделаем из них рыбье молочко, и будет Панитка поить своего внука.

Утром бабушка разбудила меня рано, велела поскорее собраться. Затем пришнуровала ловушку-кямку к берестяному заплечнику и мы отправились к святой Янге.

Только подошли к болоту, как невдалеке что-то звонко хрустнуло. Бабушка насторожилась, взяла меня под руку, шепнула на ухо:

— Тише будь, тут кто-то есть.

Вскоре мы снова услышали треск сучьев. Бабушка спросила меня:

— Слышишь?

— Слышу, слышу, — ответила я, взволнованно подумав, что это, наверное, к нам приближается быстроногая Янга — лесная дева.

Мы стояли затаив дыхание и зорко всматривались в ту сторону, откуда доносилось потрескивание и шелест листьев. Потом вдруг увидели, как на краю леса, в низине, раздвинулись ветки молодого осинника и показалась огромная, безрогая, с торчащими вверх большими ушами голова. Во рту у зверя торчал пучок травы.

Бабушка шепнула:

— Это лось!

Я еще никогда так близко не видела лесного красавца и от смешанного чувства радости и страха вплотную придвинулась к бабушке.



Лось остановился, навел на нас огромные, удивленные глаза. Пошевелил ушами, раздул ноздри горбатого носа, понюхал воздух. Потом, пригибая мелкие прутья осинника, медленно повернулся к нам бесхвостым задом, показывая стройные ноги, и спокойно пошел низиной по глубокой узкой тропе, протоптанной собратьями. Гладкая темно-серая шерсть на нем отсвечивала.

Бабушка подсадила меня на высокий пенёк, чтобы я могла дольше любоваться лесным красавцем. Я смотрела вслед лосю, а он, удаляясь, уменьшался, словно таял на глазах. Когда лось ушел, бабушка сказала:

— Вот глядельник так глядельник, как маслом по сердцу! Сколько раз приходилось видеть, а все не нагляжусь, все бы смотрела и смотрела! Аннэ, правда, лось красивый?

— Да, да! Он красивый и большой, чуть пониже нашей лошади Карьки! Бабушка, а почему у лося нет хвоста? Как же он отмахивается от комаров?

— У него шерстинки прилегают плотно к коже, так что комарам-кровососам своими носами до тела не достать. А слепни — достают и не дают ему покоя. Лось идет сквозь густой осинник, и ветки смахивают с него кровососов.

Вдруг из леса донеслись два громких, как выстрелы, хлопка. Я вопросительно посмотрела на бабушку. Бабушка быстро пояснила:

— А это, внучка, лось ударяет ухо об ухо, отгоняет комаров.

Я устало присела к месту старого кострища, где бабушка разводила дымокур.

— Бабушка, почему мы ни в сосновом бору, ни в кедровнике не видели лося?

— В бору он быстро пробежит, схватит огромный гриб, на ходу проглотит и уйдет. А вокруг болота все лето горькая троелистка и молодой осинник — первая пища лосей, вот они здесь и пасутся.

Бабушка жевала травинку и задумчиво глядела на лес. Морщины на ее лице то мельчали, то становились глубокими, как лосиные тропы вокруг болота...

Я смотрела на ее меняющееся лицо и ждала, что она скажет.

— Раньше охотники легко добывали здесь лосей. Хотя наши мужчины не считали женщин за людей, но, как говорится, ночная кукушка всегда перекукует дневную. Мы еще и стариков подговорили и отстояли для наших детей этот святой уголок земли. Теперь давно здесь не охотятся. Остались наши лоси таким, как ты, на просмотренные и удивление.

— Но я всего один раз и видела лося!

— Я всех своих детей сюда водила и другие матери со своими детьми сюда приходят. — Бабушка поднялась и сказала. — Ну, Аннэ, пойдем поздороваемся со святой Янгой, поклонимся ей.

Я обрадовалась, вскочила на ноги, подумав, что сейчас увижу живую лесную деву.

Мы подошли к болоту. Бабушка поклонилась три раза.

— Здравствуй, святая, чистая Янга! Добрая поилица наших боров, наших лесов кормилица!

Я вся напряглась.

— Как?! Это и есть святая Янга?

— Да, это наша Янга, — спокойно ответила бабушка.

Я сердито возразила:

— Нет! — и схватила бабушку за руку. — Нет, нет, никакая это не Янга! Это — болото! Это твое плохое болото! Болотище! Я совсем не люблю его!

От такого моего поведения бабушка оторопела. Смотрела на меня, стараясь понять, каким ветром вдунуло в меня капризинку. Хотела спросить, что со мной, но я, пританцовывая, трясла ее руку и громко плакала. И только немного успокоившись, услышала:

— Да ты послушай, что я тебе скажу. Это совсем молодое болото — Янга. Посмотри, какое на нем тонкое моховое покрывало. Если кто-то ступит на это покрывало, оно сразу порвется и утопит того, кто посмел до него дотронуться! Там, под моховым покрывалом, сплошная вода. Вот почему на этом болоте никакие деревца не растут. Вот почему оно называется чистым. Когда солнце скатывается за лес, и мы его не видим, значит, оно отдыхает на мягком чистом мху. Вот почему мы его называем святым. Солнце — это наша святость. Солнце своим вечерним зоревым свечением окрашивает маленьких болотных карасей в золотистый цвет. Вот почему болотные карасики — вончарки приносят детям здоровье. Когда ты была маленькой, у тебя долго зубы не резались. Мы поили тебя рыбьим молочком, и зубы быстро прорезались. И Перка у Панитки будет с крепкими ногами. Из него вырастет ловкий охотник. Вот она какая целительница наша, святая, чистая Янга!

Бабушка подошла к болоту, влезла на огромную валежину, похожую на темную спину плывущего лося. Постояла, осмотрелась и принялась вырывать седой длинный мох около валежины. Вырванный мох то складывала на валежину, то бросала к моим ногам.



Когда клочок мха упал и развалился, под ним затрепыхался маленький карасик. От удивления я присела и с радостью заговорила:

— Ах ты, маленький вончарка-ложечка!

А карасик цвета золотой вечерней зари трепыхался на мягком влажном мху. Он то бил головкой, то хвостиком, то уловчался повернуться на животик и свернуться рогулькой, как будто показывал все оттенки своего золотого платья.

Бабушка возле валежины утопила кямку, придавила ее мхом и велела мне отпустить карасика. Карасик скрылся под водой. Мелкие брызги на мгновение вспыхнули на солнце разноцветьем.

Только позднее я поняла, что карасики были окрашены не вечерней зарей, а болотной водой цвета густого чая.

И хотя я с интересом наблюдала за работой бабушки, все еще тайком надеялась увидеть свою сказку — святую Янгу. И потому, увидев пайп — берестяной кузов с крышкой, вскрикнула:

— Ой, бабушка, смотри, чей это такой красивый пайп?

— Это мой пайп. — Бабушка подошла к ели, приобняла кузов, открыла крышку, достала жестяной котелок, берестяные чашки и плотную, из коноплиного полотна, тряпку. Тряпку хорошо встряхнула, накинула на котелок, процедила болотную воду и сказала: — Пока я налаживаю чай, ты, Аннэ, пособирай ягод.

Я только чуть отошла от костерка и воскликнула:

— Сколько тут голубики!

На каждом кустике было много ягод. Словно не ягоды, а клочки голубого неба лежали на ветках. Бабушка подошла ко мне и присела рядом.

— Надень, внучка, лямки ватланчика на шею, освободи левую руку, поставь ватланчик под кустик, осторожно, ласково прикасайся к кусту, не роняй ягоду на землю, не ломай веточки — ко всему, что растет на земле, нужно относиться бережно.

Мы набрали ягод и подошли к костерку. Чай булькал в котелке. Бабушка сняла его, опрокинула мои ягоды на влажную тряпку, покатала их, и чистую ягоду ссыпала в кипяток. Мы с удовольствием напились чаю с голубикой. После чая пошли собирать голубику вместе. Бабушка учила мои пальцы быть ловкими, охочими до работы.

— Женские руки не должны бояться ни ледяной, ни горячей воды, — говорила она. — За всякое дело женщина должна браться с

сердцем горячим и глазом зрячим... Внучка, не роняй ягоды на землю!

— Вон их сколько, ягод! Все равно нам ее всю не собрать!

— Это верно, Аннэ, что всю ее нам не собрать, только то, что останется, пусть будет не на земле, а на ветках. Каждой птице, каждому зверьку ее лучше брать с ветки.

Когда наши посудины были полны, мы вернулись на то место, где стояла ловушка-кямка. Бабушка вынула ее из воды, поставила на пенек. В ловушке было много маленьких карасиков, они трепыхались, брызги летели во все стороны.

— Пускай вода стечет с них, — сказала бабушка. Она собрала посуду в кузовок, закрыла крышкой и повесила на ель. — Следующий раз пригодится.

Когда мы собрались домой, бабушка сказала:

— Сейчас, Аннэ, мы пойдем другой тропой, через кедровник. Посмотрим, чем нынче кедрь порадуют нас.

Тропка, по которой мы шли, была узкой и тенистой. Она то поднималась в гору, то опускалась, будто качала нас. Шишек на кедрах было множество, даже на молодых кедрушках — густо.

— Бабушка, я хочу сорвать одну шишечку!

— Разве можно, внучка, беспокоить дерево? Ему и без тебя тяжело. Вон сколько корням надо собрать пищи, чтобы в орехах появились жирные ядра!

Мы остановились у дома Панитки. Бабушка взяла доску, острый нож, быстро очистила карасиков от чешуи, выпотрошила, вымыла. И поставила варить в котле. Сварив карасиков, бабушка истолкла их, и получилась густая белая уха — рыбе молочко. Бабушка разлила его в берестяные туески и велела Панитке поставить их в снежную яму.

— Вот, Панитка, каждый день доставайте молочко из ямы, подогревайте, поите Перку. Увидите, как быстро он будет поправляться. Мать его тоже пусть пьет рыбе молочко, будет в грудях молоко.

Мама нас с бабушкой встретила с радостью.

— Вот хорошо, что насобирали ягод. Завтра я вам напеку сладких пирогов и шанег!

## Как бабушкину смерть в гроб клали

Мама давно собиралась в Пелым, чтобы обменять рыбу, орехи,

ягоду на муку, да боялась за бабушку. Она в те дни часто жаловалась на боль в голове.

Но пришли к нам женщины и уговорили маму поехать. Сказали, что они не оставят без присмотра свою матерей Мать.

И бабушка тоже начала уговаривать маму ехать.

И мама уехала. А бабушке становилось хуже. От всего, что приносили женщины, она отказывалась.

Через несколько дней я услышала какую-то возню за дверями. Затем дверь распахнулась, и показались спины стариков. Я увидела, как они с сопением внесли новенький тесовый гроб. Я вздрогнула и подсела к бабушке.

— Бабушка, бабушка, зачем они внесли гроб в наш дом? Может, знают, что ты умрешь?!

— Нет, Аннэ, я не умру, — успокоила она меня. — Ты, внученька, не мешай им. Я еще живая, а живых в гроб не кладут. — И опаленными жаром губами бабушка улыбнулась и погладила меня по голове слабой рукой.

Я немного успокоилась и повернулась к старикам. Гроб стоял на лавке, а крышка гроба лежала рядом. Старики и старухи стояли подле гроба и что-то шептали. А затем подошли к бабушке и взяли ее на руки. Я ухватилась за бабушку и закричала:

— Уходите, уходите, я не дам вам мою бабушку!

Но старухи осторожно отцепили мои руки от бабушки, а старики поднесли ее к лавке и семь раз подняли и опустили над гробом так, что бабушка спиной касалась краев гроба.

— Не плачь, Аннэ, — уговаривали меня, — мы хотим положить в гроб не бабушку, а бабушкину смерть. — Затем бабушку снова положили на нары, а крышку гроба быстро заколотили, приговаривая: — Сиди теперь там, костлявая смерть, не высовывайся, не показывай свой крючковатый нос!

Старики подняли гроб, вынесли и установили его на крыше дома.

Я почему-то замерла и залезла под лисье одеяло к бабушке. Часто просыпалась, открывала глаза и, увидев рядом бабушку, снова засыпала.

Когда мы обе выздоровели, я спросила:

— Бабушка, теперь нам нельзя лазать на крышу?

— Почему же нельзя?

— А если твоя смерть вылезет из гроба?

— Если вылезет моя смерть, то только ко мне и придет. У каждого человека своя смерть.

Когда мама вернулась из Пелыма, я с радостью сообщила:

— Мама, бабушкину смерть в гроб заколотили! Бабушка у нас теперь бессмертная!

— Вот и хорошо, пусть живет дольше наша бабушка, она нам всегда нужна, — сказала мама.

— Мама, а смерть у всех людей обманывают? — спросила я.

— Нет, доченька, не у всех. Только у тех, которых очень любят. А нашу бабушку нельзя не любить. Она сама всех любит, как родных детей. Всем помогает жить. Всегда в гости к горю ходит. Хоть маленькую, но радость несет.

## Сельсь-Горностайка

Двое мужчин — Яска и Кырыль и двое подростков — мальчик Яньим и девочка Маснэ — отправились шишковать. Манси летом собак в лес не берут, чтобы до охоты не пугать зверей и зверушек. Но старый хитрый пес Яски по кличке Сельсь-Горностайка после долгой возни с ошейником все-таки снял его и побежал по следам хозяина.

Шишкарки пришли в кедровник, остановились у избушки. Яска, он был старше всех, сказал:

— Пойдем-ка, Кырыль, посмотрим, как и каким способом будем добывать шишку.

Мужчины взяли палки и пошли в разные стороны. Шли медленно, постукивая по стволам деревьев. От ударов с кедров падали шишки. Мужчины часто перекликались. Кырыль кричал:

— Идет, идет шишка!

Яска отвечал ему:

— Думаю, на колот вся пойдет!

Давно уже в кедровнике лакомился вкусными жирными орехами огромный медведь. Здесь он чувствовал себя хозяином. Никто ему не мешал, никто его не пугал. Но вдруг он услышал совсем рядом звонкие удары и уловил чуждый запах. Зверь на мгновение замер, потом зарычал и потрусил в противоположную сторону кедровника. А на новом месте оказалось еще хуже. То тут, то там доносились голоса и звонкие удары по стволам деревьев. Медведь от злости грозно рывкнул и помчался в сторону лесовней избушки.

Маснэ увидела мелькание за стволами кедров, подумала, что это мужчины возвращаются и крикнула:

— Яньим, хватит тебе есть бруснику, иди сюда. Наши мужчины уже вернулись!

Не успела она оглянуться, а медведь уже рядом. Маснэ спряталась за толстый ствол кедра. Зверь бросился за ней. Девочка побежала вокруг кедра. Неповоротливый зверь не смог ее догнать. Увидел раздувающийся подол широкого платья и ну бить по нему лапой. С каждым ударом в когтях оставался лоскут.

Не подозревая ничего, Яньим отозвался:

— Иду-у, Маснэ!

Зверь сразу бросился на его голос.

Яньим хоть и мал, но много слышал от опытных охотников о встречах с хозяином урманов. Увидел медведя и тоже спрятался за толстым стволом.

Зверь с рычанием понесся к дереву, но промчался мимо. Остановился, медленно повернулся и опять понесся к дереву. И опять мимо. Много раз бегал взад и вперед, но никак не мог остановиться у ствола, за которым затаился Яньим. Тогда медведь поднялся на дыбы и, переваливаясь, приковылял к кедру. Обхватил передними лапами ствол, зарычал, стал грызть и царапать кору, стараясь зацепить мальчика лапами.

Яньим уже начал уставать, и тут прибежал Сельсь-Горностайка. Пес издали учуял недруга. С громким лаем бросился на зверя. Схватил его сзади и потянул на себя. Затем, опасаясь острых медвежьих когтей, отскочил. Медведь громко зарычал, закружился и стал отступать к болоту. Так они постепенно и удалились от лесовней избышки.

Яньим знал, что Горностайка не позволит медведю вернуться, и подошел к Маснэ. Девочка лежала ничком. Она слышала, как к ней кто-то подошел, еще плотнее прижалась к земле...

Яска узнал свою собаку по голосу и сразу понял, с кем Горностайка встретился. Он бросил палку и стрелой полетел к избышке. Увидел детей. Присел к Яньиму, оглядел его и, убедившись, что мальчик жив и здоров, спросил:

— Что с Маснэ? Жива ли она?

Яньим не ответил — он сам ничего не знал.

Тогда Яска спросил девочку:

— Маснэ, ты жива?

Девочка подняла голову.

— Не зна-а-аю ... — Пошатываясь, она поднялась на ноги.

Яска обрадовался, схватил ее на руки и — бегом к избушке. Отошли, оттаяли детские сердца от страха. Они, смеясь, рассказывали, как все было.

Вскоре к лесовней избушке прибежал Горностайка с окровавленной лапой. Хозяин осмотрел рану, перевязал ее и строго выговорил:

— Ох, наказать бы тебя, Горностайка, за самовольное бегство! Да уж ладно. Спасибо, что детей спас. Ты — умный медвежатник, знаешь, как с медведем справиться. А рана твоя пустяковая — об сучки поцарапал!

Долго потом старшие над детьми подшучивали. Янниму говорили, что медведю хотелось поиграть с ним в прятки. А Маснэ говорили, что хозяину кедровника очень понравилось ее легкое ситцевое платье. Летом ему жарко в своей мохнатой шубе, да и покрасоваться хотелось в ситцевом наряде, вот и снял его с тебя, оставил воротник да рукава. Видно, в лесу воротник да рукава не в моде!

## Ленивая девушка

**Ж**или вдова с дочерью у светлого озера. Мать с утра до вечера ловила рыбу, ставила ловушки-черканы на соболей, лис и горностаев. Все делала только для дочери. Промерзшая, уставшая, возвращалась домой и думала: “Хоть бы Ельси чувал истопила да похлебку сварила. Я так устала!”

Но зайдет в домик — очаг не тоplen, дрова не припасены. Мать своими уставшими руками дров занесет, чувал истопит, пищу сварит. Когда все готово, дочь приходит.

— Ельси, милая дочка, тоже, наверное, есть хочешь? Садись, поужинаем!

— Я сегодня у бабушки Лыкерьи два раза ела.

— Ты ей помогла чем-нибудь?

— Нет. Ты, мама, помогаешь, еще и я должна помогать!

— Но я — это я, — отвечала мать. — А тебе стыдно не помочь.

— Что ей помогать — она ведь нам не родня.

— А когда ты, доченька, совсем маленькая была, я приносила к ней тебя, просила понянчиться до моего прихода. Она никогда не говорила, что мы ей не родня.

Настанет лето, Ельси нарвет цветов, сплетет венок и ходит красуется.



Мать скажет:

— Зачем, доченька, цветы переводишь на мусор? На груди матери-земли они бы дольше радовали людей.

Дочь ответит:

— Ты их не сеяла и нечего жалеть.

Наступит осень, Ельси наберет ягод шиповника и рябины, низаает их на лосиные жилки, обовьет шею и радуется. Только воспламенятся яркими цветами деревья, она наберет листьев березы и осины, нашьет из них узоры на платье и ходит от одного дымокура к другому. Сегодня нашьет — покрасуется, а наутро листья засохнут, свернутся. Она срежет сухие листья и новые нашьет.

Женщины ее спрашивают:

— Ельси, тебе не лень узоры шить на один день?

Ельси нагрубит, повернется и пойдет к третьему дымокуру. А вслед ей летят слова:

— Наша нарядница не меняется, во что попало наряжается.

Другие советуют ей:

— Ельси, чем себя украшать листьями, не лучше ли украсить свою речь добрыми, красивыми словами?

Она придет домой, а мать уже и с охоты пришла, и чувал истопила, и пищу приготовила, и поела, и посуду помыла, и отдохнуть прилегла.

— Ты что, уже поела и меня не дождалась? — спросит Ельси.

Мать отвечает:

— Работающим обед на столе, а гуляющим на столбе. Ах ты, дочь, дочь, где проводишь день и где встречаешь ночь? Входишь в свой дом и не известно, к кому обращаешься.

— Тебе что, жалко места? Я могу уйти!

— А тебя и так все равно что нет!

Настала осень, похолодало. Мать, уставшая, вернулась, у порога запнулась, видит — шубки дочери валяются на полу.

— Это что еще за новость? Почему твои шубки на полу?

— Я больше их носить не буду, они уже намозолили глаза соседям. Мне шей белую горностаевую шубу, а по подолу выложи узор из горностаевых черных хвостиков.

— Нет, я уже старая стала. Глаза совсем не видят, а горностаевых шкурок много надо. Хочешь шубу, пойдем со мной на озеро, я научу тебя ловить горностаев.

— Ты не добрая мать! Я уйду от тебя, буду жить в лесу со зверями! — заплакала Ельси и выбежала на улицу.



Мать хотела вернуть дочь, но не смогла подняться от усталости. Побежала Ельси в лес, а навстречу ей злой Комполэн. Он обернулся в старичка и спросил:

— Почему, внучка, плачешь?

— Мне мать не хочет шить узорную белую шубку!

— Стоит ли так плакать из-за какой-то шубки! Пойдем со мной, у меня их много.

Пришли они в болотное царство к Комполэну. Он вынес налимью шубку с белым лебяжьим мехом.

— Нет, не хочу такую! — отказалась Ельси.

— Вот, вот, внученька, самая белая, как первый снег! — он подал ей белую шубку.

Обрадовалась девушка.

— Такую хочу! — она быстро надела шубку, выбежала, но куда ни пойдет, не найдет тропы к дому матери. Ходила-ходила, так и не нашла дорогу домой. А свободная шуба стала тесной, сжала тело девушки.

Подошла Ельси к шучьему озеру, посмотрела на свое отражение в воде.

— Ой, ой, да это никакая не белая, а черно-серая шуба, похожая на росомашью! — Она начала снимать ее, но шуба вросла в тело.

Заплакала Ельси.

— Как я вернусь домой в росомашьей шубе? Дети будут бояться меня да и взрослые будут дразнить. Они и без того ленивых и не ловких женщин называют росомахами. Нет, лучше останусь здесь, в лесу.

Залезла Ельси под широкие лапы пихты, свернулась голодным щенком и уснула.

Так до сих пор и живет в лесу. Увидит людей — убежит в мелко-лесье. Спрячется и тихо лежит.



Николай  
СМИРНОВ



## ХОЗЯЙКА ПОНИЗОВЬЯ

### Очерк

**СМИРНОВ** Николай Павлович родился в 1937 году.

Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета.

Работал журналистом, строителем железной дороги Тюмень-Сургут-Нижневартовск, бурильщиком на Самотлоре.

Автор многих книг прозы и стихов, в их числе "Маки в сердце" (1964), "Было на Самотлоре" (1982), "Глубинные горизонты" (1990), "Открытки из Лукоморья" (1995). Рассказы переводились на болгарский и литовский языки.

Член Союза писателей России с 1992 года.

В Ханты-Мансийском автономном округе — с 1970 года. Живет в Нижневартовске, работает инженером в нефтегазодобывающем управлении "Нижневартовскнефть".

**Велика Югория!** Крошечными островками рассеялись по ней стоянки ханты и манси, лесных ненцев. Кто где, кто как прилепились у воды, чаще малой, укромной. Вода им — средство пропитания, она же — дорога. Промысловики по рыбе и зверю аборигены отменные.

Нефтяная эйфория шестидесятых налетела ураганом, накатила сокрушающим чугуном валом, разворошила, смяла, потоптала, перепутала, лишив коренных жителей исконных угодий и занятий, оставив многих не у дел. Самые бывалые, и те растерялись. Нет прежних национальных колхозов, коопзверопромхозов, негде промыслять рыбу и зверя. Что делать, чем жить? Негде и не к чему приложить руки, вековую сноровку.

К нефти пристали единицы. Всюду они, эти “единицы”, чувствовали себя неуютно, стесненно как-то. Драмой обернулось для них обращение в “покорителей” своего же края. Корни мало-помалу отмирают, а новая действительность не рождает светлых образов, несет разрушение и опустошение, повергает души в смятение. И все же легендой представляются истории дня. Соединяя давность с былью, получаю сказы о великих народностях. Выстраиваясь один к одному, они зовут другие, зовут иных персонажей, проявляя их доселе неведомые широкому читателю духовные и материальные связи.

Человеческая судьба — крупинка, но в ней заключено все человечество, боль, горечь, надежды, страдания. Страданий почему-то всегда больше, чем радостей. Жизнь! Жизнь! Вечная, неповторимая!

... Разъезд С. строящейся к нефтяному Самотлору стальной магистрали — лишь затерянная в лесах крохотная маковинка в непосредственной близости от месторождения богатыря, возле исконно хантыйской реки Вах. Впервые оказавшись здесь, отправился к невзрачным бревенчатым избушкам на излучине извилистой, темноводной речки, по поводу которой местный стихослагатель восклицал:



*“Опять похолодали вечера,  
Пахнет в лицо река осенней сказкой.  
Еще вчера фиалка отцвела,  
А жизнь течет без чуда и прикраски.  
Резвится город стрелками дорог,  
Манящими огнями новостроек.  
Лишь только я под звездами продрог  
И не жалею о разлуке скорой”.*

Не чудо ли? Ему, привыкшему к десантам на трассах, палаткам и продувным щелеватым баракам, сие не в диковинку: этот приток Ваха, нефтяной богатырь Самотлор, их окресты. Я же постучался в избенку на берегу с волнением, осторожно толкнул подавшуюся дверь и очутился в весьма просторном помещении без прихожей, без традиционных русских сеней. Ничем не примечательный парень, сидя на чурбаке-кругляше, латал кирзовый сапог. Глаза простодушные, открытые, темней ельника на другом берегу, словно сама таежность поселилась в них. Миляга да и только, расположил с первого взгляда.

— Микуль Прасин, — назвался неожиданно весело. — Живу вот один, как перст. Отец умер, а мать, овдовев, перебралась на центральную усадьбу совхоза. Дел тут никаких, звероферму закрыли с приходом строителей, а она неумомная. Все бы ей хлопотать, действовать, наводить порядки.

Голые, непромазанные в пазах стены, небеленые. Кроме стола и грубо сколоченной широкой кровати да сундука у порога обстановки никакой. Шаром покати. На гвозде возле двери висела брезентовка, плексигласовая каска салатного цвета рядом. Сувенир? Микуль, заметив мое недоумение, пояснил, что оформился лесорубом к трассовикам: зверя распугали, радение к промыслу утасло. (Он так и выразился: “радение”).

Достал из подполья ружье. В сырости и затхлости оно заржавело. Это у лесовика-то, для которого тайга — мать родная!

— Верно, не чишу, — остался невозмутимым Микуль, — но Изот сосед шибко питыханит, дорогу не строит и зверя не промышляет. Как звероферму распотрошили, захандрил он, шибко буйный стал. Пьяный натворит беды. Пьяный человек дурак, не ведает, что творит. Испортился от безделья, к строителям не приспособился и от своих отбил. Где-то он посередине, а какой середине — не уразумею. Мается. Отдам, пожалуй, одностволку Изоту, а ты приходи завтра к прорабке, сгоняем на трассу. На трассе мне, однако, худо.

Во мне пятьдесят три килограмма живого веса, не под силу кряжи. Но жить как-то надо, на одежду, обувку, на кое-что другое. Большой тарарам в тайге теперь, душа у нас, хантов, у всех сдвинутая куда-то, и сами мы сдвинутые на обочину этой просеки. Не хозяева становий.

Наутро в назначенный час я был у прорабской, где собирались бригады. В людской толчее и мелькании брезентовок едва отыскал Микюля. Словно виноватаясь, он улыбнулся застенчиво и, показавшись, с тоской посмотрел на плотный, как стена, заречный ельник.

На следующий день к прорабской он не явился вовсе. Пропал.

— Не знаю, где, — чертыхнулся на мой вопрос обстоятельный суровый бригадир Молчан, досадливо кивнув на часы, — а дело такое — семеро одного не ждут.

Молчан после армии копил на машину, хотел, по его собственному признанию, стать мультимиллионером следующим образом. Купив автомобиль, вернется на родину в Новороссийск и займется частным извозом. Его рыженькая юная жenuшка заведомо диктовала: каждый вечер после работы дополнительно приносить по червонцу. Южане-приезжане хорошо дают на чай: по таксе и сверх того.

Рыженькую подогревал ее отец — плотник. Мясистый, вяловатый, с несоразмерным комплекции тонким голосом, любивший порассуждать на темы нищеты и богатства. За время трасс и прочих ударных новостроек он скопил что-то тысяч сто, зарплату и “левые” рубли переводил на сберкнижку. Скромненько перебивался с супругой на годовые проценты со вкладов. Молодоженов благами не баловал: сами с руками и головами. Хотите жить — умеете вертеться. На чужой каравай рот не разевайте. Так их прижимистый плотник воспитывал.

Однажды после очередного отказа тестя во взносе на покупку заветной “Лады” Молчан обозвал его Фараоном, слегка даже поколотил, что, впрочем, не помешало им сохранить родственный союз и общность устремлений. Но в отличие от папы-два Молчан предпочитал пускать деньги в оборот, капиталами делал капиталы. Предприимчивый, он приторговывал водкой, ссужал деньги в долг под проценты. В общем, еще до перестройки-перекройки, когда о частном предпринимательстве не смели и заикаться вслух, лишь делали к нему первые разведочные шажки, Молчан не терялся.

Так вот, вчерашний предприимчивый сержант мотопехотных

войск посеял в душе тревогу за Микуля: где он, простодушное дитя Севера? Что с ним? Как бы не отчислили. Такие церемониться не станут, в бригаде каждый человек на виду, получает из общего котла, и батрачить из благородных побуждений даже на ханта не будет.

Обеспокоенный, отправился напрямиком через кладбище, тоже хантское, полузаброшенное, — в несколько затравенельх могил, осевших, без ограждений, с продырявленными котелками, останками иной утвари, полуистлевшими тряпками, ружьями без прикладов, со сбитыми бойками — отслужили свое. По мнению аборигенов, покойному на том свете требуется самое необходимое из еды, одежды, орудий лова и промысла. Даже иногда забивают в жертву оленя.

Дверь избенки приперта знакомым чурбаком, служившим хозяину табуретом-сиденьем. Значит, где-то неподалеку Микуль. Где же? Не видно Прасина.

— В кедровнике, однако, — предположил спозаранку подгулявший Изот, бесцельно слонявшийся с микулевой дареной одностволкой по берегу, именуемом “третьей излучиной”. — Скоро, однако, будет, кедровник близко за речкой.

Ему хотелось поговорить, излить душу. Мне хотелось разыскать Микуля.

В самом деле, он вскоре появился с двумя уемистыми холстяными кулями, вытряхнул из них на пол полновесные шишки и — тем же манером на обласке за реку.

— Шибко урожай на шишку хороший, просека подождет, однако.

К вечеру завалил избенку под окна. Высохшие шишки размолот, провеял на ветру от половы-чешуи, ссыпал орехи в те же кули и — в рейс. Сообщение с Тюменью только вертолетное. Микуль договорился с экипажем “Ми”, забросил мешки в порожнее гулкое нутро машины, и унес его винтокрылый в град на Туре, за тысячу верст от разъезда С. На рынок ли, в кооперацию ли подался Прасин, не ведаю, только пренебрег он дисциплиной, соцсоревнованием и прочими доперестроечными атрибутами коммунистического труда. А бригада на Доске почета, в лидерах, стало быть. Как же так, из-за Прасина терять престиж?! Вначале возмущенные молчановцы хотели уволить Микуля по статье за прогулы, но, смягчившись, простили. Сам вчерашний сержант из Новороссийска вступился: малая-де народность! Дикий человеке! Что взять с него? Свои прогуливают не меньше.

Смею возразить, “дикий” превосходно знал литературу, особенно хорошо знал своих национальных авторов. При первой встрече вогнал в краску стыда меня, назвавшегося писателем. Принялся он дотошно пытаться, что написал, нельзя ли прочитать. Он читал Шесталова, Тарханова, Рытхэу, Ледкова, читал Истомина и Лапцуя, хотел сравнить их творчество с моим. “Моего творчества” тогда еще кот наплакал. Я, сотворивший лишь столбовые очерки о тех же “покорителях”-романтиках, смутился. Не понимал еще по молодости, что несет Югре “покорительство”, поддавшись всеобщей эйфории, подобно многим, восторгался “открытием века”, сопутствующим ему вторжению в девственный мир.

Кое-как я вывернулся, замял о себе, распространившись о других писателях-северянах, из которых лично знал Истомина и Лапцуя, особенно близко знал Шесталова, до переезда в Ленинград жившего у нас в Тюмени на улице Республики. Хорошо знал его жену Лилию и детей. Микуль вполне удовольствовался и этим, с неподдельным интересом вникал в подробности жизни певцов Севера. Все ему было важно и значимо. Так что для меня “дикий человек” с тех пор не был уже диким, скорее, наоборот: я сам в чем-то осознал свою неполноценность перед Микулем. Получил, что называется, урок впрок. Получили впоследствии и молчановцы, относившиеся к Прасину предупредительно-иронично.

После недолгих дебатов по поводу самовольной отлучки на торги в Тюмень решили послать Микуля на курсы механизаторов. Он не отказался. Страшновато как-то, непривычно с железом, а все же согласился. Укатил в Воронеж, как будто в Тюмени или самом стройпоезде невозможно было организовать подобные курсы. В Тюмени у строителей управление, чего бы проще при нем создать учебно-курсовой комбинат. Впрочем, комбинат, возможно, и был, но вот механизаторских курсов для Микуля в ту пору не нашлось. Худа без добра нет: для Микуля вояж в неведомый доселе Воронеж увенчался отменным событием — женился на бухгалтере Валентине Изосимовой. Русская. Молодайка хоть куда, всем взяла — умом, красотой и статью. С золотым покладистым характером. Он ей в первый северный день показал свою родовую округу — охотничьи тропы и станы, кедровник за рекой, священное озеро Вын без дна. В самом деле, сколько мерили — не домерились. Сколько ныряли смельчаки — не донырялись.



По легенде, в нем прятался от справедливого Торума озорник Пырнэ, изошренный на всякие лешачьи проказы. Убегает лешак в подземелье к царю мертвых одному ему известными ходами, лазейками, а в затишье, когда старик на облаке спит-почивает, лешак возвращается наверх — в мир живых — проказить.

Никогда прежде на озере Вын не рыбачили, не купались — грех тяжкий. “Покорители” же распивают на берегу вино, швыряют в воду пустые бутылки, бесцеремонно забрасывают сети, даже пользуются взрывчаткой: столько губят рыбеи молоди!

Не удержался Микуль, посетовал Валентине на многие людские варварства; он приспособился, притерпелся. Изот — нет. Застрелил из одностовки тракториста, во хмелю снесшего бульдозером погребалище своего предка на погосте в редком леске. Вознамерился тот снести весь погост вместе с леском, сравнять с землей безжалостным куском наостренного до блеска металла. Вот тут-то и выграло ретивое у Изота, успокоил механизатора навеки и себе пустил в сердце круглую свинцовую пулю-жакан. Свернулся калачиком в луже собственной крови.

Их рядом с бульдозеристом и закопали в рыжем липком суглинке, оставив безobelиска и креста, без поминовения добрым словом.

Микуля драма миновала, все же после гибели соседа сильно запасмурнел парень, все думал насупленно о чем-то, силится понять случившееся, звал мать переехать в Нижневартовск, который быстро строился, на глазах, как по мановению, становясь городом. Появились в нем пяти- и девятиэтажки, мощенные плитами и залитые асфальтом улицы и даже проспекты.

Молодожены ждали ребенка, и Валентина, готовясь стать матерью, хотела иной — не подорожно-казарменной — жизни. Тосковала по цивилизации, нормальному быту. Избенка же на берегу осела, покосилась на правый угол, вросла в податливую волглую почву. Веяло от крохотного становья нежилью.

## 2

Подростком Николай Павлович Нежданов устроился на Уралмашзавод учеником слесаря. После армии снова вернулся в цех, однако, мечты о геологии увели на Магадан в разведочную экспедицию. С Магадана вынужденно переместился к занедужившей сес-

тре в Новосибирск. Там, напротив, через улицу, собирали крупнопанельное здание.

Попросился к строителям-монтажникам скорее из безотчетного стихийного порыва, чем осмысленно. Впервые услашал немного таинственные, интригующие слова “подряд”, “хозрасчет”, определившие всю его дальнейшую жизнь, выбор профессии.

Многому вразумил Николая Павловича бригадир Володя Марданов, интересный, увлекающийся парень. Умел зажечь словом и делом. К нему тянулись. Уралмашевец же приглянулся Марданову организаторской хваткой — вроде тишком, тишком, а выполнение “пять с плюсом”. Оставил его вместо себя на время защиты институтского диплома.

Тут как раз зашумели о нефти Среднего Приобья, о городе Нефтеюганске, закопершике нефтяного причала в Приобье. О нем даже песни слагали. Володя в бригаду вернулся с дипломом инженера в кармане и твердым решением уехать на Север.

В числе добровольцев и Нежданов. Не стал геологом, так будет обустривать северные просторы. В Нижневартовске, на Самотлоре, создал свою бригаду. К рабочей стезе его добавилась депутатская. Старался освоиться и в новой роли. Привык все делать основательно.

... В городе после вахты он пересел на рейсовый автобус и через пятнадцать минут был уже в общественной приемной на первом этаже горисполкома. Секретарь Галина Александровна заранее поставила графин с водой, придвинула стулья к столу для записавшихся на прием, на видное место положила письма к депутату.

Николай Павлович взял верхнее. Без почтового штемпеля: значит, принес сам адресат. Надорвал конверт, извлек вкосою разливанный листок, на котором крупными, почти печатными буквами было начерчено: “Я, ханты Матрена Прасина, охотница по рыбе и зверю. Пензионно хочу жить в городе. Сын Микуль с женой Валентиной хотят. Надо квартиру!!!”

Она и на прием вошла первой, по-хозяйски уместилась на стуле. Немного словно, стараясь быть точной, рассказала о себе. Была “передовичкой” в колхозе. Колхоз переименовали в совхоз. И в совхозе она осталась “передовичкой”. Сын Микуль “женится на русской бухгалтерше, потянулся в Нижневартовск. Бухгалтерша Валентина тоже потянулась. Валентина больше и потянулась, сбивает на это Микуля”. Матрена, любя обоих, согласна переехать с ними, хотя



знает, что будет тосковать по стойбищу. Так пусть депутат не откажет в помощи.

— Постараюсь, — согласно кивнул Нежданов, все еще державший в руке потертое на сгибах письмо. — Завтра же поговорю с председателем горисполкома. Куда сообщить о результатах, по какому адресу?

— Река Вах, третья излучина в понизовье, где подмыло обрыв. Ну, есть поверху сосны...

— Весьма приблизительно. Лучше подошлите на неделе сына, молодому сподручней добратся.

— Нич-чего, — с некоторой горделивостью заявила Матрена, застегивая кухлянку костяными самовыточенными пуговицами. — Сама приду, я проворная, проворней Микуля на лыжах. А то при скачу на олешках, есть у меня пара ездовых хоров.

— Вот и хорошо, приезжайте. Живу неподалеку, по улице Маршала Жукова. Вечерами почти всегда дома. А если меня вдруг не окажется, примет жена.

Довольная встречей, Матрена направилась к выходу, но от дверей вернулась: решила поделиться своей радостью. Внук у нее есть, сын Микуля. Подрос уже, умеет читать по слогам... Муж ее покойный, Иннокентий Прасин, слыл в понизовье Ваха отменным промысловиком, вместе они за все годы добыли столько пушнины, что ею можно одеть пол-Нижневартовска, и еще останется. Хорошо брали муксуна, шекура, а чебаковую мелочь, окунишек не признавали, никогда не брали в зачет. Иннокентий, было, и председательствовал, командовал рыбоучастком — заметный человек. Имел орден.

Наговорила с хорошим человеком, ушла, осторожно притворив за собой дверь.

Входили еще посетители, объясняли, просили помочь с квартирой, местом в детсад или ясли, с работой. О чем только не просили! Николай Павлович вникал, решал, советовал, выражал мнение, спорил. Завершил прием в восьмом часу. Когда опустела приемная, спохватился, что до сих пор не позвонил домой, набрал номер.

— Как, ты на приеме? — удивилась Надежда Андреевна. — Когда успел?

— Успел. И еще собираюсь... на Самотлор.

— В ночь-то! Хоть бы вспомнил об Анюте, истомилась. Да и я не без того... Успеешь насамотлориться.

В самом деле, пока доберется до моста, считай, еще пара часов долой — ни то не се. Уж лучше с утра туда — всему свой срок и время. Только сейчас ощутил, как сильно устал.

В сквере возле горисполкома призамедлил шаги, полюбовался заснеженными кедрами. В свете неона они отливали неземным сиянием. Красота-то какая!.. Вартовск! Вартовск!.. Сколько связано с тобой радостей и огорчений, то вдохновлял, то наводил на размышления, повергал в грусть. На глазах ты рос, мужал, становясь современным городом...

Дома дочурка Анюта, еще школьница, его позднее солнышко, встретила радостным возгласом: “Па-а-ап!”, бросилась на шею, обвила ручонками. Может быть, и убедил бы жену вернуться потемну на Самотлор, но перед дочуркой спасовал. Анюта пользуется особой привилегией. В конце концов, его присутствие на стройплощадке сейчас не обязательно. Пока что справятся без него: подтащат, подвинут. Главное на стройплощадке — завтра. С рассветом.

— Хорошо, хорошо, Анюточка, никуда не поеду, останусь с тобой. Расскажу сказку. Совсем маленькую сказочку, но поучительную. Я ее в детстве услышал от родителей и запомнил на всю жизнь. Ну, так вот... хотели подружиться кузнечик и улитка. Как ни старались они, все вразлад. Кузнечик стремительный, прямолинейный, рискованый. Не боится пустот и ям на пути. Улитка, наоборот, норovit, где глаже. Пусть длинней, но глаже, безопасней. Солнца улитка избегает, ветра сторонится. Все бы ей дремать в тени.

Терпел, терпел кузнечик, топнул сердито ножкой со шпорой и заявил: “Не получится у нас союза. Уж лучше один буду, зато буду как захочу”. И умчался. Только его и видела улитка. Притча со смыслом, дочка. Все дело в том, улитка ты в жизни или кузнечик, борец или приспособленец — меняешь окраску по обстоятельствам.

Во сне Николаю Павловичу явилась охотница Прасина с луком и стрелами. “Которая стрела точней, депутат? — спросила тенорком жены. — Та, которую посылает твердая рука с тугой до звона тетивы. Я всю жизнь, как стрела...”. Действительно, обратилась стрелой и умчалась наперегонки с ветром. Ни стрелы, ни Матрены. Остался лук, на луке стрела. Пустил ее Нежданов, полетела стрела — есть еще сила. Но есть ли твердость? Сила и твердость не одно и то же. К силе присовокупишь твердость — и будет точность...

Проснулся внезапно, будто от стука в окно. Уже чуть брезжит на востоке. Оконные стекла в диковинных, словно начертанных рез-

дом, узорах инея. Видать, морозно. Каково ребятам там, на площадке? Пора их сменить. Он поднялся с постели и без промедлений отправился на автостанцию.

### 3

Во дворе дома Анюта каталась на коньках. Такие выделявала пируэты, что невольно залюбовался. Увидев отца, она рванулась навстречу, выбив лезвиями стальной крошево льда.

— Па-а-ап! У нас тетя в шкурах! — поспешила сообщить.

— Какая тетя? В каких шкурах? — не понял вначале Николай Павлович и, лишь открыв дверь, услышал глуховато-плавный голос, догадался: Матрена.

— Здравствуй, депутат, — повернулась к нему охотница, в прихожей беседовавшая с Надеждой Андреевной. Она только что с мороза, потирала озябшие руки. Лицо полыхало румянцем. — Я, депутат, насчет квартиры. Микуль с Валентиной торопят.

— Рано еще. Не могу так быстро размотать клубочек в нитку, как в сказке про курочку рябу. Непростой. И в такую даль сумятилась. Надеюсь, не на своих двоих?

— Именно на них, депутат. Зачем маять олешек, если есть лыжи. Ноги пока что резвые, не пожалуюсь.

— И сколько тебе лет, Матрена? — невольно полюбопытствовал Нежданов.

— О, я родилась, когда поднимали флаг в Ларьяке и создавали коммуны. Мой будущий муж тогда рыбачил на Вахе. Старше меня Иннокентий и раньше ушел в мир теней.

— Вот что, Матрена, коли торопят сын с невесткой и ты приспела, оставайся ночевать. Не пушу в ночь на какую-то третью излучину, заплутаешь, замерзнешь. Не дело это — в одиночку через снега и стужу. Устала, поди?

— Ни за что не устала, депутат, всю жизнь резвая, — заершилась охотница. — Спроси: на Вахе Прасину все знают.

— Хорошо, хорошо, верю. Только все равно оставайся. Завтра вместе наведаемся к мэру. Сама все обскажешь ему, а я поддержу.

— Справка есть на Микуля из стройорганизации, — показала измятую бумажку, в которой значилось, что Микуль Иннокентьевич Прасин добросовестный тракторист. Механизм содержит в

порядке. Занимается самообразованием — выписывает журналы и газеты. Имеет домашнюю библиотечку.

Характеризующий Микуля Молчан, видимо, считал, это обстоятельство существенным для представителя малой народности. И Матрена так считала. Дважды упомянула, что читает сын “Россию” и “Правду”, хочет на Самотлор в управление транспорта, к нефтяникам. Жена бухгалтерша хочет. По бухгалтерии шибко башковитая, начисляет зарплату строителям.

— Благие пожелания да сбудутся, но вы раздевайтесь. Надя, — обратился он к жене, — сготовь поесть и чайку госте покруче. С продрога в самый раз.

— Чай — это можно. Пельмени люблю. — Скинув кухлянку, Матрена осталась в свитере и брюках, схваченных у шиколоток тесемками. Свитер из яркой цветастой пряжи, с национальным орнаментом. На ногах оленьи кисты, мягкие, ненадсадливые в ходьбе. Хороша Матрена, в тепле еще больше румяная. Не подумаешь, что ей много лет. Не старуха.

По-свойски прошла на кухню. Там у нее с Надеждой Андреевной завязался разговор о смысле жизни, о тайнствах хантыйских и русских кушаний. Было им, русской и ханты, двум северянкам, просто, легко... Прихлебывали женщины чай вприкуску с рафинадом, угощались пельменями, муксуном, принесенным гостьей, может быть, из последних запасов, и не замечали времени.

Всю жизнь Матрена в движении, на воздухе, откуда взяться полноте и дряблости? Невольно Николай Павлович представил ее в родной стихии — тайге. Не треснет под ногами сучок, не дрогнет задетая локтем ветка, лишь чуть слышно шуршит, оседая под лыжами, наст. Брызнула на кедр вспугнутая белка, затаилась в вершине. Но зоркий глаз Матрены находит ее. Щелчок выстрела — и зверек валится к ногам. Матрена поднимает добычу, встряхивает, оценивая мех, и приторачивает белку к поясу... Повелительница Среднеобья. Мало их таких осталось, ох, мало! Сломались. Истаяли.

Эта — выстояла... Удивительна и неожиданна судьба. Неделю назад даже не подозревал о существовании Прасиной и вот, пожалуйста, у него в доме, тянет нараспев начатый перед этим монолог:

— Тайну велику огласил Ойка, когда в главном селе Ваха подняли красный флаг над сельсоветом и создали коммуны. Власть шамана кончилась, и Ойка сник. Священное место Тай-Так, куда прино-



сили дары духам и посреднику богов — шаману, утратило свою недоступность. Прежде не смели вступать в пещеру под берегом. Ойка собрал там оружие, разную одежду, посуду, другие предметы. А зачем? Одному человеку в жизни мало надо, значит, собрал для людей. Наподобие музея пещера. Ойка уверял, что в ней хоронился от царских догоняльщиков храбрый-храбрый, справедливый-справедливый ненец Ваули Пиетгомин. Будто бы бежал он с арестантского стапа, добрался пешком в Югру, и тайга скрыла героя. Остались ни с чем догоняльщики с ружьями. Давно это было. Ойка слышал от родителя-шамана, а тот от своего. Еще уверял Ойка, что Ваули стал богом, посланным небесами на грешную землю. Тот, кто касался его следов, кто держал в руках лук, стрелы и копье с его насечкой-тамгой, становился фартовым, сопутствовали ему одни удачи. Иногда Ойка показывал оружие и личные вещи Пиетгомина, а его ли — кто ведает на самом деле? Верили, что его, трогали благоговейно руками, гладили, кланялись Торуму и добрым духам. Кланялись и блялись жить правильно, не враждовать и не быть жадными. Жадность, считали, главный из всех пороков.

Спокоен, размерен голос Матрены. Прервется и — снова ручейком про были-небылицы. Так ветер бормочет в космах хвои, задает загадки. Завороженно внимает охотнице Анята, подперев кулачком нухлый подбородок, внимают супруги Неждановы.

— Тосковал, однако, Пиетгомин, томился по моховинам Трехречья... С крутизны обрыва пытался увидеть тундру, уловить ее запахи. Столь сильно было желание, что обернулся чайкой-халеем и на упругих, стремительных крыльях помчался над лесами. До сих пор кружит и криком оповещает, что родимая сторонка всего дороже. Тайга хороша, и ханты приветливы, но тундра неповторимей... Кому тундра, кому тайга. Хуже всего, когда все равно, какая сторонка, чья природа, лишь бы удобнее самому.

Машинально Николай Павлович подцепил вилкой дольку муксуна, отливающего на срезе розовым.

— Но все же, что за музей в пещере? Интересно знать.

— Тиш-ша, — Матрена свела голос до шелеста травы, упреительно сузила глаза, и лицо сделалось плоским, похожим на маску без выражения. — Не для всех. Много плохих людей на Вахе. Им разорить Тай-Так в пустяковину, походя осквернят. Тебе, депутат, покажу. И кладбище наше родовое в Глухарином бору покажу. Без сопровождающего не найдешь.

“Дзинь-бом, дзинь-бом, боом”, — сыплет с веток капель, прожигает, истачивает снег. Ноздреватеет, оседает он.

“Дзинь-бом, дзинь, дзинь”, — строчит тесовой музыкой с крыши.

“В давние-давние времена жили на Сам-глоре добрые, мирные люди, промышляли белку и соболя, росомаху и лося. В согласии жили. Но вот прогневался на них злой болотный дух Ян-Вон-Сам за то, что видят они солнце и чувствуют ветры, а болотный дух томится в пучине среди увядших растений. Напустил гнилого дурмана и уморил всех. Уцелела на Сам-глоре одна-единственная женщина Сильга, красоты неопикуемой. Указало ей путь солнце. Отправилась Сильга по световым бликам и пришла на Вах, поселилась здесь в цветущих черемухах. Спустилось к ней в черемухи солнце-бог в женском обличье, полюбилось с Сильгой, и родились сын и дочь, и еще сын и дочь. Явились от них светлые и с темнинкой в очах да волосах люди — ваховские ханты. Душой чистые, незамутненные, как родниковая вода. Обманывали их, доверчивых, хлад и мор преследовали. Тьма воцарялась, менялись власти, но ханты сносили все. Новых северян снести трудней, перед ними бессильны даже боги”.

“Дзинь-бом, дзинь-бом, бом, боом...”

Матрена не сразу сообразила, где она и что с ней. Проснувшись, лежала тихо, чтобы не разбудить хозяев. “Дзинь-бом, дзинь”, — это срывается из крана вода, а померещилась весенняя капель...

Прежде шаман их рода проповедовал недоверие к чужим, она с детства затвердила его внушения с ударами бубна и заклинаниями. Ойка всегда грозил, устрашал духами, хотел держать людей в трепете, а тут она ночует у депутата, ей с сыном и невесткой обещаю квартиру в городе у Сам-глора, возле главной реки Югры — Оби. У Нежданова хорошая жена, варит вкусные супы, стряпает вкусные пельмени. Искусница-вязальщица. В квартире на стене лес с оленями, пол из деревянной гладкой плитки, паркетом называемой, цветной телевизор-ящик со стеклом, в котором бегают живые картинки.

Она с семьей будет жить, наверное, в такой же, с оленями на стенах. Не все покорители плохие. Нежданов не плохой.





Матрена смотрит в темноту, чутким ухом ловит дыхание Аниюты, размышляет. Сильно изменилась жизнь в Югре, ее не остановишь. Нет и в помине Ойки, легенду-сказку отца досказывают русские пришельцы, досказывал ханты с Томского Васюганья буровой мастер Григорий Иванович Норкин. Он открыл Сам-глюр, рассекретил клады Ян-Вон-Сама. Еще шестнадцать его запасников указал людям Григория Ивановича, однако, мало замечали, награждали больше русских, татар, башкир, сверх меры славили южного человека с длинным, как река, именем. Григорий Иванович, наверное, обижался на пенсии в Тюмени, много пил и скоро успокоился на погребалище за городом. Ему на могилу воткнули какую-то деревяшку с портретом и звездой на верхушке. Зачем это ханты с Васюганья? Мается душа Григория без надмогильного домика для даров и бесед с живыми.

Не называли Норкина Героем, многих назвали, а его нет. Тоже плохо. Обижался Григорий, гасил обиду водкой.

Жаль ей Норкина, справный, основательный был, толково рыбачил с Иннокентием, толково служил в армии. Безошибочно протыкал железной иглой с долотом на конце Старуху-Землю, делал ей больно, и в отместку потерял себя из-за бродяжничества, спился в большом городе Тюмени. Эх-ма: На то ли совершали революцию, вешали красную тряпку над сельсоветом и создавали коммуны, чтобы лесным и тундровым людям стало худо, чтоб спивались они, теряли себя. Что-то напутали, недосмотрели революционеры и их последователи.

Норкин заслуживал книг и живых говорящих картинок-кино, заслуживал Героя, но уже сейчас кто знает его? Не помнят в Васюганье мастера железной иглы с долотом на конце, забыли свои и чужие. Васюганье! Васюганье! Есть там селькупы с голубыми глазами, есть свои музыканты и рукодельницы не хуже Надежды Андреевны, есть рыбные озера. Чего не хватало Григорию? Чего не хватало другим васюганцам и югорцам, ныне наказанным забвением земляков? Жить надо ради своей Земли и успокаиваться навечно в ней, с чистой совестью.

Земля все чувствует, понимает. Заблудших наказывает жестоко. Ян-Вон-Сам, когда его сильно ударил по хребтине железной мутовкой Григорий Иванович, со злости плюнул черной горючей жидкостью и испустил дух Лил. Дух этот — газ, что сгорает без пользы на факелах или является в квартиры голубым пламенем.

Наверх по скважинам устремляется черная горячая жидкость. Ей радуются пришельцы больше, чем солнцу в небе, всей красоте Югры и Васюганья. Найдя новые клады Ян-Вон-Сама, пляшут и плачут от радости, мажут друг друга нефтью, шлют телеграфные знаки в Москву и Тюмень, сообщают всему миру. А хантам нефть вроде ни к чему, ни к чему газ. Лишились они воды и земли, тишины и размеренности. Всего заповедного.

Хотела вслух запеть о том, что по небу летают железные птицы, по воде плавают железные лодки. Среди пришельцев есть все же друзья — совестливые лехсы, такие, как Нежданов и его жена. Эти иные, не захватчики и надругатели.

Вспомнила, что не дома, и не запела. Пососала пустую холодную трубку, встала. Вскоре поднялись и хозяева, Анюта. Позавтракали, и Матрена с Николаем Павловичем отправились в горисполком.

— Пусть напишет заявление, — попросил председатель, выслушав Нежданова. — Документы присовокупит, какие положено: сколько и где работали, чем и когда поощрялись, если, конечно, поощрялись. Соответственно мать и сын. Чтобы у меня были основания перед исполкомом на квартиру.

“Председатель прав, — рассудила про себя Матрена, — ханты тоже бывают всякие, есть которые питьханят, лодырничают. Пьяные дерутся. Ей с Микулем не стыдно перед председателем и депутатом”.

— Но я худо пишу, — достала трубочку Матрена, стукнула ею о торец стола, словно вытряхивая пепел. — Микуль составит.

— Пусть так, невелика разница, — согласился мэр. — Напишет заявление и соберет документы. Квартиру выделим по возможности в районе новостроек.

Матрена восприняла все это с достоинством человека, близкого к природе, живущего в согласии с ней, поднялась со стула, посчитав разговор законченным. Встал и Нежданов. Вышли вместе.

— На Вах с Самотлора ходят машины за бетоном, у нас там растворный узел, подбросят, — сказал Николай Павлович. — Зачем понапрасну маять ноги.

И то ли судьбы соизволенье — знакомый “татрист” приглашающим жестом распахнул дверку кабины. Помчал с ветерком. “Самтлор! Сам-тлор!..”

От берега до берега не окинешь взглядом, водились в нем пудовые шуки, караси с рукавицу. Вон там, за полоской сосенок, в бурю



Металли лодочку-калданку, перехлестывали через борта. Как раз девчонкой Матрена плыла через буруны-завихрения и вольно, на весь окрест напевала:

*"Бушует озеро, ой-ей,  
испуганные гагары прячутся от шторма, ой-ей,  
а я, Матрена Прасина, с древней реки Вах,  
не боюсь бури, плыву себе, ой-ей!  
Хорошо, когда есть большая вода озера,  
на воде эмтора ветер, и лодочка-калданка  
несет в лучшую жизнь.  
Поешь и радуешься ты".*

Новые люди назвали озеро Мертвым. Назвав, постарались сделать таким не только Сам-тлор, а другие эмторы, реки и пасолы. Сам-тлор даже пытались осушить, рыли специальные каналы. Озеро не поддалось, а только обмелело, сузилось в окоеме.

Испятнанные нефтью или вовсе залитые ею, почернелые клюквенники, истерзанные машинами и топором, пожарами гривы-холмы... Кровоточит израненная Земля-Старуха, стоном стонет, вопиет о спасении. В глазах у Старухи тоска и скорбь, непереносимое страдание. Усохла будто, скукожилась она, утратила мощь и удалство. Гибнет Югория, остаются от нее лишь легенды, и те забываются вместе с отходящими в мир теней остяками.

Матрена помнила эти места безлюдными. Они с отцом выбирались на Сам-тлор за голубикой и морошкой, справляли слопцы на глухарей и куропаток, доверчиво-любопытных птиц ловили и силками. А однажды отец завалил косолапого и устроил всем сам-тлорцам праздник Медвежьей Головы. Красивое, увлекательное зрелище. Кто изображал зверя и птицу, кто обращался к Голове на поминальном столике, словно к усопшему родственнику. Медведь — это предок, явившийся в гости.

Его нельзя обидеть. Надо угостить хорошо, спеть и сплясать ему. Показать во всем уважение. Где то время? Нет и отца, оба с Инноцентием в Глухарином бору. Прости, Земля-Старуха, не уберегла тебя. Виновата...

Дорога твердая, из плит, нескончаема по болотам и гривам, как рака притоки, пускает в стороны к буровым, дожимным насосным станциям и кустам скважин отростки. Бетонкой зовется. Колеса на ней подсакивают, как на камне, сильно трясет в кабине, — непри-

вычно ей. И хозяин Сам-тлора не шаман Ойка, а депутат Нежданов. Этот без заклинаний и бубна владеет большой силой. К нему обращаются многие, видела на приеме в исполкоме. Его слушается председатель города. Нежданов строит на Сам-тлоре диковинные сооружения с бочками для нефти, сияющими, как бумаги на столе председателя города.

При шамане Ойке знали про верховного владыку Торума, про духов тайги и воды, о нефти не знали. Теперь о ней среди хантов наслышаны от мала до велика, любой мальчишка растолкует про буровиков, как они сокрушают царства Ян-Вон-Сама. Повзрослев, уходят к добычкам “черного золота”. Вот и Микуля поманило, не хочет промышлять зверя, не хочет оставаться на третьей излучине. О, времена! Портится народ кантага-ях, рассыпается, — вздохнула охотница, пригорюнилась на мгновение, да не привыкла долго унывать.

С интересом присматривалась к площадке, где штангами взметнулись столбы для электричества, “татры” сыпали песок, в песок били сваи, похожие на тупоочиненные карандаши. Нежданов, невысокий, плотный, чернотой волос и глаз, смуглостью лица смахивающий на ханта, по-хозяйски вторгался в толчею машин и людей.

Матрена обратила внимание на усатого паренька, сколачивающего дощатую опалубку для бетона. Лицо показалось знакомым. Где-то видела.

— Ты кто? — спросила напрямую.

— Юмин, — ответил паренек, тоже внимательно всматриваясь.

— Ханты Владимир Юмин с Малой Оби, из деревни Ванзеват.

— Слышала от Иннокентия про тамошний колхоз “Победа”. Богатый, миллионный, — авторитетно заметила Матрена, раскуривая трубку-носогрейку. Затянулась глубоко дымом. Колечки пусти-ла.

— Был миллионным, да сплыл, — Володя повертел в руках молоток, прислонился к стене опалубки, посасывая ус. — Стали присылать председателей со стороны, им дела нет до колхоза и колхозников. Ханты, что постарше, без дисциплины и строгости пьянствуют — в стражевой лов и охотничий сезон одинаково. Пьяные гробят технику, снасти, браконьерствуют. За бутылку готовы отдать всю добычу. Не ихняя ведь, колхозная. Как везде, как и в русских артелях. Молодежь уезжает, рассеивается. Деревня неперспективная. Дворов сто семьдесят из пятисот осталось. У меня мать пожалова-

дась на руководство, ей же дороже обошлось. Перемен никаких. Как было, так и осталось, если не хуже.

— Плохо, что никаких, — огорчилась Матрена. — Чужих в председатели нельзя, должны быть свои. Чужим ничего не надо.

— Мой отец одно время председательствовал, — все еще играя молотком, живо отозвался Володя. — Участник трех войн. Умер от ран в 68-м. Нас в семье осталось восемь. Все братья и сестры сейчас при деле. Я выучился на монтажника-бетонщика. Бери больше — кидай дальше... Круглое кати, плоское тащи на загорбке... Как получилось? Сестра, детский врач, получила трехкомнатную квартиру в Нижневартовске, пригласила к себе. Приехал, стал искать работу. Вижу — вывеска: молодежно-комсомольское управление. Еще с каким-то ударным обозначением. Раз комсомольско-молодежное, значит, думаю, парней и девчат много, интересно. Завернул в отдел кадров. Приняли без звука. И вот на Самотлоре. Все бы ничего, да скучаю по матери и деревне. Места у нас живописные, живописней сам-тлорских. Что тебе северная Швейцария. Зверья и дичи пока хватает. Но обстоятельства выше...

— Верно, верно, — закивала согласно Матрена, оправляя кухню, из врезного бокового кармашка достала неизменную носогрейку. — Выше. Сын Микуль с невесткой тоже порываются в Нижневартовск, так накажу им беречь хоть здесь наше заповедное. Вся надежда на вас, молодых. Да плохая надежда. В каменных коробках какие ханты? Безликие, пустые, глупые.

Она вдруг почувствовала себя постаревшей: нет уж прежней прыти. Наверное, не надо ей в город, зачахнет среди стен и коридоров. И зачем ей ждать попутчика на Вах, если до реки напрямик подать рукой. Встала на подволоки и ушла в стойбище, прислушиваясь к себе: как руки-ноги, сердце? Не дребезжат ли? Нет, сердце и все остальное в порядке. А все же томит что-то. Может, остаться ей на Вахе? Пусть другие едут в город, ей нельзя далеко от Иннокентия и отца, от Земли-Старухи, скоро самой "переезжать" в Глухариный бор на родовое погребалище-хальмер.

По преданию, прародительница Сильга успокоилась там же рядом с шаманом Ойкой. Успокоились все, кого не заломал без вести медведь-шайтан или не поглотила бесследно вода. Матрена, блюдя обычай, приносит мужу и отцу на могилы дары, чтобы не обижались. И матери приносит. Ей будут приносить сын с невесткой. Будут ли?

Хотела запеть про то, как трагически сгинул, преследуемый милиционерами, старейшина рода, как давно поднимали флаг над сельсоветом в Ларьяке и Корликах, творили всякие глупости, а она все не устает жить. Но не запела, расхотелось отчего-то. Утратилась легкость в мыслях, неясная, непривычная тяжесть давила.

По пути завернула на кладбище, молча постояла у могил. В морозной хрусткой тишине срывалась, текла с ветвей невесомо-струйная, как пряжа на пильцах у искусной вязальщицы Надежды Андреевны, кухта. Дятел-желна бил по стволу крепким носом: тук-тук, и к ногам сеялись желтовато-коричневые трухлявинки, поросили снег, делая его крапчатым.

Матрена стряхнула оцепенение, распрямилась. Живым жить, помня об усопших, что незримо обступили ее. Отчего такие мысли? Или наступил предел и пора собираться к Кынь-Лунгу? Нет, не то, от встреч в городе и на Сам-глоре иначе осознала свою собственную жизнь в Югре и жизнь сородичей. Прежде чего-то недоставало в думах, теперь же вся Югория перед глазами, как на ладони ее опасные перемены.

Она в ответе за происходящее, потому что самая старая женщина Ваха, хозяйка понизовья.

К стойбищу попала через крутизну обрыва, падающего к реке. Уже не стойбище это, вовсе оттеснил, сделал пасынком несколько покосившихся бревенчатых избушек поселок железнодорожников. Обидно за ваховцев, ставших чужими на своей Земле, квартирантами. Веками обживались, привыкали и вдруг — напасть. Некуда от нее укрыться, обступает со всех сторон, сплющивает, подминает. Матрена издавна любила крутосклоны — за то, что с них можно срываться птицей, лететь... Полетела. У-ууух!..

Микуль ждал возле дома, из-под козырька ладони следя за матерью. В отличие от Юмина почти белокур, худощав, курнос. В мать подборист. Он взял Матрену за руку и повел в тепло, держа под мышкой ее лыжи.

— Устала, однако, отдохни.

— Немного притомилась, сынок. Совсем немного.

На стойбище спускалась ночь. В избах и поселке строителей вспыхивало электричество, на этот раз почему-то не обрадовавшее Прану.

Перед большой весенней оттепелью погода счудила: ударил снежный крутой заряд, лишивший видимости. Вихрь бил в глаза, больно слепил, пронизывал насквозь одежду, сгибал сосенки возле стройплощадки, сдвигал и перемещал все посильное его разудалому сволюлю.

Но вот поулегся, погода выдалась на загляденье. И время перед выходными есть свободное, можно будет всей бригадой поупражняться в волейбол. Тут же, неподалеку, соорудили спортплощадку — целый стадион. Но вдруг явилась хмурая охотница, нет в ней прежней живости и доверительности. Так это непохоже на хозяйку Ваха, что Николай Павлович затревожился:

— Что стряслось?

— Микуль сбежал, — пожаловалась охотница.

— Как сбежал? — не понял Николай Павлович. — От жены, что ли? Развод по-хантыйски?

— Не-ет, не то, — поспешно замахала Матрена. — Ни по-хантыйски, ни по-каковски. На глухарей поманило, начальник транспорта ругается, грозит уволить за прогулы. Спасай Микуля, депутат.

— Ты погоди, давай по порядку: на каких глухарей? Зачем они ему?

— Микуль же из леса и от реки, привык слушать весной ток. А дисциплину забыл, транспортное управление — не совхоз, в совхозе все свои, там можно прогуливать, в управлении накажут. Верни, депутат, Микуля.

— Следует вразумить парня. После игры отправимся, пожалуй, на третью излучину. Как квартира?

— Квартира хорошая, спасибо, депутат. И работа у Микуля хорошая — капитан на бульдозере. Денег зарабатывает много. Плохо, что зауросил.

— С этим разберемся, дело поправимое.

На перекладных добрались с Прасиной до реки. Дальше, спрямляя маршрут, малозаметными тропами отправились пешком. На излучине под обрывом, где вода темна и стремительна — стойбище. Матрена потянула на себя дверь одного из бревенчатых сооруже-

ний, дверь легко подалась. Не заперта. Внутри та же деревянная самодельная кровать, стол у окна — тоже самодельный. Больше ничего, пустота. Даже сундука у порога нет, видимо, перекочевал вместе с супругами в город. Без мебели изба казалась просторной.

Зато стены украшены косачиными и глухариными хвостами, чучелами птиц. Микуль на чурбаке у стола ловко метал в рот кедровые орехи и смотрел в окно на крутизну обрыва и заречный ельник. Припухлые губы Микуля в шелухе. Вполне примешь за Ваню из Смоленска или Калуги.

Николай Павлович не стал упрекать, тактично повел разговор издали о житье-бытье, погоде. Микуль без слов достал из-под кровати меченую ржавчиной одностволку, доставшуюся ему после гибели Изота.

— Дарю, депутат. Мне ружье ни к чему: давно не стреляю, отвык. Так что бери даром, — протянул “ижевку”.

— Не стрелок, — отказался Нежданов. — Чего ты, Ерофей-Воробей, забрался сюда? Мать переполошил, меня сдернул в тьмутаракань.

— А-а, — хитровато улыбнулся Микуль, — понимаю. А я думаю, чего это депутат пожаловал? За работу опасается мать, я и сам опасаюсь. А на ток все же схожу. Просит душа, должен сходить. Давай вместе, депутат, ходим. Один раз услышишь — не позабудешь до смерти. Заодно покажем тебе музей в пещере, кладбище.

— Не знаю. Если только обыденкой, — поколебался Николай Павлович. — Время — деньги.

— Хорошо! — как по команде обрадовались оба Прасины — мать и сын. К вечеру загычут мошники, в самый раз и поспеем.

...Углубились в ельник, такой плотный, что в иных местах пробирались на четвереньках. Неожиданно перед ними встал обрыв берега. Не мешкая, Прасин-младший развел нависшие корневища деревьев, перед ними разверзлась пещера Ойки. Микуль зажег фонарь и осветил.

В центре обиталища пучил глаза деревянный, с толстыми губами, идол. Стены увешаны оружием бог весть какой давности. Были тут луки на вбитых в земляные стены вешалах, копья с костяными и металлическими наконечниками, кремневые и шомпольные ружья, скребки, ножи, теса, чумашки с узорами, слопцы, кулемки — уникальное в своем роде собрание.



И — череп мамонта. На луках и стрелах, на древках копий резное изображение мамонта: знак-тамга, свидетельствующий о древности рода. О своем тотеме — травоядном животном, вымершем в пору ледников, пропахавших всю Западную Сибирь вплоть до Алтая. Находили, знать, останки гигантов после оледенения, не однажды находили. Увековечили таким образом.

## 6

**К** кладбищу добirались болотом, полосой препятствия отгородившим хальмер от людских вторжений. Дятел-желна кричал “кви-а, кви-а”, резко, протестующе, как сучья ломал: мол, потревожили не ко времени, и неровным скачущим летом перемешался над рябь березняком и унылым ползучим чапыжником.

С чувством нетерпения выбирается Николай Павлович из болота, и его со всех сторон объедает медвяно-золотистое, призрачное. Льется крепчайший настой озона, серы, скипидара, еще чего-то хмелящего, удивительно взбадривающего. Покой удивительный. Вон векша прыгнула и замерла в развилке, наблюдает с любопытством. Синицы тенькнули. Дятел-желна опять пообижался в отдалении.

Извечно-величавое, первозданное, каким было и столетия назад, — естественный заповедник. И все это заставляло Николая Павловича робеть и настораживаться.

Вон кладбище на сосняковой речине. Бугры могил с дарами. А эти усыпальницы и вовсе ухоженные, богатые. Расшитые затейливым национальным орнаментом оленье кисы, малицы, мужские тканевые рубахи на них, новенький самострел, связки капканов, борцовские и охотничьи пояса. Матрена замерла в немом поклоне, и Нежданов понял: муж и родители похоронены. Их погребалища.

Дай бы Бог так почитать русским, а то ведь забыли, что рано-поздно сами лягут во сыру землю и им будет соответствующее внимание детей и внуков. Обвалятся ограды, забурьянеют усыпальницы. Так во многих случаях и есть. Рассеялись юные кто куда и забыли о последнем приюте породивших их.

У опушки бора петляла тихая, в оторочке черемух, протока. Там, в укроме, развели костер, поужинали копченым муксуном и жареными рябчиками, запили еду чаем с душицей. Вечер опустился неве-

сомо, исподволь сея всюду крапчато-рябые, как болотный березняк, сумерки. Солнце прощально позолотило согорники.

— Пора, — Матрена потушила костер и повела их с Микулем в бор. Вдруг справа, невысоко над головой, раздалось негромкое гортанное “так! так!” Пауза — и снова “так! так!”. Уверенней, чаще, сливаясь в трель “тэ-ке, тэ-ке-трр...”, которая тут же образовалась в нежно-муаровое “чч-чу-вия, чч-чу-вия... тэ-ке-тэ-ке...” В неприятно-зательных шипяще-свистящих наголосах такие силища и удаль — дух захватывает.

— Хозяин, — прошептала Матрена. — Самый главный юромка. Объявляет ток.

И точно: затэкали, заскиркали мошники, наперебой изошряются. Нежным стонущим квохтаньем поддакивают снизу копалухи. К ним на землю с шумом-хлопаньем падают кавалеры, выделявают возле залихватские фортели, широченным веером распуская хвосты. Галантно раскланиваются: мол, вот каковы! Выбирайте! И только главарь терпеливо правит роль дирижера, не вступает в заигрыванья — выше этого. Одно слово: хозяин.

На фоне заката отчетлив.

Под деревом его низким грудным стенанием зовет-манит курица “коок, коок” — и не может дозваться. Зеленошей визирь в перьевой справе важнецки вышагивает на толстом отлогах суку, выгордив и без того крутую бугристую грудь, наструнив шею. На фоне зари, как вычеканенный резцом, обозначен до перышка. С пестринами по брюху. А борода под клопом! Что за борода! Боярская! Охмелевший от весны и тока, ничего не сторожится.

Глухариным игрищам здесь никогда не мешали, и главарь беспечен. Клокочет, как кастаньетами бьет, точенье устраивает ласковенькое, будто направляет ножичек. Да с напором, с напором! В тесном горловом пространстве звуки сшибаются, опережают друг друга.

Плоскоспинная, пыжегато-бурая курица принимается выбирать букашек под ногами или же, обиженная равнодушием хозяина, делает вид, что выбирает, томит неподдающегося мошника стенанием. Не выдержал “дирижер”, сорвался с величавой высоты, где терпеливо правил службу, упал рядом. Из разволнованной груди вместо обычного заключительного аккорда исторглось обрывчатое несвязное — сорвал ноту. Досадливо хлопнул крыльями, мол, загулялись, пора честь знать. Довольно.

Ток стихал.

Тьма запечатала пространство, стерла золотисто-медвяное. Оттоковавшие мошники и подружки-копалухи устраивались на ночлег тут же, в бору, кто среди могил, кто на деревьях.

7

— Вечный круг жизни. Из Земли пришли, в Землю грядем, только не в одно время, — глубокомысленно и, как показалось Николаю Павловичу, обреченно вздохнула Матрена. — Грядем, а жизнь останется. Тем и хороша, что останется навсегда. Жаль, Иннокентий с родителями не дожили, не узнали про перемены... И жаль и не жаль: меньше огорчений... Не увидели, как разрушили Югорию... Уже хорошо, а может, сразились бы насмерть с покорителями края? Кто ведает... Крутые были мужики...

В это время в согорнике прокричали спросонья журавли, словно в хрустальные склянки ударили.

— Это мне, — неестественно звонко вымолвила Матрена. — Слышу... — Приставив рупором ко рту ладони, закурлыкала, вызвав ответный клич с болота.

— Айда, мать, — тронул Матрену за плечо Микуль. — Чего при госте.

— Но ведь зовут. Сдавливают душу тоской и одиночеством. Сгину без вас, Микуль, и с вами в городе не могу. Не мое там. Останусь на третьей излуине.

— Навещать будем. Оставайся.

— Навещайте.

Благополучно за разговором миновали болото и ельник у обрыва.

В избе у Нежданова состоялся разговор с Микулем. Николай Павлович обстоятельно объяснил Прасину-младшему, что такое дисциплина на производстве и как отразится его отсутствие в управлении. Простоем машины, невыполненными работами, задержкой заказчика и штрафными санкциями управлению — лишит премии многих, породит конфликтную ситуацию. Вот чем аукнется коллективу его Глухариный бор.

Убедительно объяснил.

Микуль не проронил ни слова, но утром собрался с Николаем Павловичем в путь. Матрена долго смотрела им вслед. Было в ее

позе такое, что у Николая Павловича больно защемило сердце. Предчувствие не обмануло: вскоре охотница умерла. Ее похоронили рядом с мужем и родителями, с шаманом Ойкой и прародительницей рода Сильгой. Отныне они неразлучны в Глухарином бору, на кладбище, именуемом хальмером.

А поезда по магистрали спешат, спешат и невдомек им, что развалили чьи-то судьбы напополам и, не срастив их, отбросили прочь на обочину.

Судьба охотницы — одна из таких.



**Сергей  
СМЕТАНИН**



*СМЕТАНИН Сергей Егорович родился в 1952 году в Башкирии.*

*Окончил факультет иностранных языков Башкирского государственного университета.*

*Работал инженером по технике безопасности, оператором газового оборудования, редактором в Сургутском книжном издательстве.*

*Автор сборников стихов "Созвездие фар" (1993), "Царство речных хрусталей" (1994).*

*Член Союза писателей России с 1995 года.*

*В Сургуте — с 1976 года. Работает заведующим отделом художественной литературы Северо-Сибирского регионального книжного издательства АИИК "Северный дом".*

\* \* \*

Не прощу ни участия, ни доброго взгляда.  
Никому ничего не вменяю в вину —  
Шар земной, как игрушка из детского сада,  
Где пока еще дети играют в войну.  
А война — не игра, чтоб уйти с середины,  
А на шарике том — и асфальт, и жнивье.  
Посмотри! — он расколот на две половины  
Через самое сердце твое и мое.  
И когда к нам врывается Время с экрана,  
И военная хроника режет глаза,  
Эта трещина дышит, как свежая рана,  
Как затмившая небо ночная гроза.  
Мы отводим глаза, мы находим причины  
Оправдать невоенное наше житье.  
И расходится память на две половины  
Через самое сердце твое и мое.

\* \* \*

Выпал снег с утра на третье,  
На мое тысячелетье.  
Знать, устал, пока парил,  
Словно ангел шестикрыл.

Нежный-нежный, пьяный-пьяный  
Раб судьбы непостоянной,  
Догодался тихо лечь  
На площадку чьих-то плеч.

Он, бродяга, рад стараться  
Никогда не просыпаться.  
Но растает, погляди,  
Только в комнату войди.

\* \* \*

Кому — тюрьма, кому — награда —  
Ничьей судьбы не оскорблю.  
А мне Сибирь такую надо,  
Что с детства знаю и люблю.

Чтоб небо — не окинуть оком!  
Чтоб сердце — не сдержать в груди!  
Чтобы девчонка ненароком  
Мне улыбнулась на пути.

\* \* \*

Прокатились белые ночи  
По просторам сургутских болот.  
У затихшей площадки рабочей  
Колоннада тумана встает.

И в ответ на мое бескорыстье —  
Не беда, что я зритель — один, —  
Опадает в тайге мелколистье  
Золотых и багряных рябин.

А на вымокшем краешке рощи,  
Прихотливой и грустной на вид,  
Сердце бьется по-зимнему проще,  
За прошедшее меньше болит.

Здесь о судьбах ничто не пророчит,  
И приметы знакомые все.  
Только дождик тоску мою точит  
На своем водяном колесе.



Под ногой прогибаются кочки,  
Темно-бурий сочится настой.  
А вокруг — розоватые точки —  
Звезды влажные клюквы густой.

## Помолчим

Мы загнаны жизнью чертовски,  
Но все ж, проповедуя бег,  
Давай поглядим философски  
На то, чем терзается век.  
Давай поглядим без презренья  
На это глухое, как стон,  
Биенье, слиянье, круженье,  
Рожденье и гибель времен.  
Давай поглядим виноватей  
На так подводившее нас  
Рожденье и гибель понятий,  
Движенье названий и фраз.  
И раз уж наделано лишку  
Ошибок на нашем веку,  
Давай-ка дадим передышку  
Хотя б своему языку!





МИХАИЛ  
ЧАЙКОВСКИЙ



## ЗАПАХ ХЛЕБА

**ЧАЙКОВСКИЙ** Михаил Иванович родился в 1949 году в г. Плесецк Архангельской области.

Окончил факультет иностранных языков Днепропетровского государственного пединститута.

Работал школьным учителем, инспектором по делам несовершеннолетних, на стройках Сургута.

Рассказы М. Чайковского печатались в местных газетах, журнале "Югра".

С 1989 года живет в Когалыме. Работает переводчиком на совместном предприятии "Катконефть".

Город был похож на больного, очнувшегося после тяжелой, изнурительной болезни. На безлюдных во время оккупации улицах замелькали робкие, бледные лица обитателей: стариков, женщин, детей, переживших военное лихолетье. Весной появилось множество одичавших, голодных псов, обосновавшихся в руинах.

Весна согнала с земли серый, с черными подпалинами взрывов снег, обнажила отбросы военного времени: хлам, развалины в мрачных пятнах копоти и сажи. Люди, появившиеся из утроб городских кварталов, мрачно гармонировали с уличным пейзажем: измятость одежды сочеталась с безысходностью в глазах, постепенно сменявшейся проблесками надежды.

Город оживал. Уже разбирались завалы в центре, появились цепочки жителей, передающих из рук в руки кирпичи, обломки деревянные и бетонные. Тракторов и машин было мало, изредка мелькали контуженные и тяжелораненные полторки да в районе железнодорожного вокзала и речного порта, бодрясь, покрикивали паровозы — «кукушки».

Все чаще на улицах можно было увидеть колонны пленных немцев. Из самоуверенных, сытых захватчиков они превратились в серых, утративших выправку, небритых и голодных людей, обязанных за сохраненную им жизнь искупать вину изнурительной работой. Они разбирали руины, выносили трупы, неразорвавшиеся авиабомбы и мины. Видимо, они понимали, что это было справедливо по отношению к ним — ведь могли же русские лишить их жизни, уморить голодом, каторжной работой, морозом? Постоянное нервное напряжение наложило отпечаток на лица пленных. Они отличались от других людей одинаковостью серых щек, словно посыпанных цементной пылью, замедленностью движений и настроенностью во взглядах.

Но и среди этих внешне равноправных и равноуниженных людей при внимательном наблюдении можно было разглядеть тех, кто привык быть во главе, повелевать, подчинять своей воле других. Они держались более независимо, сторонились основной массы. В

одной из групп пленных выделялся высокий темноволосый немец лет тридцати, немногословный, с жесткими серыми глазами. В перерывах он отходил в сторону, никогда не просил у прохожих хлеба, а у своих товарищей — окурков. Движения его напоминали повадки сильного, молодого хищника.

Немцев давно уже на работу водил не вооруженный наряд, а один конвоир, чаще всего из пожилых тыловиков. На объекте он усаживался где-нибудь в безветренном солнечном уголке и своих подопечных не подгонял окриками: те прекрасно знали, что от результатов их дневной работы зависит паек. Принцип “кто не работает, тот не ест” срабатывал безотказно, не мог не сработать, так как эта команда была составлена в основном из пленных, имеющих понятие в разминировании, и пайка у них была побольше, чем у других.

## 2

Генрих Шварцман попал в эту команду случайно. По всем законам войны место его было в наспех вырытой траншее, только судьба распорядилась иначе. Генрих верил в нее больше, чем в бога и фюрера: он был эсесовцем, их и в немецких войсках не жаловали, а русские люто ненавидели и не желали брать в плен. Но Шварцману повезло: в тот черный в его жизни день он не был одет в свою любимую форму, не имел при себе документов и, что очень важно, был не ранен, а контужен. Запомнились стремительный прорыв русских танков, грохот взрывов, оседающая стена дома... И тягостное пробуждение со звоном и пустотой в голове. И тишина вокруг. Тишина была неестественной, в ней крылась какая-то опасность... Глаза уперлись в запыленные сапоги — не пехотные немецкие сапоги с широкими короткими голенищами, а русские, солдатские...

Генрих долго симулировал глухоту, потерю памяти, граничащую со слабоумием, и напрасно — никто не собирался отправлять его в госпиталь, где неизбежно обнаружилось бы то, что он скрывал особенно тщательно: небольшую татуировку “СС” и личный номер в левой подмышечной впадине. От одной мысли о разоблачении и неминуемой казни бросало в пот. Он часто видел себя во сне расстрелянным, просыпался от ужаса, но не вскакивал, не кричал, даже не открывал глаз. Когда его, практически здорового, перевели в

лагерь для военнопленных и определили в рабочую команду, страх прошел.

К пленным русские относились по-разному: кто с презрением, кто с ненавистью, а когда немцев погнали от Днепра, меньше стало перепадать туманов и ругательств, и Генрих постепенно успокоился. Но пришла тревога и тоска по дому, по нежно любившей его матери и гордившемуся успешной карьерой сына отцу, по младшему брату, непоседе и баловню, с которым, несмотря на большую разницу в возрасте, они были большими друзьями. Домой он не писал с тех пор, как попал в плен, — опасался, зная по рассказам и слухам, что в Германии русские притесняют семьи пленных, вымогают у родственников деньги и ценные вещи в обмен на обещание облегчить участь узников.

Родной дом... Белый туман дрожит над рекой, розово отражается в нем восходящее солнце, озаряя черепичные крыши домов и шпили кирх; молочницы разносят свой товар по адресам; скрипят, открываясь, ставни на окнах. Из кухни слышится приглушенный звон посуды и подымается дух свежего кофе и гренок...

Все-таки перед войной он поступил правильно. Если бы не стал членом партии, гнить бы ему рядовым в окопах на передовой или безымянным трупом в братской могиле. У "СС" задачи иные, неограниченная власть, даже форма своя, особенная. Но дисциплина прежде всего, безоговорочное и слепое подчинение начальникам, фанатичная вера в фюрера. Генриху нравилось быть живым воплощением идеи о сверхчеловеке, он тешил самолюбие животным страхом перед ним у недочеловеков... Он до сих пор с наслаждением вспоминал, как во Франции, допрашивая коммерсанта Бертьена, поинтересовался: "Мсье, есть сведения, что жена ваша по линии матери еврейка. Это верно?". "Что вы! Ради всех святых, это домыслы моих конкурентов, чистейшая инсинуация!". А через день коммерсант поделился с Генрихом какой-то частью своих доходов. Для доблестных солдат фюрера ничего не жалко! Правда, это не спасло его самого и семью от концлагеря.

В Польше евреи делились своим добром не менее охотно, чем Бертьен, но и им не повезло...

Когда-то, поучая его, совсем еще зеленого сотрудника "СС", шеф и наставник Франц Мейер сказал: "Читал я где-то, что "служба" — от слова "служить". А служить — значит под-чи-нять-ся! Понял? Подчиняться беспрекословно. Это наш закон!"

Генрих придерживался этого принципа всегда и во всем. Привыкнуть к плену нельзя. Сознание того, что ты унижен кровным врагом, лижешь с его руки крохи, собираешь объедки под его столом, иногда приводило Генриха в неистовое бешенство. Но и показать этого нельзя. Нужно всегда помнить, что ему одна дорога из плена — в могилу, как вчерашнему эсесовцу. И он всегда об этом помнил.

### 3

Колонна пленных двигалась к месту работы медленно: зачем спешить туда, где радости не предвидится? При разминировании каждая жилка трясется от страха, а между лопатками в любую погоду течет струйка пота. С приближением к объекту шаги становились все короче, а головы опускались все ниже...

Мальчик был невысок ростом, с чистыми голубыми глазами под козырьком светло-русых волос. Если судить по внешнему виду, он во время оккупации родителей не потерял: одежда на нем была хоть и старая, но чистая, только ботинки худые, со стоптанными каблучками, а правый и вовсе вот-вот развалится. Не торопясь, шагал он вдоль ожившей от людских голосов улице, с любопытством приседая перед полуподвальными окошками и заглядывая в зияющие пустотой дверные проемы. Когда он подходил слишком близко к пленным, конвоиры, конечно, прогоняли его, но чаще просто не обращали внимания — мало ли детей теперь по улицам бродит! Если он попадал на глаза конвоирам во время обеда, то и ему перепадала от них пара ложек каши из котелка или сухарь и кусок сахара, а то и сигарета — другая, на которые можно выменять съестное.

Мальчик часто появлялся среди руин, где работали немцы. Приходил он просто так, подталкивал его к пленным ребячий интерес к чужим людям с непонятной речью.

Генрих заметил мальчика, скользнул по его тоненькой фигурке, по лицу безразличным взглядом и уже было отвернулся, но что-то его остановило, заставило посмотреть еще раз, внимательнее. Он взгляделся и — оцепенел. На него смотрели голубые глаза младшего брата Курта. Смотрели пристально, изучающе, в них отражалось голубое высокое небо.

«Что за наваждение? — подумал Генрих. — Откуда взялся здесь

моему братишке? И как бы он меня нашел? — Он мысленно чертыхнулся. — Раскисаю! Проклятый плен!”

Мальчик сидел спиной к солнечной стороне дома, слегка прищурясь, отщипывал от краюшки хлеба небольшие кусочки, медленно разжевывал их и, как лакомство, посасывая, глотал.

Звяканье ломов и кирок прекратилось: немцы обедали. Мальчику захотелось пить, и он медленно проделал путь к угловому дому, где была колонка, но тут на лицо его легла тень, задержалась на мгновение, и послышался шорох. Мальчик повернул голову и увидел рядом немца — того, что уже попадался ему на глаза и запомнился настороженной отчужденностью. Он сидел рядом и улыбался так, как это получается у не улыбчивых людей. Сказал, ткнув себя пальцем в грудь:

— Хайнрих. Ду?

Ни пленный, ни мальчик не знали языка друг друга, но вскоре завязался разговор, слова в котором дополнялись жестами и мимикой.

Имени немца мальчик запомнить не старался — зачем? Он назвал его “Ваней”, с чем немец не без раздражения согласился. Кверкая русские слова, Генрих спросил:

— Коля, ты имеет отъец и мать?

Вскоре они знали кое-что о семьях друг друга, рассказывали и о себе. Мальчика почему-то не коробило то, что он разговаривает с немцем так дружелюбно и открыто: ему было слишком мало лет, когда началась война. Его отец, машинист паровоза, был арестован с приходом немцев, но вскоре освобожден и оставлен машинистом на том же паровозе. Он иногда выпивал, стучал себя кулаком в грудь:

— Я не изменник! У меня семья! На кого их бросишь? И куда идти? Ух, жизнь проклятая!

Просыпаясь, лил на голову холодную воду, не завтракая, жевал, кривясь и сплевывая, лук — немцы не терпели перегара — и шел на работу.

#### 4

У мальчика не было друзей. Он привык к одиночеству. Тем привлекательнее стали для него пленные: безмолвные, ко всему безразличные люди. Они не ругались, ни о чем не спрашивали, лишь



иногда, при встрече, мальчик ловил на себе их взгляды, необъяснимо печалившие его.

Еще вчера он испытывал угрызения совести за то, что не сдержался, отломил пленному немцу, вчерашнему оккупанту, кусок от своей горбушки, а тот, поколебавшись, взял. И не съел сразу, хотя видно было, что голоден, а спрятал. "Видно, для друзей", — подумал мальчик. Он ошибался. Генрих всю пищу съедал один: ему очень нужны сила и здоровье, чтобы возвратиться домой. Терпеть осталось, говорят, недолго: пленных обменивали, он за проволокой давно и на хорошем счету.

Они — мальчик и Генрих — сидели под стеной и улыбались друг другу. Немец наслаждался дымом сигареты, которой угостил его новый знакомый.

— Откуда сигаретта, Коля? — спросил он и по тому, как густо мальчик покраснел, понял, что сигареты тот стащил у отца.

— Ладно, — Генрих порылся в кармане пыльного френча и осторожно вытянул оттуда пакетик в газетной обертке, развернул его. Это был брусочек мыла размером со спичечный коробок.

— На, дашь маме.

Мальчик знал, что это подарок ценный.

Они виделись все чаще, между ними возникло взаимопонимание, какое бывает между людьми, связанными чем-то общим. Мальчик мог узнать Генриха в многолюдной колонне, а тот издали улыбался ему, приветственно махал рукой.

В их привязанности было что-то от мальчишеской дружбы с ее радостями и огорчениями. Огорчений — больше. В том районе города жили люди, работавшие в депо, на железнодорожной станции, знавшие друг друга, и кто-то из знакомых сообщил отцу мальчика о его странной дружбе с высоким немцем. Отец дома подозревал мальчика:

— Коля, поди-ка сюда. Это что за фриц, вокруг которого ты вьешься? Мне люди уши прожужжали этим фашистом. Гляди, выдеру! — пальцы отца крепко сжали плечо.

— Па, он хороший, добрый и вовсе не фашист. Он несчастный и грустный.

— Так ты ему, чтобы развеселить, отцовские сигареты да сахар таскаешь? Хлеб носишь? Не смей дома воровать! Все. Больше к немцам ни шагу. Будешь дома сидеть.

Но отцу на работу надо, а у матери хлопот полон рот, от нее

улизнуть просто, только надо пообещать сходить за водой, в очереди постоять, дров принести.

Ваня, как называл Генриха мальчик, на ломаном русском языке рассказывал о странах, людях, их жизни и обычаях, находил нужные слова в своем скудном лексиконе. Но ему проще было показывать приемы борьбы, гимнастические упражнения. Рассказчиком и тренером он был азартным, мальчик все больше привязывался к нему, продолжал приносить из дома еду и сигареты.

После очередной поездки отец неделю пробыл дома и держал сына чуть ли не под замком. Мальчик с тоской думал о своем друге: "Как он там? Скучает ли?"

И однажды утром, прихватив с кухонного стола кусок плохо испеченного хлеба — свою дневную долю, помчался к руинам, где обычно работали пленные немцы.

## 5

Утром в лагере военнопленных не было общего подъема, не суетились старшие барачков. Охрану — разношерстных нестроевых солдат — сменили автоматчики в форме НКВД.

Полуторки и "студебекеры" завезли в склады продукты и одежду. Молниеносно разнеслись по барачкам слухи о ликвидации лагеря: мол, русские готовятся эвакуироваться, а лагерь вместе с пленными взорвут — взрывчаткой в ящиках под видом консервов склады набили. В этот слух верили, так как знали, что соотечественники часто поступали таким образом в своих лагерях.

Режим в лагере не был жестким, пленные свободно ходили из барака в барак. Все они были удивлены тем, что ни один пленный не отправлен на работу, что кормят их сегодня лучше, чем обычно, охрану лагеря и администрацию сменили молодые солдаты и офицеры в непривычной форме, розовощекие и добротнo одетые.

Пленные собирались небольшими группками, взволнованные, обсуждали происходящее, строили самые невероятные предположения.

После обеда ситуация прояснилась. Пленных построили и представили им новое начальство. С едва сдерживаемым ликованием немцы услышали сообщение о том, что прежняя охрана заменена кадровыми "энкаведистами" с одной целью: в целости и сохран-



ности доставить пленных в один из пограничных городов, где передать их военной комендатуре для препровождения в Германию.

Вторая половина дня была посвящена приятным хлопотам: немцы мылись в бане, брились, стриглись, стирали и штопали нижнее белье, затем получали на складах не новое, но целое, прожаренное обмундирование без погон и нашивок и даже обувь — сапоги с широкими и короткими голенищами. У некоторых имелся свой, весьма скудный, а потому особо ценимый вещевой запас.

Без инструментов, с вещевыми мешками и в свежей одежде вид пленных преобразился: головы подымались выше, шаг становился тверже, колонна приобрела очертания военного строя.

Немцы не знали и не могли знать, что переодевание, обеспечение сухим пайком, напутственное слово комиссара — всего лишь фарс, и ждет их не радостная дорога домой, а долгий и утомительный путь за Урал, изнурительный труд и скудный харч, годы искупления вины, что далеко не все они вернутся на родину. В строю слышались громкие разговоры, безмятежные возгласы, всхлипы губной гармошки, всплески песен, и никто их не прерывал.

## 6

На улицах, по которым проходил мальчик, было непривычно тихо и безлюдно. Он растерянно бросался от одного дома к другому, от окна к окну, заглядывал в воронки и щели. “Может, пленные сегодня в другом квартале?” Со стороны вокзала доносились приглушенный гул, отдельные выкрики. Мальчик бросился туда, сжимая в руке с таким трудом добытый хлеб. Запыхавшись, пробежал последний поворот к вокзалу и остановился в изумлении: обычно пустовавшая грузовая площадка была запружена людьми в военной форме, но не нашей, зеленой, а серой, мышинного цвета.

Мальчик подбежал к конвоиру:

— Что тут такое, дяденька?

— Немцев пленных домой отправляем. Проходи, малец, не положено.

Мальчик оторопел: “Что же Ваня-то? Не сказал ведь, что уезжает. А может, сам не знал? Конечно, не знал, иначе попрощался бы. Не может он просто так уехать. Ведь мы — друзья!”

Помутневшими от слез глазами вглядывался мальчик в серые

фигурки на площадке, вслушивался в голоса. Взгляд его, тоскливый и тревожный, перебегал от группы к группе, он искал друга и не находил.

Шагах в десяти от мальчика к машине, в которую грузились пленные с вещами, быстро, отворачиваясь, прошел немец. “Да это же Ваня!” Стройный и сильный, в свежей форме, в сапогах, начищенных до блеска. Мальчик рванулся вперед:

— Ваня! Ва-ня-а! Я здесь! Вот я, Колька! — закричал он, отчаянно продираясь сквозь цепь конвоя. — Я хлеб принес!

Немец замедлил шаг, небрежно повернул голову, заметил плачущего мальчугана, нахмурился и отвернулся. Его ждали: приняв вещи, протянутые из кузова руки втянули его под брезентовую крышу...

“Что же он? Не узнал? Или нельзя ему, притворился? Узнал! Прощаться не хочет. Своих боится. И наших. Предатель!”

Машины уезжали. Мальчик плакал навзрыд, не стесняясь, не обращая внимания на конвой...

С каждой минутой машин становилось все меньше. Всклипывая, мальчик вытирал слезы. Запах хлеба, зажатого в кулачке, смоченного слезами обиды и несправедливости, причиненными ему этим грубым и необъяснимым миром взрослых, постепенно успокаивал его.





## **ПРОБУЖДЕНИЕ**

**ИГУМНОВ Александр Петрович** родился в 1956 году в г. Кизел Пермской области.

Окончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков.

Служил в частях Забайкальского и Прикарпатского военных округов. В 1983-84 гг. участвовал в боевых действиях в Афганистане. Имеет ряд правительственных наград. В 1986 году уволился в запас.

Рассказы А. Игумнова печатались в центральных и местных газетах, в альманахе "Подвиг".

В округе — с 1987 года. Живет в поселке Советский.

**Н**очной мрак. Ни звезд на небе, ни светлячков за окнами сумрачных пятиэтажек. Боже мой! Мозг окутан паутиной тревожной дремоты. Не спится. Слышу каждый шорох и вздох в соседней комнате. Спи спокойно, моя дочурка. Обними ручонками маму, прижмись к ней крошечным телом. Она никогда не даст тебя в обиду, всегда будет рядом. Я твой должник, моя маленькая. Мне выпала другая судьба, изменить ее я бессилён. Пока бессилён. Но может быть, придет время и все изменится, и я буду, как мама, всегда рядом с тобой.

Полгода как я вернулся. Полгода длится похмелье ужасного “афганского” запоя. Пропади все пропадом. Будь проклята война и те, кто ее начал. Как темно в комнате. Покурить, что ли?

Шлепаю босиком на кухню. Предательски скрипят половицы. Открываю холодильник, осторожно беру бутылку самогона и прямо из горла вливаю отвратительную жидкость себе в желудок. Закусываю соленым огурцом и закурываю сигарету. Противно отрыгивается сивухой. Лишь бы не проснулась жена... Нет, вроде бы пронесло.

Тушу сигарету. На ощупь пробираюсь в комнату, бухаюсь на диван и зарываюсь головой в подушку. Теперь бы заснуть, забыться. Самогонка бьет в голову. Устало закрываю глаза. Но от памяти не уйти...

\* \* \*

**В** 1984 году погиб мой друг Юрка — весельчак, рубаха-парень, капитан. С его гибелью умерла и частица моей души. И сейчас в тревожном полупьяном забытии не Юрка, а я заживо горю в вертолете в той прекрасной, проклятой нами пустыне...

Мы летим над Нандархарской долиной. Кишлаки, как мухи, облепили русло реки. Дувалы, похожие на песочные крепости, хаотично разбросаны в пойме и на пологих склонах горного хребта. Местами вдоль дороги тянутся шеренги эвкалиптов. Редко увидишь

фигурки людей. В небе застыл ярко-оранжевый диск солнца. В прозрачной белесой дымке видны вершины Гиндукуша, зигзаги горных ущелий и караванных троп. По дороге, по краю зеленки, поттерепашьи ползут танки. Иногда, обдав облаком пыли, их обгоняют юркие БМП, облепленные полуголой десантурой. В середине колонны идут "наливники"...

В горле пересохло. На губах вечный налет пыли. Откручиваю колпачок фляжки. Отклеываю глоток, другой и сплевываю теплую приторную жидкость за борт. В лицо ударяет упругая струя воздушного потока, рикошетом расходится по кабине и замирает, столкнувшись с приборной доской. Борттехник показывает мне кулак, прикрывая нос рукавом комбинезона. Надо же, у Юрки бешеный насморк — в сорокаградусную жару! Неохотно закрываю блистер и протягиваю фляжку Владимиру. Неожиданно зафонил эфир. Что-то щелкнуло в наушниках и вдруг раздался встревоженный голос авианаводчика: "Три тройки! По вам произведен пуск! Точку запуска засекали, сейчас накроем "градом". Три тройки! Вы меня слышите? Уходите! Делайте маневр! Как поняли? Прием."

Большой палец Владимира на кнопке "Радио". Левой рукой он прижимает ларингофон к гортани и невнятно хрипит: "Вас понял. Выполняю маневр". Из рук выпадает фляжка и гулко стучает по автопилоту. Юрка вздрагивает и растерянно смотрит на нас. Я понимаю Юрку, я летчик, я могу бороться за жизнь, за свою и его! А он лишь наблюдатель.

Скорость ракеты приблизительно известна. Начинаю отсчет времени. Секунды, секунды, секунды... Припадаю лицом к стеклу и ясно вижу огненный шлейф... Хочу повернуться и что-то крикнуть ребятам, но не могу оторвать замороженного взгляда от приближающейся смерти. Инстинктивно вжимаюсь в бронеспинку кресла и теряю ее из вида. Судорожно нажимаю на кнопку отстрела отводящих тепловых ракет. Красные светлячки то тут, то там вспыхивают по бокам вертолета, оставляя за собой тонкий слой дымки. По спине пробегают струйки пота, меня бросает в жар, стучит в висках, ноги деревенеют, наливаются свинцовой тяжестью.

Но мозг, этот неутомимый трудяга, уже справился с животным страхом. "Сбить, сбить ракету с курса! Изменить направление: Иначе — смерть". Левая рука рвет вверх рычаг шаг-газа, правая хватается ручку управления и толкает ее вперед. Перевожу вертолет в режим скольжения. С надеждой смотрю на зеленую лампочку "испанки". "Боже, о Боже! Помоги!"

На хвостовой балке крутится стеклянный диск яркого лампового индикатора. "Испанка" должна, обязана спасти нас! Нервы не выдерживают. Снова припадаю лицом к блистеру. Глаза выхватывают вдалеке огненный смерч, накрывший один из кишлаков. Что-то горит, валит черный дым. Успеваю подумать: "градовцы" накрыли гадов. Сожгли духов и мирный кишлак одним ударом". И вдруг вновь вижу стремительно приближающуюся к нам ракету. Захлебываясь в поспешном рычащем стоне, мычу невнятно: "Вот ты какая, смерть! Теперь я знаю тебя. Отверни в сторону, хотя бы на градус, только на миллиметр!.."

Я еще успеваю заметить постаревшее, бледное лицо Владимира, слезинку в отрешенных глазах. Мельком вижу копну седых волос уткнувшегося лицом в колени Юрия...

Резкий удар в бок вертолета. Ракета врывается в правый выхлопной патрубок двигателя и взрывается. Вертушка резко дергается и валится налево. С ужасом смотрю на огонь, который катится из глубины грузовой кабины на спину борттехника. Ударяется о дверку пилотской кабины, быстро поднимается вверх и охватывает плечи и голову Юрия сплошным облаком. Пилотская кабина разваливается на куски. Огненные змейки горящего керосина переползают через Юрия, заполняют нижнее остекление кабины, плавят стекло и вырываются смердящим потоком наружу. Я успеваю рывком отстегнуть привязной ремень, скидываю с плеч горящие парашютные лямки, выталкиваю боковой блистер и вываливаюсь из вертолета под обломки несущего винта. Лопасты режут мое тело, кромсают дико орущего Владимира, горящие останки Юрия. Мне очень больно, я кричу...

Кто-то бьет ладошкой меня по лицу. Открываю глаза и вижу встревоженное лицо жены и слезы на ее щеках...

Тогда мы спаслись. Ракета ушла с траектории полета и самоликвидировалась, взорвалась на моих глазах. А Юрка через месяц погиб. Погиб в такой же ситуации от выстрела "Стингера".

\* \* \*

**К**ак длинна ночь. Беспokoйно ворочается жена, захныкала дочурка. О чем-то шушукуются самые дорогие мне люди. Украдкой иду к холодильнику. Беру бутылку с самогонкой, огрызок огурца,



возвращаюсь в свою комнату. Залпом выпиваю полбутылки. Падаю на диван и через мгновение вновь окунаюсь в прошлое. Мне снится расстреливаемый караван и афганец, которого я застрелил автоматической очередью. Афганец без лица — бегущая фигура в стеганом черном халате...

Мы ведем поиск и уничтожаем вооруженные караваны, всех, кто без приказа движется в районе пакистанской границы. На малой скорости вертушка врывается в горное ущелье. И вот он, караван, спрятанный под козырьком огромной скалы. Перед глазами длинная вереница ослов и верблюдов, нагруженных длинными деревянными ящиками. Палец командира застыл на кнопке пуска ракет. Борттехник, прищулив левый глаз, вцепился в гашетку крупнокалиберного пулемета. Толчком открываю правый блистер сдвижной двери. Просовываю короткий ствол автомата. Жуткое ожидание. Команда "Огоны!", легкий толчок вертолета... Поспешный, пристрелочный рокот крупнокалиберного пулемета в руках Юрия, его возбужденное от азарта лицо. Тошнотворный пороховой запах заполняет кабину. Пустые гильзы выпадают из ленты и беспорядочно выплывают на переднее остекление.

На горной насыпи фигурка человека, выползшего из-под брюха битого верблюда. Ползет вверх, торопится спрятаться в расщелину. Ему безумно страшно в этом клокочущем ливне свинцовой пляски. Он совсем забыл о винтовке, бросив ее впопыхах в ноги подымающему верблюду. Он ищет спасения, он совсем беззащитен. Дикий охотничий азарт охватывает меня. Забыв обо всем, громко кричу ребятам: "Он мой!" Юрий, скосивший из пулемета с десятков "духов", понимающе кивает головой. Отводит ствол пулемета на противоположную горную грядку и ожесточенно добивает короткими очередями все живое. Владимир одобряюще машет рукой и вновь нажимает на кнопку пуска ракет. Кто-то из "духов", пытаясь вырваться из огненной мясорубки, открывает огонь по нам. Но ракетный залп ведомого вертолета перемешивает останки животных с человеческими телами. Мельком следя за тем, что творится вокруг, веду ствол автомата по горизонтали и ловлю афганца на мушку. Нажимаю на спусковой крючок. Дергается автомат в руках, пули вливаются в насыпь. Мимо! Делаем повторный заход. Снова залпы ракет, стук пулемета. Я стреляю по вертикали. Свинец вливается в козырек горной гряды, откалывая мелкие кусочки камней. "Растяпа, — проносится в голове, — не взял упреждение". Теперь заходим

с прямой. Дрожит автомат в руках. Пули выбивают чечетку вокруг человека. “Мазила”, — слышу в наушниках насмешливый голос Владимира. “Дай! Я его срежу одной очередью!”, — кричит, вправляя новую ленту в пулемет, Юрий.

“Он мой!” — зло отвечаю ему. Резко опускаю кресло до упора, прогибаюсь всем телом вперед и левым плечом упираюсь в ручку управления. Кладу ствол автомата на нижний обрез двери, делаю упреждение на скорость и жму на курок. Стреляю, пока не кончатся патроны. Отчетливо вижу, как длинная очередь пуль входит в затылок бегущего и опускается пунктиром к пояснице. Летят клочки ваты и тряпья. Афганец скрючился, как червяк, обхватил голову окровавленными руками, судорожно дернулся и затих, уткнувшись носом в край расщелины. Все. Устало кладу автомат на пол и закрываю глаза. Ни восторга, ни радости — пустота. Я убил его. Человека. Впервые. Собственными руками.

Мы приземляемся. Я внимательно окидываю взглядом то, что осталось от каравана. Десантура уже потрошит ящики, слышатся одиночные выстрелы. “Добивают “духов”, — равнодушно думаю я. С облегчением расслабляю мышцы рук и ног и сталкиваюсь с глазами подыхающего верблюда, из-под которого выполз убитый мной “дух”. Боль и смертельная тоска в его глазах. Животному никогда не понять, что случилось с ним, почему никто не поможет встать на ноги, где его хозяин и что разворотило ему брюхо. Верблюд с трудом поворачивает морду, лижет, а потом жует свои внутренности...

Меня начинает тошнить. Я просыпаюсь и бегу к раковине...

На той войне я больше никогда не стрелял из автомата в людей. Но в памяти часто возникает верблюд, его наивные, испуганные глаза. И человек в черном халате, круглые дырки на его спине. Может, зря я стрелял? Но вдруг в расщелине был пулемет? Ведь он нас тоже бы не пожалел. Кто успел вперед, тот и выжил. Расщелина была совсем рядом. Он не успел.

\* \* \*

Сию на табурете в чем мать родила. Все вылетело из желудка, трезвый, как стеклышко. Курю сигарету за сигаретой, приоткрыв балконную дверь. Спать голышом привык в Афгане. Там ночью жара, как в преисподней, особенно летом. Лежишь в мокрой постели. Утром обтерешься сухим полотенцем, легче становится.





Жена и дочка давно спят. Только теперь я стал понимать, что в жизни главное. Не слава, не власть, не деньги — это преходящее, суета сует. Главное — это они, дорогие мои люди. Им трудно со мной, но они всегда рядом. Они — моя единственная защита и опора. С их помощью я справляюсь со своей странной болезнью, название которой не придумало человечество.

И снова в предутренней тишине, шурясь, смотрю на огонек сигареты и мысленно уношусь в свое прошлое...

Кошмары, кошмары... Сон или явь? Фантазия или реальность? Правда или ложь вчерашний мой день?

Зной Дашти-Марго, пески Регистана, длинная дорога через пустыню Хаш на Фарах и Шиндант. Зенитные, ракетные установки севернее пустыни и солнце, южное солнце, постоянно бьющее в лицо. Наш вертолет несется на малой высоте, сзади, как привязанный, вертолет ведомого. Трудяга-вентилятор перелопачивает воздух. Стрелка указателя скорости перевалила отметку двести тридцать. По курсу извилистая лента дороги. Отклоняемся в сторону и летим над мертвой поверхностью пустыни. Владимир толкает меня в бок и показывает пальцем вниз. Под нами животное с человеческими контурами тела. Ползет строго на север, ближе к дороге. Извивается, как змея, с трудом преодолевая сантиметры земли. Мы делаем повторный круг и приземляемся. Хватаю автомат и выскакиваю из вертолета. Возле странного существа стоит десантура, опустив стволы автоматов. Молодые лица хмуры, все смотрят в одно место. Молча протискиваюсь через толпу и вижу — человек! Глаза, его глаза... Они преследуют меня до сих пор. В них боль, только боль, невыносимая, нечеловеческая, ужасная и дикая. Тело представляет собой кусок кровоточащего мяса, обваленного в песке и камешках. Кожа подрезана подмышками, ободрана с ребер и груди, завернута за спину к центру вырезанного то ли креста, то ли звезды. Сквозь шум работающих вертолетов я слышу звериное завывание. Наклоняюсь к искаженному лицу и навсегда запоминаю душевраздирающий вопль — плач искалеченного человека. Трясущимися руками отворачиваю колпачок фляжки, подsunутой кем-то из десантников, и пытаюсь влить воду ему в рот. Человек по-волчьему ощерился, куснул горлышко фляжки, сделал глоток, закашлялся, не прекращая выть. Вода потекла по подбородку, он захлебнулся, заверещал и сплюнул кровавой сгусток мне на ботинок. Я отшатнулся и, не в силах смотреть в его страшные глаза, закрыл лицо

руками. Кто-то тронул меня за плечо: “Уходите, командир, это не для вас...”

“А для кого?” — хотел вымолвить я и не смог. Комок подступил к горлу и, не пряча слез, я побрел к вертолету. Мне показалось, что раздалась короткая автоматная очередь. Хотел оглянуться, но не посмел. Сдернул шлемофон с головы, машинально вытер подшлемником глаза и выпустил длинную очередь из автомата в небо. Краем глаза заметил, как двое десантников, завернув то, что было человеком, в брезент, занесли в грузовую кабину. Весь полет я чувствовал за спиной присутствие ужасного, ободранного тела, корчившегося в брезентовой накидке. Вместо приборов застыла израненная, оскаленная морда с кричащим ртом и капельками воды на грязном подбородке. Уже на земле я услышал от сержанта: “То ли “дух”, то ли наш, не поймешь, совсем голый”. Комбат говорил, что он мог бы часа три прожить. Спасти невозможно...”

Я мотаю в забытии головой, резко соскакиваю с табурета, запинаясь о ножку стола и валюсь на пол. Сильно стучаюсь виском об угол газовой плиты и теряю сознание.

\* \* \*

**И** ночью может вспомниться ночь, особенно когда ты, опрокинув пепельницу, валяешься на полу и усиленно трешь ушибленное место прокуренными до желтизны пальцами. Темень на улице, темень в глазах и никаких мыслей в голове. Недолго длится мое беспомыслие. От всех болезней у меня одно лекарство. На карачках ползу в свою комнату. Нащупываю рукой бутылку. Морщась, допиваю самогонку, стискиваю зубы и пытаюсь удержать эту гадость в себе. Желудок приятно прогревается, исчезает боль в виске. Организм расслабляется, слипаются глаза. “Спать, спать, спать...” Часа два валяюсь в пьяной дремоте. И вдруг снова: темные нагромождения скальных пород, извилистая линия реки, резкий сноп автомобильных фар и мой вертолет на переднем колесе, с повисшей хвостовой балкой над пропастью. Свет гаснет. Впереди, сверху несутся в нашу сторону огненные трассы. И снова крошечная мгла и мы надежно спрятаны в ней. Вижу силуэты бегущих людей. Десантура торопится, спускает с гор раненых и убитых. Днем здесь приземлиться невозможно. Горные вершины оседлали душманы. Третьи

сутки батальон спецназа упорно карабкается вверх и несет большие потери. Раненые страдают и молча ждут ночных сумерек. Раны гноятся под солнечным пеклом. Здоровые русские парни проигрывают в борьбе с афганским солнцем. Мы ничем не можем помочь раненым. Снайперы снимают каждого смельчака, рискнувшего днем спуститься в долину. Хладнокровно расстреливают вертушки. Но приказ есть приказ. И мы бессильны что-либо изменить. Только ночью батальон приходит в движение. Боеспособная десантура карабкается вверх, раненые — вниз.

Мы взлетаем и берем курс на Кабул. Вот и просыпающаяся столица. Современный центр, древние мечети и крепости, рыжие постройки глинобитных дувалов. Длинная взлетная полоса, модули, стоянка вертолетов и самолетов, здание аэропорта. Замирает бег лопастей, я выхожу из пилотской кабины и останавливаюсь перед солдатом, лежащим на железном полу, под головой куча барахла, на ногах пыльные ботинки, заляпанные засохшей кровью. Левая штанина разорвана по шву. Перед ним на коленях растерянный Юрий, в руках шприц-тюбик розового пользования. Сняв колпачок, он делает укол раненому, широкоплечему, рослому парню. Я не вижу его лица, сплошная кровавая маска. Нет глаз, нет носа, обрубки ушей и только черная дыра огромного рта. Отворачиваюсь, спешу выпрыгнуть из вертолета и замираю, стоя на стремянке. “Му-жи-ки, му-жи-ки!” — тянет он. Живой! Резко оборачиваюсь и наклоняюсь над ним, сталкиваюсь лбом с головой Юрия. Лицо борттехника побелело, на глазах слезы. “Му-жи-ки!” — снова стонет раненый. Выхватываю флажку, шепчу: “Потерпи. Тебе больно, да?” Он отрицательно качает головой. “Пить хочешь?” Он кивнул. Говорю, говорю, сам не зная о чем. А он в ответ протяжно и жалобно: “Му-жи-ки, му-жи-ки!” Смотрю на его ладони. Они в непрерывном движении, ощупывают ноги, бедра, живот, грудь. Вздрагивают, останавливаясь на шее. И снова ползут вниз. Только не вверх. Руки боятся задеть лицо. Он ищет, куда его ранило. Его ладони замирают на порванной штанине. Он убеждает самого себя, что ранен в ногу. Он сознательно обманывает себя.

Подъезжает санитарная машина. Поднимается знакомый доктор, всякое повидавший на своем веку, но и он растерян, суетится, как медсестра-практикантка. Щупает пульс, втыкает очередной обезболивающий укол. “Удивляюсь, как он еще жив”, — безнадежно провозносит он и спрыгивает на землю. Закуривает сигарету и орет мне

в лицо: “Ну, что я могу поделывать, что?! Ранение в лицо — ужасно, у него — смертельное. Он должен был умереть сразу!”

Парень жил еще три минуты. Ровно три. В вертолете плакал Юрий, я хотел успокоить его и сам заплакал, завыл...

Проснулся от внимательного, вопрошающего взгляда дочурки. Она гладила меня по голове: “Папа, тавай, папе бо-бо, папа ляля”.

Мне становится стыдно перед малышкой, я пытаюсь локтем незаметно засунуть под подушку пустую бутылку. Но она падает с дивана и громко катится по полу.

— Допил! Дошел до ручки, — слышу сердитый голос жены. — Где это видано, по ночам пить водку! И где ты ее прятал?

“Ну все, понесло-поехало!” Я стойко принимаю упреки жены.

Время выбрало наше поколение пройти дорогами афганской трагедии, время и вылечит наши души. А пока...

Я лихорадочно ищу повод смыться из дома к друзьям в пив-бар около рынка.



## Власть земли

*Я работаю в газете, и вся стихотворная продукция района стекается ко мне. С полос газеты стартовали многие поэты, в том числе и я сам. "Районка" еще и тем хороша, что, если в чем-то согреешь, то завтра тебя встретят читатели и выскажут в глаза свое отношение к напечатанному.*

*Представляемые мной поэты чувство ответственности за слово не утратили. Все они живут в поселке Советский, но все — разные. У каждого свой язык и своя память. Как они преодолевают сопротивление материала, лучше спросить у них. Перед вами — результаты их душевных озарений.*

*Александр Губанов тридцать лет работает учителем, отличник народного образования. Он по возрасту старший, а по состоянию души — ребенок, в хорошем смысле слова. Он становится таковым, когда приходят любовь и вдохновение, а следом — сочувствие и раздумье. Нет в его стихах и не может быть жестокости, он традиционно милосерден, вся его лирика пронизана добротой.*

*Станислав Юрченко по профессии инженер-строитель, награжден орденом "Знак Почета". Как поэт он более эпичен. Им написано несколько исторических поэм, две вошли в его первый сборник "Причастие" (п. Советский, 1992). Порой категоричен в суждениях, но таков уж характер его лирического героя. Он воспитан романтикой 60-х, для которой присущ максимализм.*

*И самый молодой — Александр Загоровский работает налоговым инспектором. Он начинает интересно, самобытно, хотя, если всмотреться, вслушаться, можно назвать несколько любимых им русских и зарубежных поэтов.*

*Как бы то ни было, поэтам необходимо давать высказываться стихами. Предоставим им такую возможность.*

**Владимир ВОЛКОВЕЦ,**  
член Союза писателей России.

## Александр Губанов

### Шаман

Шаманский бубен рокочет глухо,  
Шаманский бубен — тамтам Югры.  
На освещенном пространстве круга  
Смрадно от водки и от махры.  
Шаман шаманит в самозабвении,  
Шаман — как птица, шаман — как зверь.  
Смешной ребенок? Иль неврастеник?  
Или мошенник? Поди, проверь!  
На черной шее — медвежьи когти,  
Клык росомахи, олений рог.  
Под шкурой остро взлетают локти  
И скалит зубы безликий бог.  
В багровом свете зловещей тенью  
Сжимая души, летает страх.  
И жмутся ближе к огню олени,  
И небо виснет на их рогах.  
Шаман в припадке исходит пеной...  
Что он пророчит? К чему зовет?  
Какие беды сулит вселенной,  
Что накликает на свой народ?  
О, эта пляска была, как повесть,  
Где в страшной схватке сошлись два зла.  
Но где-то рядом промчался поезд,  
Тайга очнулась и ожила.  
Два ассистента несли проводку,  
У вертолета хмельной галдеж.  
Пил оператор с шаманом водку  
И амулеты менял на нож...

А после тлели в костре поленья  
И выл, пьянея, шаман, как зверь.  
Смешной ребенок? Иль неврастеник?  
Или мошенник? Поди, проверь!  
И стыло пламя в глазах раскосых,  
И что-то трудно рвалось в груди,  
И, обступая, шумели сосны:

— Не уходи,  
Не уходи!

\* \* \*

Снова здесь я рассветы встречаю,  
вновь по травам болотным брожу,  
котелочек с брусничным чаем  
в огрубелых ладонях стужу.  
Снова я непонятно тревожный,  
ропот листьев мне в душу проник.  
Над костром в глухомани таежной  
тихо плещется звездный родник.  
Чуткий зверь переходит болото,  
режет птица крылом тишину  
и великий таинственный Кто-то  
прямо в душу мою заглянул.  
Одиночество, ночь и зарницы,  
божий мир осеняет покой,  
только листья, как желтые птицы,  
смутно реют над черной рекой.  
Я лежу у костра. Где-то рядом  
осень тихо шуршит листопадом,  
искры прыгают в синий воздух,  
превращаясь в далекие звезды.

\* \* \*

Весенний запах тающей земли.  
Еще вчера метели здесь мели.  
И под окном, как тонкая свеча,  
Березка мне светила по ночам.  
Еще вчера сквозь зимний белый плес  
Я на руках тебя, пьянея, нес,  
И нас качал, как нянька, шар земной.  
Какой весне сравниться с той зимой?  
Весенний запах тающей земли.  
В вечернем небе плещут корабли.

\* \* \*

*В. Фомичеву*

Холодные ветры подули,  
пошли затяжные дожди  
и красные листья, как пули,  
осеннее небо прожгли.  
А где-то за облаком черным,  
невидимы с хмурой земли,  
так долго, печально, покорно  
прощались со мной журавли.  
Прошли они смутным рассветом  
над речкой, где избы вразброс,  
и глухо им вторили ветви  
натянутых ветром берез.  
Рвались они к небу, как снасти  
попавшего в шторм корабля.  
Я слушал и думал о власти,  
в которой нас держит земля.



## Иван

Пройдя все адовы круги,  
Оставив ноги в лазарете,  
Он стукнул в ставень на рассвете  
И глухо крикнул:  
— Подмоги!  
Он был Ванюша-гармонист,  
Еще сопля, по сути дела.  
Но к Сталинграду пер фашист,  
И время Ванькино приспело.  
Он уходил, когда в село  
Уже слетались похоронки,  
Когда в окопе ли, в воронке,  
Или в плену, в чужой сторонке  
Мужицье племя полегло.  
Под материнский страшный вой  
Он уходил по той дороге,  
Что увела из дома многих  
И никого еще — домой.  
Он был тогда почти что рад,  
Мальчишка, бредивший войною.  
Где ж знать ему, какой ценою  
Заплатит он за Сталинград.  
А был всего один лишь бой.  
Бросок оттуда, из-за Волги,  
На берег мертвый и отлогий.  
И тонкий, бесконечно долгий  
Фугаски свист над головой...  
Приподнимаясь на руках,  
Перевалив через порожки,  
Он катит улицей с гармошкой,  
Похож на страшного жука.  
У магазина в лопухах  
Он выпьет поднесенной водки

И, отложив свои колодки,  
Растянет хриплые меха.  
И слушали, забыв дела,  
Как он надрывно заходился:  
— Ах, зачем я на свет родился,  
Ах, зачем меня мать родила!...

## Станислав Юрченко

\* \* \*

Если мне этот мир  
покидать вдруг придется до срока,  
отпустите грехи  
и простите бродяге долги.  
Поднимите бокал за меня,  
чтоб не так одиноко  
мне светила звезда  
и скрипела сосна у реки.

Ну, а если Господь  
мне отмерил прожить до предела,  
старых, верных друзей  
соберу у живого огня.  
Поднимите бокал за меня,  
чтобы песня звенела  
и красивые женщины  
вновь обнимали меня.

\* \* \*

Настанет день  
и вспыхнет осень



огнем осинника в лесу.  
Все, что в себе хранил, но бросил,  
опять с проклятием несу.  
На перелете плачут птицы —  
изменчив курс,  
не легок путь.  
Все чаще хочется забыться,  
присесть к огню  
и отдохнуть.  
Проходит жизнь,  
взрослеют дети,  
друзья уходят в темноту.  
Лишь голос твой на этом свете  
мне заменяет пустоту.  
Далеких звезд оплыли свечи,  
дрожит за окнами рассвет.  
Смывает в бесконечность вечность  
всю безысходность  
слова “нет”.  
На переполненном вокзале  
среди чужих  
мелькнет лицо.  
И вспыхнут, как вино в бокале,  
как обручальное кольцо, —  
улыбка,  
волосы  
и руки  
сквозь ветра свист, потока лет.  
Качнут гитары старой звуки  
в твоих глазах  
хрустальный свет.  
Несет меня течение века  
через пороги бытия,  
через закаты и рассветы,  
леса, озера и поля  
к высоким истинам познанья.  
И на извилистом пути

прими в залог, как покаянье,  
простое русское  
“прости”.

## Владимир Мономах

Год 1125-й

### I

Зима,  
меж берез белый саван раскинув,  
спустилась на Русь.  
На замерзших холмах  
уставший от битв,  
завернувшись в овчину,  
последний свой след  
прочертил Мономах.  
Нестройные мысли,  
отрывки видений,  
стон волчьего воя в медвежьих углах.  
Перуна тропы не понятны знаменья.  
— Эй, отроки, рысью!  
Товарищей прах  
давно разметало по Дикому полю.  
Безумных сынов Измаила костры  
теперь не тревожат пределов.  
А доля?  
Грех Бога гневить.  
Тяжелы и остры  
мечи сыновей.  
И не канули в Лету  
посланья врагам:  
— Не ходите на Русь!

Угасшие лица  
среди отблесков света  
уже навевают спокойную грусть.  
Светает.  
Как угли,  
рассыпаны гроздьями  
сияющих звезд на небесной меже.  
Морозную пыль поднимают полозья,  
швыряя в лицо.  
Не вернутся уже  
охоты и ловы.  
Щетинистых вепрей  
и туров покоило княжье копьё.  
Студили лицо тебе русские ветры  
и травы дурманили.  
Имя твое  
неслось по широким просторам предполья,  
страха и сжимая сердца агарян.  
И пахла свобода пролитой кровью  
и ноющей болью  
полученных ран.  
Ушло все.  
Ослабла рука твоя, княже.  
Но ясен еще пронизательный взгляд.  
Мерцают звенящие кольца в упряже.  
Играют зарницы.  
А память назад  
уносит.  
Где летнее солнце разлито  
и ласковый шепот в купальскую ночь.  
И светловолосая, дивная Гита,  
английских пределов  
спокойная дочь  
тебя обнимает.  
В гробнице отцовской  
лежит ее сердце.

А ты еще жив.  
Скатилась слеза.  
Ратных битв отголоски,  
горящие клинья не скошенных нив.  
Что ж, прожил ты, Бога заветы не рушив  
и не изменив целованью креста,  
и зря не губил христианские души,  
и Русь не делил.  
Да и сын твой Мстислав  
единой всегда почитал и сторожил  
ее рубежи.  
И коварный Боняк уже, если даже  
захочет, — не сможет  
топтать эти нивы в придонских полях.  
Пусть черпают Дон золотые шеломы  
архонтов твоих,  
Ярослава кровей.  
А сани летят по заснеженным склонам,  
по редким и ломким стеблям ковылей.

## 2

В тот год,  
перечеркнутый красной звездой,  
посеявшей страх,  
покорившись судьбе,  
бежали от половцев русские вои,  
погиб Ростислав.  
И открылось тебе —  
не в брани за отчины и за наделы,  
в служенье стране и народу ее  
твой крест.  
И разили каленые стрелы  
не братьев,  
а ворогов и воронье.  
Не жадностью вечной мужей Святополка,

а верным мечом заслужил ты тогда  
любовь христиан.

И погасла надолго  
над Русью святой окаянных звезда.  
Усобицы княжьи тушил ты.

И миром  
уставшую землю в кулак собирал.

И русскую правду  
то словом, то пиром,  
то древней иконою славил.

И знал,  
что путь твой не вечен.

А мир над землею  
в тех душах, где возвращено семя твое,  
в простых мужиках  
деревянной сохою  
кующих величье и славу ее.

— Вы, дети, не бойтесь  
ни рати, ни зверя,  
отцовский наказ этот колос возрастит.  
Никто и ничто вас не сломит.

Измерит  
лишь Бог ваши вины.

И Бог вам простит.

Волы на телеге в святую Софию  
сквозь плач Переславля сvezут его прах.  
Крест животворящий на княжеской вые  
и царские цепи.

Прощай, Мономах.

К отцу и жене, в дорогие пределы  
ведет тебя путь.

И судить не берусь  
свершенное князем Владимиром дело  
и слово его:

— Не ходите на Русь!

Дед

Завалинка. На ней старинный дед,  
обернутый в поношенную куртку.  
Ему сто лет, он курит самокрутку,  
семь бед — на все ему один ответ.

Он знает все. Перечеркнул давно  
совсем никчемный вековой свой опыт.  
Он пуст и мудр, как тихий ветра шепот,  
и с ветром скоро будет заодно.

Все на местах. К чему лихая прыть,  
за ночью день — и тихо сгинут сутки.  
А смысл всего завернут в самокрутке,  
и некуда, и незачем спешить.

\* \* \*

Не желайте мне удачи,  
а иначе — ведь иначе  
испугаете, и значит,  
улетит моя пора;  
убежит моя удача,  
мимо весело проскачет,  
даже срока не назначит,  
не желайте мне добра.

Не желайте мне печали  
и не стойте за плечами,  
что-то мне печаль ночами  
шепчет, лето хороня;  
и не делайте открытий,



находясь в полузабытьи,  
и живите, как хотите,  
но не трогайте меня.

Я горю, как листьев ворох,  
каждый миг тепла мне дорог,  
твой транзит в четыре сорок,  
эта ночь для одного;  
так зачем же? — не иначе,  
не желайте, чуть не плача,  
ни печали, ни удачи,  
не желайте ничего.

## Ассоциации

### 1

На туманных поясах  
разрываются изгибы  
раздаются голоса  
тех кто был и где-то выбыл  
на далеких островах  
уходящих очень много  
и в коротких полуснах  
непонятная тревога  
все вершится мимо где-то  
и растерто время в прах  
на камнях чужой планеты  
на туманных поясах.

### 2

Упали вниз тяжелые шаги  
ушли года и смолкли все литавры

а там вдали погибли динозавры  
и не слышать весны из-за пурги  
ушли года и город опустел  
а мы стоим внимательно внимая  
когда пройдет гроза в начале мая  
и уведут всех пленных на расстрел  
и уплывут по морю корабли  
себе искать на радость непогоды  
зачем страдать прошли уже те годы  
благодаря стараниям Земли.

3

Когда исчезнет утренний туман,  
один период перекинув в вечность  
проступит чья-то на траве конечность  
ненужная как без штанов карман  
разделит солнце на деревья лес  
раскрасит буквы мокрой упаковки  
и там проедет чей-то "Мерседес"  
ненужный вовсе взятый по дешевке  
там, за рекой под черным флагом стан  
и кто-то строит-ставит там порядки  
ненужные как высохшие грядки  
которые раздавит чей-то танк.



Николай  
КОНЯЕВ



## ТРИ РАССКАЗА

**КОНЯЕВ** Николай Иванович родился в 1954 году в п. Нялино Ханты-Мансийского района.

Окончил Омский филиал Всесоюзного финансово-экономического института и Литературный институт им. А. М. Горького.

Служил в армии, работал экономистом и журналистом.

Автор книг прозы "Сборщик дани" (1992), "Перековка" (1993), "Чужая музыка" (1994).

Член Союза писателей России с 1994 года.

Живет в Ханты-Мансийске.

## Малыги

**В** воскресенье был на рынке. Битый час бродил вдоль крытых торговых рядов, присматривался, приценивался, но покупать ничего не покупал и уходить с пустыми руками не торопился. На торговцев, что в сумрачный осенний день за прилавками от холода приплясывали, и внимания-то не обращал — все они в последнее время кажутся мне на одно лицо, примелькались. А тут будто кто-то локтем в бок — глянь-ка, кто перед тобой. Глаза приподымаю — боже мой, Малыга! Юрчик!

Молодая темноликая женщина в наброшенной на плечи меховой куртке сидела на складном низком стульчике, в руке держала дымящуюся сигарету и прямо-таки складывалась напололам от сотрясавшего ее смеха. А Малыга, землячок мой, на корточках подле нее. Коренастый, головастый, в коричневой кожанке, с выбритым затылком, со знаменитой на деревне резиновой улыбочкой от уха до уха... Зубы скалит. Забавляет.

“Да Малыга ли это? — все еще не уверяюсь, не решусь окликнуть. И так, и этак погляжу, и сбоку, избоку гляну, — нет же, нет, не обознался. Он. Рот не укоротишь. И седелку носа не выпрямишь. Как у нас в деревне старики говаривали — куда ж породу денешь? Малыгина порода!”

Торговка между тем ненароком встретила мой взгляд, кивнула на меня собеседнику: обслужи, мол, покупателя. Тот в два прыжка к прилавку с наигранной учтивостью:

— Чего изволим, сударь?

“У-ухарь-купец!”

По разложенным напоказ шмоткам туда-сюда глазами пробежался, соображая, очевидно, что бы там такое могло меня привлечь.

— Юрчик? — спрашиваю тихо, удивленно. — Малыга? — уточняю неуверенно.

Он оторопело вперился в меня, на уголках фамильных безразмерных губ повисла глуповатая улыбка, веки дрогнули, подглазья сбежались в розовые сеточки, но тотчас и разгладились, улыбка улетучилась, а глаза вдруг обрели холодный, хамский блеск...

— Малыги вон, на входе, с протянутыми шапками! — ответил-отчеканил он и отвернулся, и добавил, выдавив сквозь зубы, обращаясь не ко мне, а уже к торговке. — Нашел мне тут малыгу!

Вот так оплошал я!

Вот так отбрил меня земляк!

Да и поделом. Какой же он теперь Малыга?

Жил-был в моей деревне мужичок один. Малыгиным его не называли даже в сельсовете. Так Малыгою и помер...

А интересный был мужик! Таких, как он, теперь по всей России наверняка уже не встретишь. Вот же ни один из земляков не впечатался так четко в мою память, как этот неказистый, головастый мужичонка с белесыми бровями. Не знаю, как насчет добра, но зло он в жизни точно никому не причинил, разве только самому себе по недомыслию природному...

Но прежде чем об Юркином отце, немножко о Малыге-деде. Юркин дед был тоже малый интересный. Жива история о том,

## **КАК МАЛЫГА-ДЕД УЕХАЛ НА ВОЙНУ.**

Погрузили призванных на колхозные подводы везти в райцентр, на сборный пункт. Мужики, кто пьян, кто трезв, с семьями прощаются, бабы голосят. Мальжиха, бедняга, громче, горше всех. Шутка ли, одна с семерыми остается. Заламывает руки, в голос причитает, наказывает мужу:

— Да не потеряйся там иде-нибудь! Держися мужиков! Доедешь, так письмишко черкани... Листик положила, огрызок положила!

Малыга недоумевает:

— А растуды твою, кулему! Как же черкану, если я неграмотный!

— Да попроси там мужиков! Мужики помогут!

— Так ведь табаку, небось, потребуют!

— Ну и отсыпь щепотку!

Малыга — скрепя сердце:

— Ну, если на закруточку! — и, озадаченно моргая, спохватывается вдруг. — Тю-ю, растуды твою, кулему! Куды ж я напишу-то? Ты ж мне адрес не оставила!

Мужики от смеха попадали с подвод.

А бедная Мальжиха слезами обливается.

— Глупой. Совсем глупо-ой! Чую, не воротисси!

— Бude хоронить-то! Бude причитать!

— А как не причита-ать? Семеро сиротами останутся! Другой под пулю не полезет, а ты слупу сунесси. Чует мое се-ердчишко!

— Да растуды твою, кулему, я вам навоюю! — хорохорится Малыга. — Одного-двоих убью, свою норму выполню — к покосу вочуюся. Ставь к покосу бражку!

— Глупой ты, разглупо-ой!..

Как в воду глядела Мальжыха. Ни “листик”, ни “огрызок” Малыге не понадобились — уехал и пропал. Ни письма, ни похоронки... Сэкономил на закрутку.

А старшенькому — Прошке — в ту пору шел двенадцатый годок...

На восемнадцатом женился. Взял из соседнего села дочку фуражира Федору Коновалову, деву нелюдимую и мрачную. Жена у фуражира молодою померла, оставила в наследство дочь на выданье и полный двор скотины — Федора управлялась. С хозяйством засиделась...

И сразу пошли дети. В двадцать три имел Малыга четверых парней — Ермоху, Степку, Ваньку и грудного Юрчика. Все, как один, большеголовые, безбровые, губастые...

— Ну, Малыга, наклепал, как по трафарету! — смеялись мужики. Самодовольно усмехался:

— Зато все мои, никто не скажет, что есть лишние!

Чумазые, сопливые, мальжата день-деньской носились шумной стайкой. Обуви не знали с Пасхи до Покрова, случалось и по слякоти шлепать босиком, но никакие хвори к ним не приставали. Новые штанишки получали к осени, перед самой школой. Малыга покупал черного сатину, Федора шила шаровары с широкими, шуршащими штанинами на резинках снизу. К новым шароварам полагались свеженькие майки. То-то было радости!

Детей своих Малыга по-своему любил и баловал по-своему. Как-то раз Федора отправила его в райцентр за сандалиями старшим. Малыга заглянул в универмаг, перебрал всю обувь, выставленную там на обозрение. Вид “дырявых” сандалет его обескуражил. Решил купить ботинки, но выданных Федорой денег хватало только на Ермоху. Задумался Малыга: купишь одному — остальным обидно будет. И, чтобы никого не обделить и не обидеть, плюнул на ботинки и сандалии, купил пол-ящика конфет...

Баловать-то баловал, но если расшались, то и цыкнуть мог. Да так, что вся четверка во главе с Ермохой горохом рассыпалась под кроватью и без звука выжидала, когда тятка сменит гнев на милость. Сыновей Федора стригла ножницами наголо, но оставляла чубчики. Деревенские подтрунивали:

— Ребятишки, для чего вам мамка чубчики оставила?

— А чтобы тятка из-под койки мог вытаскивать!

В обед Федора выходила из избы и с крыльца звала:

— Ермо-ошка! Сте-епка! Ва-анька! Ю-юрка! Марш домой обедать!

Четверо срывались с места, где б ни находились.

Федора ставила на стол алюминиевую миску размером с добрый таз со щами или овощной окрошкой. Малыга сам разламывал ковригу и начинал хлебать. За ним по старшинству — Ермоха, Степка, Ванька, Юрчик. Хлебали молча и сосредоточенно. Федора подливала. Наевшись, пили чай вприкуску с серым сахаром. После чая дружно шмыгали вспотевшими носишками, но из-за стола не выходили раньше отца с матерью.

В избе — ее купил Малыге тесть по случаю женитьбы, добра всего и было, что сундучок с Федориным приданым да огромная русская печь. Как бы жарко ни натапливали избу, тепло в трескучие морозы быстро выдувало, и Малыга приспособился согревать детей в печи, чем однажды напугал до полусмерти нагрывнувшего тестя...

Входит тесть в избу с мороза, руки потирает, из бороды сосульки выщипывает.

— Ставь, зять, самовар — до костей пробрало!

Малыга с печи да к порогу, шубу с тестя принимать.

И в это время из-под печного свода показались головы, измазанные сажей до неузнаваемости. Одна, другая, третья...

Тесть оробело оттолкнул Малыгу, попятился к порогу и, крестясь, забормотал:

— Свят, свят, свят!.. Помилуй мя!..

— Да што ж вы, тятя, напужались? — удержал Малыга. — То внуки в печке греются!

В тусклом свете лампы тесть не сразу разглядел родных внучат. Ермоха, Степка, Ванька, Юрчик, как хомячки из норки, выползли на свет и на дедов голос...

— Де-еда, это мы!

Тесть не сдержался и загнул:

— Что ж ты, мать твою!.. родных детей сажаешь в печь?!

— Так Федора утром хлеб пекла, — невозмутимо объяснил Малыга. — Чего жару пропадать?

Тесть и поначалу-то не очень жаловал Малыгу, а с годами между ними возникло отчуждение. Но на людях зять разрыв скрывал. В деревне часто вспоминали,

## **КАК МАЛЫГА К ТЕСТЮ ЗА МЯСОМ ХОДИЛ.**

В молодости он одно время работал молотобойцем. За день молотом намашется, аппетит разыграет, а дома на столе не густо. Вот и размечтается к обеду.

— А што, — скажет кузнецу, — возьму да в воскресенье к тестюшке смотаю. Тестя навессю... Тестя навессю да мяса привезу. У тестя мя-я-са — некуда девать! Чего душа желает! Схожу да принесу... Куда ему, беззубому, столько ужевать?!

И день, и два, и три одно и то же кузнецу твердит. Ждет не дождется воскресенья.

И вот приходит в понедельник. Кузнец интересуется:

— У тестя был, Малыга?

Молчит, будто не слышит. Из кузни да на улицу, с улицы да в кузню. То угля, то прут несет для ковки, то бадью воды... То у наковальни, то у горна топчется.

Кузнец не отступается.

— Ну, сбегал к тестю, нет?

Малыге некуда деваться.

— Та-а, чего там, сбегал!

— Ну и что принес?

Опять из кузни да на улицу, с улицы да в кузню...

Кузнец в усы ухмылку прячет, упорно добивается.

— Мяса много ли припер?

— Та-а, множок ль на себе припрешь?! — вскрикивает жалобно Малыга. — Вот поеду на кобыле, разом и припру!

Однажды, пополудни, на остановке из городского автобуса вышел пассажир. Средних лет мужчина из солидных, судя по осанке и одежде. В сером длиннополом пальто с каракулевым воротником, в каракулевой шапке, в шикарных кожаных ботинках...

Вышел, огляделся, приподнял над головой каракулевую шапку, платочком промокнул вспотевшую в автобусе макушечную плешь



и, перебросив из одной руки в другую легонький дорожный чемоданчик, направился прямехонько к видневшейся за почтой двухэтажной школе.

Но подошел и — растерялся.

— Дети, где тут проживает председатель сельсовета? — спросил у пробежавших мимо мальжжат.

— А во-он, где флаг над крышей!

Приезжий с чемоданчиком взял курс на красное полотнище на соседней улице.

Зашел в приемную. В приемной секретарша.

— Вы к кому, товарищ?

— К председателю.

— Нет его.

— А где же он?

...Через четверть часа секретарша знала, что представительный мужчина заехал в гости к председателю, с которым прошлым летом в областной больнице лежал в одной палате, где они сдружились и обменялись адресами. И вот ему командировка выпала полутная, как не воспользоваться случаем, не навестить приятеля?

Секретарша — ох да ах, какая, дескать незадача — председатель-то и сам укатил с утра в райком, будет только к вечеру, придется подождать. И хоть ей было в новость, что председатель летом лежал в какой-то там больнице, уточнять из деликатности не стала, провела нечаянного гостя в комнату приезжих, включила самовар, угостила чаем.

От чая гость размяк, разговорился. Как, мол, поживаете, каковы успехи, виды, то да се да пятое-десятое...

Секретарша отвечала:

— Жаловаться грех. Иван Михайлович у нас председатель знатный, в райкоме уважаемый...

Такой непринужденный, легкий разговор.

Но гость с чего-то вдруг обеспокоился.

— Иван Михайлович, сказали? Разве председателя зовут Иван Михальчем, а не Прохор Ерофеичем?

— Да-а, Иван Михальчем...

— А как давно он председателем?

— Да уже лет десять.

— Де-есять?! — удивился гость. Он привстал со стула, промокнул платочком взмокнушую макушку. — Ведь он сказал, что председателем его избрали год назад... Простите, как его фамилия?

— Кого? — вконец смешалась секретарша.

— Да председателя-то вашего!

— Иван Михалыча? Захаров.

Гость вымучил улыбку и слегка сбледнел.

— Не Малыгин разве?

Секретарша изумленно хлопнула ресницами. Вот когда дошло! Аж зрачки расширились.

— Не к Малыге ли вы, часом? Да отроду он не был председателем. Ни “а”, ни “б” не понимает. Во-он его изба, из окна видать, на краю деревни!

— Как же — на краю? Хороша изба! А двухэтажный особняк?

Тут уж секретарша не сдержалась, прыснула в ладошку.

— Во сне ему приснился особняк. Он только прошлым летом солому с крыши скинул!

Заночевал гость в сельсовете, а утром, спозаранку, взяв слово с секретарши о неразглашении конфуза, втихомолку укатил.

Секретарша дала слово, да только как же его удержишь в нашей-то деревне?

Когда Малыга шел зимой в своей рыжей “полканке” (он и летом не всегда с головы ее снимал), лица было не видать. Не вспомню без улыбки,

## ***КАК МАЛЫГА СО МНОЮ ЗДОРОВАЛСЯ.***

Крикнешь через дорогу:

— Здравствуйте, дядя Малыга!

Он как бы споткнется на ходу. Уцепится за шапку, чтобы не слетела, головой повертит.

— Слушай, парнишонка, с кем ты поздоровался?

— С вами, дядя Малыга.

— А чего ты поздоровался?

— Нас же так учили!

— Мамка с папкой, што ли?

— В школе!

— В шко-оле? Ишь ты! И со всеми вас здороваться учили?

— Со старшими, со взрослыми...

— И со мною тоже? — не уверяется Малыга.

— Да... И с вами тоже.

— Ишь ты, прямо интересно! Так вот и сказали: и с Малыгой — тоже?

— Нет, так не говорили, — промямлишь и пойдешь в смятении. Но Малыга не отстанет.

— А ты куда пошел, парнишка?

— Что еще, дядя Малыга?

— Так ты ж со мною поздоровался?

— Ну поздоровался... А что?

— Ты прямо молодец! Ты поздоровался, а я ессе и не ответил... Здравствуй, здравствуй! Наше вам! Мое почтенье, коль не шутишь! А если пошутил, стречь не попадайся — уши оторву!

Учились мальжата из-под палки. Раньше, чем таблицу умножения, осваивали трактор и комбайн. В школе их тянули до восьмого класса, зажмурясь, вручали свидетельства и с облегченным сердцем выпроваживали в жизнь. Все уходило в ПэТэУ. А после ПэТэУ подавались в город. Тропу туда проторил Ермоха. Устроился подсобником на табачную фабрику. За Ермохой уехал Степан, за Степаном — Иван, за Иваном — Юрчик. И все — на табачную, в одно общежитие. Оттуда через год уходили в армию, отслужив, с недельку гостили у родителей и возвращались в город, уже кто куда. Лишь Юрчик задержался. Но его Малыга выпроводил сам...

Служил Юрчик в Германии. Явился ясным соколом, гуляет день, другой и третий... И ладно бы — гулял, а то закуролесил. Все норовил продемонстрировать приемы, которым обучили его в армии.

— Желающие есть? В Германии, камрады, с этим дело глухо!

То ли парни в самом деле опасались оказаться поверженными Юрчиком, то ли не хотели осрамить вояку перед деревенскими девчатами, но в борьбу с ним не вступали. А нерешительность и сдержанность приятелей раззадоривала Юрчика. Где б он ни находился — в клубе ли, на пяточке — хватал кого ни попадая:

— Приемом угостить? В два движения ухлопаю! — становился в раскоряку, раскачивался и потряхивал кистями, приглашая к поединку. — В Германии, камрады, с этим делом — о-о!

И однажды на кого-то все ж таки нарвался. Пришел домой к полуночи в разорванной "парадке" и с "орденком" под глазом...

Поглядел Малыга да и заявил:

— Вот что, сынка милый! Не оставил дурь в Германии, так свежи-ка ее в город, сбрось там где-нибудь подальше от отцовских глаз!

Вскоре после Юрчиковой свадьбы Федора вдруг сдала — исхудала, пожелтела. Весной слегла и уж не встала, не помогли ни бабки с их наговорами-снадобьями, ни врач с таблетками-уколами — истаяла на мужниных глазах.

Со смертью матери Ермоха, выросший в начальника производственного цеха, привез отца к себе. Сын жил в пятиэтажке напротив автовокзала. Балкон его квартиры на четвертом этаже просматривался с “нашей” — двенадцатой — платформы. Попервости Малыга под разными предлогами частенько появлялся на вокзале.

В ожидании подхода “своего” автобуса отъезжавшие в деревню мужики облепляли скамью на перроне. В это время из толпы где-нибудь в сторонке “выныривал” Малыга...

— О-о, Малыга! — удивленно восклицали мужики. — Не с нами ли в деревню?

— Та-а, чего там делать? Мимо пробегал!

— Присядь с нами на минутку!

— Некогда. Пойду.

— Что за дела такие спешные?

— Та-а, мало ли. Дела! — но подходил, здоровался.

— А то присел бы, покурил!

— Некогда тут с вами! Дальше побегу!

Проходит пять минут, пятнадцать, полчаса прошло. Мужики и покурили, и наговорились, и новости последние Малыге передали, и по другому разу курево достали — Малыга все стоит.

— Да присядь, Малыга!

— Та-а, я побежал!

Вот и автобус на подходе.

— Привет там от меня! — напутствует Малыга, наблюдая за посадкой...

Там же, на вокзале, я и свиделся с Малыгой осенью. За месяц до его тихой и спокойной, в глубоком сне, — кончины. Тогда при встрече он узнал и окликнул меня первым. Присели на скамью.

— Ну, как ты тут, дядя Малыга?

— Та-а... Мы теперь как все, — отмахнулся он. — Живем по-городскому. Три раз на дню за стол садимся! — тихо засмеялся и, вздохнув, добавил, выдав неосознанно самую, по-видимому, суть произошедших в его жизни перемен. — Едим три раз на дню, и каждый — из отдельной чашки...

## Изоша Поперешный

Поутру 7 ноября Изот Чагин встал в предвкушении праздника, которому законным основанием служило красное число на отрывном календаре. Встал и, поцарапывая грудь, прильнул к окну.

— Погляди в свое окно — все на улице красно! — продекламировал он с чувством, хотя на улице-то было вовсе не красно, не ало, даже и не розово, а белым-бело от свежего, ночью выпавшего снега.

Дурачась от избытка теплых чувств, он мимоходом чмокнул жену в ухо и под ее довольное бурчание вышел налегке во двор. Постоял, полюбовался чистым оснежением и расправил плечи...

Через полчаса, выбритый, умытый, сел за стол и выжидательно глянул на жену. Тоже на законном основании. Но она вдруг проявила нерешительность.

— А может быть, Изоша, без стопки обойдешься?

— А почему без стопки? — удивился он. — Праздник же сегодня!

— Да вроде, праздник и не праздник, не поймешь... Еще когда по радио сказали, что демонстрации не будет! Скажи, Иван? Ты слышал?

Сын подтвердил с набитым ртом:

— Угу... Сказали. Слышал.

Изот обвел глазами сына и жену.

— Вы мне пропаганду тут не разводите. Будет или нет, меня особо и не волнует. Праздник ведь не отменили? Сегодня — красное число? Вот и наливай, не нарушай традицию!

Жена со вздохом налила. Как бы отделалась подачкой.

Изот, конечно, возмутился, но виду не подал. Как тут не возмутиться? Уж когда-когда, а в красный день календаря, будь то Первой или Седьмой, она без рассуждений наливала стопку, еще и трешник на "общение" без промедления выкладывала. Он лихо опрокидывал законные сто граммов, хорошо закусывал и одевал Ванятку. Втыкал ему в петлицу бумажную гвоздичку, надувал шары, вручал флажок на палочке и шли втроем на площадь...

Свои сто граммов Изот Чагин и сегодня все же принял, но принял как-то с неохотой, буднично и вяло, как, случалось, с мужиками на бегу после рабочей смены, украдкой от начальства. Закусил соленой помидориной, поковырялся вилкой в сковородке и встал из-за стола.

- Так ты, Иван, со мной сегодня не пойдешь на площадь?  
— Что я, коммуняка, что ли? — брезгливо отвернулся сын.  
— Ишь ты, он не коммуняка! А я кто, по-твоему? Член политбюро? Секретарь парткома? Я тоже беспартийный.  
— Ну и не ходи, никто тебя не гонит.  
— Лучше бы от пыли ковры повыбивал, — вставила жена.  
Изот сорвал с вешалки курточку и шапку и повернулся к сыну.  
— Он не коммуняка! Разве только коммунякам праздновать дозволено? А мы не люди разве? Ишь, пропагандист!

На центральной площади было стыло, неудобно. Несильный, но хватающий за нос и уши ветер кружил по голому асфальту обертки из-под “Сникерсов”, катал пивные банки. Перед коммерческим ларьком топталось четверо “крутых” в пятнистых камуфляжах да отирался забуддыга в истерханной шинелке.

И — ни флажка, ни транспаранта. Ни букетика цветов к памятнику Ленину. Ни шарика воздушного. Впервые на его, Изота Чагина, веку власти отменили в городе революционный цвет!

Ударом каблука Изот сплющил банку.

— Не нравится мне это! Хотя бы один из идейных явился! Речугу какую толкнул, людей бы с праздником поздравил! Все попрятались по щелям. Неужто праздника не жалко?

... На фронтоне белого фасада телестанции не было сегодня громоздкого портрета Ильича. Вместо Ильича там был прибит рекламный щит с крупной броской надписью: “Фирма гарантирует высокие проценты!” Железные ворота закрыты на засов. И так же, как на площади, — ни флажка, ни транспаранта. Ни души на территории. Ни малейшего намека на очередную годовщину!

— Сволотун какой-то!

Обычно в день 7 ноября с утра на телестанцию сходиллся персонал. Монтеры и механики по двое и по трое “ныряли” в Красный уголок или в пристрой к завхозу. Оттуда то и дело их изгонял парторг Петрович и как бы в наказание за в неурочное “общение” обременял знаменами, портретами вождей и основателей, а особо провинившихся — для связи — транспарантами. Изот правдами-неправдами избегал хождения толпой, предпочитая с сыном на плечах и бок о бок с женою наблюдать со стороны.

Через раскрытые ворота оживленный персонал по парторговской команде вливался в общую колонну, нестройными рядами преодолевал обязательную часть — сотню метров через площадь мимо

городской “верхушки” на трибуне — с возгласами “Слава” и “Да здравствует!” и, что особо забавляло Изота и жену, с троекратным рассыпным “Ура, ура, ура!”. “Верхушка” в одинаковых шапках и пальто помахивала вяло черными перчатками и, стоя полубоком к шествующим массам, о чем-то меж собой переговаривалась. Но массы большей частью глядели не на важную “верхушку”, а на задики ботинок впереди шагавших, дабы не отдавить тем пятки. На первом перекрестке, побросав в открытый кузов грузовой машины флаги и портреты, освобожденный персонал бросался в рассыпную, группировался по компаниям и под звуки марша с площади расходился по домам продолжать “общение”...

В пристрое у завхоза было пусто. На обшарпанном двухтумбовом столе, переоборудованном под лежанку и верстак, лежала груда выцветших от времени знамен и транспарантов в надломанных подрамниках. В плесенном углу — запыленные портреты подзабытых членов бывшего Политбюро. Предусмотрительный завхоз внес их по привычке накануне праздника.

Входная дверь на станцию была приотворенной. Из аппаратной доносился шум включенных передатчиков. Дежурный инженер, экспарторг Петрович, завтракал в бытовке.

Изот с ходу гаркнул:

— С праздником, парторг! С семьдесят седьмой кровавой годовщиной!

Петрович поперхнулся и отставил термос.

— С этим и пожаловал?

Изот подсел к столу.

— Не только... Никого из наших не было сегодня?

— Не было... Зачем? Выходной же день.

— Я думал, кто заглянет по привычке.

— Чего сегодня делать? Выходной сегодня! — повторил Петрович.

— Не выходной, а праздник, — поправил Изот Чагин. — Чего сидеть-то сиднем по домам? Придет время — насидимся. Пообщаться бы, как раньше. Не все ведь плохо было.

Петрович просверлил его глазами, но предусмотрительно смолчал. Обколупал вареное яйцо и макнул им в соль.

Изот, вздохнув, добавил:

— Сволотун какой-то!

Петрович прожевал и ухмыльнулся ядовито:

— Колотун, наверное? Мудри-ишь!

— Это у тебя, может, колотун, а у меня другое... У меня сегодня злости не хватает. С мая месяца ждешь праздника, а они там, наверху, поганку людям гонят. Что за праздник без компании? Без демонстрации? Без марша? Отгулы, а не праздник! — он пальцем погрозил Петровичу в лицо. — Это все твои, парторг, бывшие товарищи. Они там куролесят!

— Три года уж, как не мои, — возразил Петрович. — Я, Изоша, после путча сразу понял: мне там больше делать не фиг. В августе и вышел.

— Не вышел, а сбежал, — уточнил Изот. — Сбежал и перекрасился. Дали деру вы из партии, как крысы с корабля! Здорово тогда вас демократы шуганули. В штаны-то понаклали?

— Опять он за свое! — Петрович оттопырил флегматичную губу. — На кой она тебе, эта демонстрация? Уж ты не “покраснел” ли?

— Покраснееешь с вами! Скорее, посинеешь... Вы все мне одинаковы — беленькие, красные. Ваши заводилы в клубке за власть катаются, а из-за их грызни собачьей человеку с человеком уже и в праздники не встретиться!

— Встречайся, кто тебе мешает? Ты же вот пришел!

— Я-то вот пришел!

— Вот и сиди, не кипятись... Я что, похож на крысу?! — обиделся Петрович. — Ну, был в парторгах одно время. Работа как работа. “Как кры-ысы с корабля!” — Он привстал и, навинтив на термос крышку, добавил укоризненно: — Поперешный ты, ей-богу! Сколько тебя знаю, все б ты поперешничал! То на демонстрацию палкой не загонишь, то сам на площадь рвешься. Экстремист!

Изот кисло усмехнулся и со лба взлохматил волосы.

— Но ведь чудно, Петрович! Пройди на площадь, глянь — ни души порядочной. Пусто, как в пустыне!

— Так, отменили ж демонстрацию, чего там делать-то сегодня? — подскочил Петрович, потеряв терпение.

— Ну, как ты не поймешь! — Изот опять загорячился. — Выходит, столько лет на площадь мы с тобою по команде выходили? А сегодня — тоже по команде — ни один не вышел. Вот ведь как нас натаскали! Как собак каких-нибудь! “Встать!”, “Лежать!”, “Вперед!”, “К ноге!” Что это такое? Как это назвать?

В аппаратной зазвонил дежурный телефон, но Петрович не поторопился. Собрал в полиэтиленовый пакет остатки завтрака, ребром ладони на ладонь смахнул крошки со стола, ссыпал в мусорную банку. Встал и потянулся. Глянул на часы.





— Нравится, не нравится — мое дело маленько. Мое дело — сторона, ну их всех там к дьяволу! Мудришь чего-то ты, Ишоша. Дома выпить не с кем? Так и доложи. Давай сообразим, раз такое дело. Я, собственно, не против. Вот через час сменяюсь...

Изот бросил на Петровича жалостливый взгляд и рывком поднялся.

— Дежурь, не заводись. Я пошел.

— Куда? — опешил экс-парторг.

— Домой. Ковры повыбиваю...

— Сам не знаешь, чего хочешь!

Изот вышел, огляделся. Ни души на территории! Ни следочка в стороне от проторенной тропки! Телевышка в снежном опушении казалась призрачным видением: дотронься, и рассыплется на ледистые кусочки... Взгляд зацепился на флагштоке, где раньше развевался флаг...

— Не нравится мне это!

Дух противодействия втолкнул его в подсобку. Изот выдернул из груди революционной атрибутики невостребованное нынче красное полотнище...

Когда спустился с телевышки и, не различая лиц собравшихся в минуту на территории зевак, обил от ржавчины курточку и брюки, два подоспевших от ворот молодых омововца легонько взяли его под руки. Из подъехавшей "мигалки" вышел крепко сбитый белолицый офицер в аммуниции с иголки, с готовностью открыл перед Изотом дверцу.

— В р-революцию играемся?!

— Устраняем недоделки, — возразил Изот. — Вот теперь порядок... Порядок, командир? — обратился к офицеру, кивнув на телевышку.

— Порядок-то порядок, но вышка ведь под облучением! Соображаешь, верхолаз, какие могут быть последствия? И неприятностей теперь не оберешься!

— Но висит красиво, да?

— А висит — красиво, — согласился офицер, но уже в кабине, предварительно захлопнув за собою дверцу.

## Коллеги

Через сутки в один и тот же час из домика в конце деревянной улочки выходил пешеход — Иван Никитич. Направлялся он в дет-

сад “Дюймовочка”, где работал сторожем. Ивану Никитичу 63 года, он легок, сух, подвижен, хотя и припадает на раненую ногу. Всякий раз, проходя мимо детсада “Серебряные крылышки”, старик думал: вот куда бы перейти — дорога вдвое короче, а это большое облегчение для моей ноги.

Примерно в тот же час из домика на противоположном конце улочки выходил другой пешеход — Зот Наумыч и, часто останавливаясь, отдыхая, шел в детсад “Серебряные крылышки”. Зоту Наумычу 65 лет, он был тучен и медлителен. Всякий раз, проходя мимо “Дюймовочки”, Зот Наумыч думал: хорошо бы сюда перебраться — дорога вдвое короче, а это много значит при простреленном легком...

Ночными сторожами старики работали не первый год. Иван Никитич был привязан к малышам из “Дюймовочки” и предан заведующей Розе Николаевне, Розочке. А Зот Наумыч был не в меньшей степени привязан к малышам из “Серебряных крылышек” и предан заведующей Вере Сергеевне, Верочке.

Старики встречались по дороге на работу и с работы, но в эти вечерние и утренние часы узкая улочка настолько бывала запруженной людьми и машинами, что познакомиться им так и не довелось.

Если утро выдавалось ненастным, Иван Никитич из “Дюймовочки” и Зот Наумыч из “Серебряных крылышек” домой не спешили — спешить им было не к кому. Они на часок-другой задерживались с малышами, которые, надо сказать, очень дедушек любили — ведь дети любят всех, кто любит их.

Малыши — народ любознательный. Их интересовало, отчего у деда Вани “ковьялет ножка”, а у деда Зота “свистит грудка”. Старики могли бы рассказать им много о себе, поведать немало фронтовых историй, но дети не умеют долго слушать...

Однажды по пути с работы Иван Никитич увидел, что деревянный подосиновик на игровой площадке детсада “Серебряные крылышки” горел на солнце свежевыкрашенной шляпкой. Через вечер он спросил у Розы Николаевны кисть и краски, обновил и свой грибок: ножку — белым, шляпку — красным. Освежил качели, столы, скамейки...

Зот Наумыч в свою очередь отметил перемену на чужой площадке, что слегка затронуло его самолюбие. Он освежил забор: штакетины — зеленым, калитку — белым с желтым, под ромашку.

Иван Никитич долго думал, чем ответить, и наконец соорудил новые качели с лодочкой-сидением.

Через неделю во дворе детсада “Серебряные крылышки” взметнулась фанерная ракета...

Через полмесяца во дворе “Дюймовочки” выросла тесовая избушка на курьих ножках...

Время шло, а пыл соперничества не угасал. Перед Новым годом Иван Никитич вылепил Снегурочку с Дедом Морозом, Зот Наумыч ответил ледяной горкой...

Роза Николаевна и Вера Сергеевна недоумевали. И хоть активность сторожей вызывала у молодых руководительниц нечто вроде чувства утоленного честолюбия, была во всей этой истории обратная сторона — не на шутку развернувшееся соревнование прибавило хлопот. Доски, краску, кисти, гвозди — все нужно было изыскать и привезти, и все это — затраты.

На торжественном собрании в честь Дня Советской Армии Ивану Никитичу объявили благодарность и вручили подарок — голубую рубашку сорок шестого размера. Зоту Наумычу вручили Почетную грамоту и такую же рубашку пятьдесят шестого размера. Но при этом Роза Николаевна и Вера Сергеевна деликатно намекнули, что пора бы пригасить свои порывы.

До весны старики ревностно осматривали соперничающие игровые площадки, выжидая, кто первым бросит вызов.

Пришла весна, а с весной пришли хвори. Разболелась простреленная нога у Ивана Никитича, и он, опираясь на тросточку, с большим трудом преодолевал расстояние от дома до “Дюймовочки”. Зота Наумыча душил кашель, сухой и надрывной.

И оба призадумались. А подумать было о чем.

Иван Никитич получал письма из Омска, в которых сын звал к себе. Зот Наумыч получал письма из Новосибирска, и дочь уговаривала переехать. Старики пораскинули умом и оба пришли к одинаковому решению. Розе Николаевне и Вере Сергеевне, конечно же, не хотелось отпускать добросовестных работников, но и удерживать не стали — понимали их положение.

Уволились.

Уехали.

Сын Ивана Никитича — летчик, живет в новом районе за Иртышом, аэропорт рядом. По ночам старика беспокоил гул самолетов, привыкнуть к которому невозможно. Засыпал он лишь к утру. Бо-

лела нога, и во сне он громко стонал. В одну из бессонных ночей Иван Никитич оказался невольным свидетелем перешептываний сына со снохой.

“В конце концов, — выговаривала сноха, — я женщина, я устаю и на работе, и дома. Мне нужен отдых, но эти стоны! Почему бы отцу не подлечиться в госпитале?” Сын смолчал, но как-то раз, между прочим, посоветовал отцу обратиться в госпиталь. Иван Никитич согласился.

Дочь Зота Наумыча работает составителем поездов, живет в районе железнодорожного вокзала. По ночам старика беспокоил грохот вагонов, душил сухой кашель. И однажды он нечаянно подслушал разговор зятя с дочерью: “Мне очень не нравится его кашель, — вздохнул зять, — а ведь он целыми днями возится с внуками. Надо ему показаться врачу...”

Утром старику стало совсем худо, и дочь вызвала “скорую”...

Прошло еще с полгода.

Как-то раз Иван Никитич объявил сыну и снохе, что соскучился по городу, в котором вырос и состарился, и хотел бы проведать до сих пор не проданный домишко. Сноха и сын не возразили.

Иван Никитич по приезде встретился случайно с Розой Николаевной. Теперь она заведовала “Серебряными крылышками”, прежняя заведующая которым вышла замуж и уехала из города. Роза Николаевна призналась, что ей очень не хватает такого работника, каким был Иван Никитич, и предложила вернуться. Иван Никитич долго не раздумывал...

С тех пор через сутки в один и тот же час из домика в конце деревянной улочки выходит пешеход и направляется в детсад “Серебряные крылышки”. По дороге на работу и с работы Иван Никитич уже не встречается с Зотом Наумычем и не проходит мимо детсада “Дюймовочка”.

И всякий раз с горечью осознает: вот и стала дорога вдвое короче.





## ПРОЗА ПОЭТА

**ВОЛКОВЕЦ Владимир Михайлович** родился в 1953 году в Удмуртской АССР.

Окончил Шарьинский совхоз-техникум в Костромской области и Литературный институт им. А.М.Горького.

Служил в армии, работал в Советском леспромхозе.

Автор книг стихов "Сосновый дом" (1982), "Отцовский лес" (1986), "День начинается с ветра" (1991), "Встретимся в августе" (1994).

Член Союза писателей с 1988 года.

В Ханты-Мансийском автономном округе — с 1972 года. Живет в п. Советский, работает в районной газете "Путь Октября".

## КАМЕШКИ

На песчаных откосах вблизи болотного озера россыпи камешков. В пору великого похолодания каменисто-водяной поток с Уральского хребта докатился до наших мест. Среди сереньких камней попадались агаты со слоистыми кольцеваниями, желто-красный халцедон и сердолик. Просто азарт какой-то захватил нас с приятелем. Забыли об осенних грибах и ягодах и, тем более, о лесных красотах. Глаза машинально выискивали среди галечника самоцветы.

Я остановил себя, когда вдруг испугался — больше ни о чем не могу думать, только как бы отыскать повеселее сердолик, собрать побольше, стать обладателем целого состояния. Жуткое, противное, невытравимое, влекущее желание. Камни стали сниться, мучать. Мы еще несколько раз выезжали на то место и возвращались затемно с горстью желтовато-прозрачных, изъеденных временем камешков. И тянуло еще...

Это чувство прошло как только выпал первый снег. Но камешки не выбросил, лежат они в столе в жестяной коробке из-под леденцов — красивые, теплые, солнечные, как дни прошедшего лета.

## АКТУАЛЬНОЕ

Сажу на пне, курю, поглядываю вокруг. Из мха торчат кустики багульника, лаково поблескивают листья брусничника вперемежку с черничными, вытягивает усы из-под трехпалых зеленых ладошек костяника, щепоткой длинных иголок заявляет о себе кедр рядом с беловато-карими прутиками рябинки. Тут же валяются ошеренные шишки и иголки туго вкрученных в небо сосен. Стебли осота, множества трав и былинки выплескивают наружу свои, ни на чьи не похожие, листья, ягоды и соплодия...

Как все эти растения уживаются под солнцем на малом лоскутке земли? Вразуми человека, природа!

## ВОДОЛАЗИКИ

Стемнело, и дождь мощно, как срубленное дерево, рухнул на привокзальную площадь.

Мы сидели на скамейке, ждали поезда. На асфальте быстро образовалась широкая пузырячатая лужа. Внезапно сын тихо засмеялся.

— Ты чего?

Он резко вскинул голову и засмеялся громче. Еще не зная, что его развеселило, сам невольно заулыбался.

— Смотри, пузыри в луже, как подводные лодки, всплывут, посмотрят, все ли в порядке и опять уходят под воду.

— Или шустрые водолазки в прозрачных шлемах, — поддержал я его.

Мы оба засмеялись, потому что пузыри действительно очень были похожи на водолазиков...

Давно это было. Как-то сыну рассказал, над чем с ним смеялись.

— Да-а? А что тут смешного?

Он уже ничего не помнил.

## ПОРА ТОПОЛИНОГО ПУХА

В такие дни жажду проливного дождя — смыть вездесущий, клубящийся на сквозняках, студенисто подрагивающий в тени пух. В вагоне пригородной электрички, как шаровая молния, парил пуховый ком. Никому из пассажиров не хотелось с ним столкнуться. Отмахивались, отдували, боязливо прикрывались сумками.

Шар воспарял под потолок и, повисев, снова медленно опускался...

Один пассажир не выдержал. Осторожно, как бы поддерживая ком руками, сопроводил его до открытого окна. Встречный ветер тут же разорвал шар на пушинки.

А зимой вспоминаешь пуховейное время с легкой печалью.

## ВОРОНА

В пивнушке жила ворона. Замурзанная, вечно мокрая. Она голенасто шагала по столам, склевывала креветки и запивала остатка-

ми пива из кружек. Так напивалась, что под конец падала где-нибудь на столе, засыпала, откинув голову и вытянув узловатые лапы. Какой-нибудь щепетильный посетитель брал ее двумя пальцами за крыло и зашвыривал в угол, в кучу бумаг и обедков.

Очухавшись, ворона снова бродила по столам, попрошайничала.

Однажды мы ее перед самым закрытием вынесли на свежий воздух: жалко, сопьется птица. А утром, проходя мимо пивнушки, увидели ее переминающейся в толпе мужиков, жаждущих “опохмелятора”.

## СОН

Меня втокнули в самолет вместе с бравыми десантниками-парашютистами. Как только самолет набрал высоту, командир открыл дверь, и все молодцы с прибаутками повыскакивали. Моя очередь, а мне страшно — ни разу не прыгал с парашютом. Командир ободрительно похлопал по плечу, подвел к проему и толкнул... А внизу Земля такая маленькая — с пятак. Как бы не промазать! Как бы угадать в свой родной поселок! Но где его разглядишь с высоты?

Отчаянье и сиротливое чувство одиночества уже после пробуждения еще долго томило меня.

## ОБОИ

Кусками, лентами трудно обдирались обои со стен. Я насчитал семь слоев. Получалось, что где-то раз в пять лет стены меняли свой облик.

Голубые, розовые, в цветах и причудливых рисунках, куски обоев охапками выносил на огород и бросал в костер. Наконец, добрался до газет. Часть их оборвалась вместе с обоями, но на некоторых можно было прочесть обрывки доклада Маленкова на девятнадцатом съезде партии. А с оборвыша на простенке глянула на меня молодая бабушка...

— Ба-ашк, подойди-ка!



— А-а, вот газетка-то! Это кто же ее сюда наклеил? А я искала, искала... Ан нет, не потерялась. Это меня как передовицу сняли, телятницей когда в колхозе была...

Газета с бабушкиной фотографией была наклеена так, что смотреть на нее долго уставала шея. Я попытался ножом подрезать газетный лоскут, но бумага лопалась.

— Может, вместе с фанерой вырезать? Память, как-никак!

— Не мучься, не надо. Оставь. Снимок-то есть...

Так и остался бабушкин портрет в рамке новых обоев.

## ПРЯДЬ ВОЛОС

Пятилетняя девочка пряталась от мамы. Забежала в мой кабинет и залезла под стул. Притихла, положив голову на пол.

Мама заглянула.

— Не здесь ли прячется моя озорница?

Я слегка сдвинулся, чтобы прикрыть спрятавшуюся.

— Я здесь, — пискнула девочка.

— А ну вылезай! Не мешай дяде!

Она и не пошевелилась.

“Действительно, озорница”, — подумал я и опять слегка сдвинулся.

И вдруг девочка шустро поднялась с четверенок и побежала к маме.

Я машинально заглянул под стул, нарочито удивляясь — неужели она была рядом, а я и не заметил? — и ужаснулся: ножкой стула была зажата прядь волос. Она, видимо, выдрала ее, не сказав, что защемлены волосы. И не заплакала. Я поднял прядку детских волос — стыдно и больно мне стало.

А через несколько минут девочка опять вбежала в мой кабинет. Я обнял ее и, заглянув в чистые озорные глаза, чуть не заплакал.

## ЗАПОЙ

Третий день запоя: навязчивая, самому себе внушенная мысль об измене жены, бессилие и ревность, желание протрезветь и реально оценить случившееся, и невозможность это сделать. Приходят друзья, и каждый с бутылкой. Недолго сидят и уходят, огляде-

итог семейной драмы — битую посуду на полу, прокисший суп на плите... И нытье виновника: “Что мне делать? Развестись? А как я буду без нее жить?”

— Терпи...

— Нет, я повешусь, — мрачно падает он на кровать.

— Вешайся, если воли хватит, — так же мрачно отвечает очередной собутыльник.

И когда хозяин забывается в зыбкой полудреме, мягко притворив за собой дверь, уходит.

В квартире еще обитает полуголодная собачонка, которая, как дух хозяйки, убежавшей от кулаков мужа, обходит комнаты, обнюхивает углы, вздыхает. А потом вспрыгивает на кровать и свертывается клубком под боком хозяина. Чутко взлает, если опять кто-то заглянет на огонек. Разбудит хозяина, все более сознающего, что он наделал, все более молчаливого.

Трезвеет человек. Внутри его, где-то под сердцем и глубже начинает сифонить, сквозить все мучительней и больней гремучая смесь стыда, совести и тоски...

Господи, дай ему силы все вытерпеть!



# Югорское ожерелье

## Дмитрий СЕРГЕЕВ

*Родился в 1956 году в Ворошиловградской области. Окончил Донецкий государственный университет. С 1982 года живет в Сургуте, работает заместителем редактора газеты "Вестник". Автор сборника фантастических рассказов "Ложная дверь" (1993). Стихи печатались в местных газетах, в коллективном сборнике "Праздник первого снега" (1996).*

\* \* \*

Я стоял на вершине холма,  
А вокруг овладела пространством  
Белизна. Так нехитрым убранством  
Очищает и лечит зима.

Вот заря распластала свой стяг,  
День вставал из всенощного праха,  
И какая-то малая птаха  
Трепетала в сосновых ветвях.

Я смотрел, оторваться не мог —  
Светел миг, в неподвижности, в беге ль,  
Ведь Всевышний рисует, как Брейгель  
Или Брейгель творил, словно Бог.

\* \* \*

По жизни дороги нелегкие водят,  
И сущность пути постигаешь не вдруг,  
А самые светлые мысли приходят  
С усталостью ног и усталостью рук.

Порой наши годы бесследно проходят,  
И все, чем живем, обращается в прах,  
А самые мудрые мысли приходят  
С усталостью ночи и с болью в висках.

С усталостью лета листвою хороводят  
Осенние ветры в преддверии стуж,  
А самые грустные мысли приходят  
С усталостью чувств и усталостью душ.

\* \* \*

Христиане молятся Христу,  
Мусульмане молятся Аллаху,  
И иной готов идти на плаху  
Иль гореть привязанным к кресту.  
Может быть, они себе не лгут,  
Нам ничем их веру не измерить,  
Но труднее все же жить и верить  
В то, что после смерти не живут.

## Владислав Грушин

*Родился в 1967 году в г. Златоусте Челябинской области. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. Живет в Сургуте, работает на телевидении. Стихи печатались в сургутских газетах.*

\* \* \*

Мы с тобой обвенчаемся в маленькой церкви,  
Нас дождется у старых ворот экипаж.  
Будет май. Будет вечер таинственно меркнуть,  
Ветерок будет длинные гривы трепать.



Будет небо разбрасывать звездные горстки,  
А в лесу у дороги ручей прожурчит.  
В темный дом ты войдешь осторожно и робко  
И увидишь меня у зажженной свечи.

Улыбнешься, узнав... И задумчиво будто  
За окном покачается дремлющий сад.  
У меня на руках ты уснешь там под утро  
Точно так же, как кто-нибудь сто лет назад.

## Алла Кузнецова

*Родилась в Ханты-Мансийске. Окончила Ханты-Мансийское педагогическое училище. Работает в окрестном управлении статистики. Печатается впервые.*

\* \* \*

Голова сединою покрылась  
И года прибавляют морщин,  
Но я, кажется, крепко влюбилась  
В одного из прекрасных мужчин.  
Ах, любовь — это чудо земное,  
И душа молодеет опять,  
Если рядом любимый со мною —  
Разве большего можно желать?  
Он так нежно меня обнимает,  
А когда недоволен — кричит,  
Только сердце мое все прощает,  
И еще не один раз простит.  
Мы уже целый год, как знакомы,  
И характер мне поздно менять,  
Только все же мужчине такому  
Я ни в чем не могу отказать.  
Не брани меня, муж, что влюбилась,  
Что другой стал мне по сердцу вдруг.

Этот самый любимый мужчина —  
Мой Артемка, мой маленький внук.

## Владимир Мазин

*Родился в 1951 году в п. Ларьяк Нижневартовского района. Окончил Ленинградскую высшую школу культуры. Живет в Нижневартовске, работает организатором-методистом культурно-просветительной работы в Доме культуры. Стихи печатались в местных газетах, в "Тюмени литературной", в журнале "Югра".*

\* \* \*

Манит снова рыбака  
Синяя путина.  
Не страшит меня река  
Бурную стремниной.

Понесет мой обласок  
Быстрое течение  
На слияние протоков,  
В водное кружение.

Эх, весло, не подведи,  
Не скользи в ладонях.  
Будет отдых впереди,  
Где-нибудь в затоне!

\* \* \*

Мое село за чистыми снегами,  
За речками, озерами, прудами...  
Оно все ближе. И с годами  
Не разучусь по-детски тосковать.

Единожды чужбиной увлечен,  
Разлукой за неверность осужден  
Родимым именем полмира называть.  
Ларьякский неразгаданный мой сон,  
Моей полжизни боль и благодать,  
Где до сих пор зовет ребенком мать!  
Зимой я буду вечно вспоминать  
Оленей голубых на снежном насте  
И поверять все будущее счастье  
С привольной песней вахской тишины,  
Где мне напутствия хорошие даны,  
Куда вернусь из дальней стороны.

\* \* \*

В дебрях памяти блуждая,  
Я зазубрины считаю:  
Сто зазубрин —  
Сто обид  
Помнят слезы,  
Помнят стыд.  
Сто зазубрин за успех —  
Незаметные для всех.

## Галина Хорос

*Родилась в Ханты-Мансийске. Окончила факультет культ-просветработы Тюменского института искусства и культуры. Работает в отделе информации окружного Центра занятости населения. Стихи печатались в коллективном сборнике "На семи холмах соцветие" (1995).*

\* \* \*

Ты вчера рассказал про забавных зверьков,  
Что построили тайную норку,

Где спасаются вместе от общих врагов,  
Делят поровну хлебную корку...  
Про стихи говорил и про тихий шалаш,  
И про лето, которого нету...  
Далеко до весны — праздник кончился наш,  
Ты уедешь слоняться по свету.  
Вновь разрушится хрупкий домашний уют  
Без тепла электрической печки.  
Что подделаешь, даже зверьки устают  
Друг от друга. А мы — человечки.  
В этот дом, в этот дым ускользящих снов  
Ты когда-нибудь снова заглянешь.  
Помолчишь, вспоминая печальных зверьков...  
Все проходит. Себя не обманешь.

\* \* \*

*“...И пять морщинок на челе —  
От празднеств и обид...”*

**Б. Окуджава**

Опять морщинка режется — шестая! — на челе,  
Ах, до чего ж в единственном я нахожусь числе!..  
Головушку лохматую замучила мою  
Бессонница треклятая на тему “love you”.  
На брюхе перемазанном ты ползаешь в горах  
Не у Христа за пазухой — у черта на рогах.  
А мне б тебя по стриженной погладить голове,  
Твои веснушки рыжие отыскивать в траве...  
С гримасой перекошенной над книжками сидеть?  
Уж тут не до хорошего — дай бог не обалдеть!  
До умопомрачения шпаргалочки писать?  
Ах, мне не до учения — тебя бы увидеть!  
Дождусь того мгновения, не утону в слезах —  
Увижу отражение свое в твоих глазах.



Я на обоях не рисую  
 Кабалистические знаки —  
 Напротив, тряпочкою чистой  
 Стираю лишние следы.  
 Я становлюсь обыкновенной,  
 Волшебные забыты сказки,  
 Над ледяной рекою жизни  
 Не держат крылья из слюды.  
 Когда весенний рыжий ветер  
 В конвертах дней листочки чуда,  
 Украшенные лентой радуг,  
 Мне по ошибке принесет,  
 Я даже любопытства ради  
 Их распечатывать не буду —  
 Никто не ждет на них ответа,  
 А остальное все не в счет —  
 И мимолетные удачи,  
 И обретение покоя,  
 Осенне-зимнего сезона  
 Организованная грусть...  
 Что проживу — над тем поплачу,  
 Чужое для меня — чужое.  
 А что за вечным горизонтом —  
 Разгадывать я не берусь.

## Леонид Кабаев

*Родился в 1935 году в Запорожской области. Окончил Киевский государственный университет. В округе — с 1959 года. Первооткрыватель нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири, лауреат Ленинской премии в области науки и техники. Работает директором создаваемого в Ханты-Мансийске окружного музея геологии, нефти и газа.*



## Ночь Вождя

### Легенда

Давно это было. И где — не известно —  
История мчит, мелочей не шадя.  
Но только однажды прекрасной невестой  
Увидели воины дочку Вождя.

Из воинов всех выделялися двое.  
За ними стоял многочисленный род.  
Был каждый прекрасной невесты достоин,  
И оба с надеждой смотрели вперед...

Ах, если б она одного полюбила  
Иль в чем-то ином одного предпочла!  
Увы, словно с братьями, нежной и милой  
Она одинакова с ними была.

Такое в Природе случается часто,  
Обычное дело, как Солнце и Дождь.  
Со временем выбрала б девушка счастье,  
Но если бы не был отцом ее Вождь!

А он, умудренный военной тропею,  
Для племени — Вождь, а для дочки — Отец,  
Давно наблюдал, как чуждаются двое,  
И видел за этим печальный конец.

Он знал по другим беззащитность разлада,  
Когда распадается воинов строй.  
И дума Вождя беспощадная — “Надо!”  
Изгнала из сердца отцовский покой.

В ту ночь не звучали над стойбищем песни,  
В объятьях грозы содрогалась земля.  
Под кровом отцовским по телу невесты,  
По дочери телу! скользнула змея...

В ту ночь для него словно замерло время.  
Но утром, сверкающим после дождя,  
Единой семьею печалилось Племя  
“Нечаянным” горем Отца и Вождя.

### Молитва о гонимых судьбой

Когда, гонимые судьбой,  
Они, забыв уют семейный,  
Бредут по свету в дождь и зной,  
Дай, Бог, им встретить муравейник.

Не тот, что смотрит в небеса  
Уже законченной вершиной,  
А тот, что только зачался  
Иль возведен наполовину.

И, встретив то, что я просил,  
Дай им, Господь, остановиться,  
Найти в себе ума и сил,  
Чтоб разглядеть и восхититься

Великим Зодчим — Муравьем  
И той гармонией процесса,  
С какой они возводят Дом,  
Один на всех под кроной леса!

И дар сей, посланный Тобой,  
Пусть станет странникам убогим  
Их путеводною звездой,  
Что поведет к родным порогам.

### Светлана Ковальчук

*Родилась в селе Сытомино Сургутского района. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Живет в г. Радужный. Работает в газете “Варьеганский вестник”. Стихи печатались в местных газетах.*

\* \* \*

В тяжелом сумраке вокзала,  
На перепутье всех дорог  
Тебя увидела, узнала,  
Но ты узнать меня не смог.

А я, устав от одиночества,  
От всех превратностей судьбы,  
Благословила эту ночь с тобой  
И умоляла: "Подожди!"

Не исчезай в своем безвременьи,  
Не уезжай в свою судьбу".  
Но падал желтый лист осенний  
И ты шептал мне: "Не могу!"

Когда ж в страну твоих желаний  
Тебя умчали поезда,  
Я привыкала к расставанию,  
И с неба падала звезда.

## Татьяна Юргенсон

*Живет в Мегроне. Работает в редакции газеты "Мегрионские новости". Стихи печатались в местных газетах.*

\* \* \*

Что было на душе — известно только Богу,  
И слез, проросших сном, не видеть, не понять.  
Лишь утро напоит сомнением и тревогой,  
И время вновь идет от будущего вспять.

Прозрачные слова — осколки фраз далеких,  
Предательства рабы и слуги палача  
Смеются и стеклом, безжалостным и колким,  
Заполнят пустоту, где плакала Душа.

\* \* \*

Еще не пожелтели листья,  
Еще не верится, что холод  
Когда-то будет, и недолог  
У дней осенних череда.  
Но что-то грустное в дождинках,  
И брошен лету взгляд прощальный,  
И голос тихий и печальный  
Шепнет мне тихо: "Никогда

Не позабудешь это лето,  
Как, впрочем, все, что в жизни было,  
Как ненавидела, любила  
И как сжигала путь назад.  
А лето... Что ж, другое будет  
Из новых звуков, красок, мыслей,  
И может, приподнимет к выси  
Тебя чужой и нежный взгляд..."

Так мне шептал бродяга-ветер,  
И, убаюкивая, осень,  
На цыпочках подкравшись, в просинь  
Небес высоких влила сталь.  
И в полудреме ожиданья  
Утихла боль, прошла обида,  
И даже слез уже не видно...  
Проходит все. И все же жаль.

\* \* \*

Что в ярости находит сердце?  
Успокоенье или силы  
Сопротивления неправде?  
Огонь жестокий, беспощадный  
Уничтожает все, и душу  
Уже не согревает ласка,  
Тепло и бархатность покоя.

\* \* \*

В тяжелом сумраке вокзала,  
На перепутье всех дорог  
Тебя увидела, узнала,  
Но ты узнать меня не смог.

А я, устав от одиночества,  
От всех превратностей судьбы,  
Благословила эту ночь с тобой  
И умоляла: "Подожди!

Не исчезай в своем безвременьи,  
Не уезжай в свою судьбу".  
Но падал желтый лист осенний  
И ты шептал мне: "Не могу!"

Когда ж в страну твоих желаний  
Тебя умчали поезда,  
Я привыкала к расставанию,  
И с неба падала звезда.

## Татьяна Юргенсон

*Живет в Мегионе. Работает в редакции газеты "Мегионские новости". Стихи печатались в местных газетах.*

\* \* \*

Что было на душе — известно только Богу,  
И слез, проросших сном, не видеть, не понять.  
Лишь утро напоит сомнением и тревогой,  
И время вновь идет от будущего вспять.

Прозрачные слова — осколки фраз далеких,  
Предательства рабы и слуги палача  
Смеются и стеклом, безжалостным и колким,  
Заполнят пустоту, где плакала Душа.

\* \* \*

Еще не пожелтели листья,  
Еще не верится, что холод  
Когда-то будет, и недолог  
У дней осенних череда.  
Но что-то грустное в дождинках,  
И брошен лету взгляд прощальный,  
И голос тихий и печальный  
Шепнет мне тихо: "Никогда

Не позабудешь это лето,  
Как, впрочем, все, что в жизни было,  
Как ненавидела, любила  
И как сжигала путь назад.  
А лето... Что ж, другое будет  
Из новых звуков, красок, мыслей,  
И может, приподнимет к выси  
Тебя чужой и нежный взгляд..."

Так мне шептал бродяга-ветер,  
И, убаюкивая, осень,  
На цыпочках подкравшись, в просинь  
Небес высоких влила сталь.  
И в полудреме ожиданья  
Утихла боль, прошла обида,  
И даже слез уже не видно...  
Проходит все. И все же жаль.

\* \* \*

Что в ярости находит сердце?  
Успокоенье или силы  
Сопротивления неправде?  
Огонь жестокий, беспощадный  
Уничтожает все, и душу  
Уже не согревает ласка,  
Тепло и бархатность покоя.

Гнев закипает горькой пеной,  
И сильнодействующим ядом  
Он напитал глаза и мысли.  
И вместо слов любви и счастья  
Летят слова совсем иные  
И пробуждают силы Кармы.

Они запомнят... И рождение  
Вновь даст душе огонь и ярость,  
И боль, и мира сокрушение.  
Все будет вновь, покуда сердце  
И в гневе сохранится кротким,  
И всем простит свои обиды...

## Галина Слинкина

*Родилась в д. Белогорье Ханты-Мансийского района. Окончила филологический факультет Тюменского педагогического института. Работает корреспондентом окружной телерадиокомпании "Югория". Стихи печатались в окружной газете, в коллективном сборнике "Подорожник" (1990), в альманахе "Самотлор" (1975), в журнале "Югра". Известна как переводчик с хантыйского языка.*

### Стихи для детей

\* \* \*

Горе, горе со щенками!  
Словно кошки, коготками  
Терпеливой лайке — маме  
Исцарапали живот.  
Но охотница-бабуся  
Утешает нас без грусти:  
— На собаке заживет!



Потому не злится лайка,  
Кормит глупых малышей.  
У щенят окрепнут лапки,  
И полегче станет ей.  
Побегут играть щенки,  
Поумнеют коготки.

### **Бабушка плачет**

— Бабушка-рыбачка,  
Почему ты плачешь?  
Первый, настоящий  
Свой принес улов!

— Внучек, я надела  
Праздничное платье,  
Ужин для доbytчика  
На костре готов.

— Бабушка, любимая,  
Хватит, не печалься!  
Речка — наше поле,  
Рыба — словно хлеб.

— Внучек, мои слезы  
Радости и счастья.  
А еще отчасти  
Слезы эти — память  
Горестных  
Военных  
Моих детских лет.

### **Кашка**

Душист мой летний Север.  
Здесь кашка — белый клевер.

Махровая рубашка —  
Тепло одета кашка.

За мною вслед кочуя,  
С пушицею-пушинкой  
Она цветет у чума  
Медовою снежинкой.

### **Сорочата-космонавты**

Ветер вершины без жалости гнет,  
Небо ненастное к ночи метет.

Два сорочонка, качаясь в гнезде,  
Дружно толкуют вечерней звезде:

— Мы в межпланетном летим корабле.  
Кланяйся, бабушка, милой Земле.

Пусть не тревожатся рощи, поля —  
Мама у нас командир корабля!



## ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ДЕТЕЙ

*В окружном Центре культуры и искусств народов Севера состоялся конкурс "Сказочный чум", в котором приняли участие дети разных национальностей из городов и районов округа. На конкурс поступило 20 работ. Строгим, но доброжелательным жюри были отмечены сказки Мелентьева Алеши из поселка Ванзетур Березовского района, Морозовой Лиды из города Урая, Тайлаковой Нади из поселка Угут и Покачевой Анжели из деревни Таурово Сургутского района. Их сказки отправлены в Эстонию, где состоится заключительный тур конкурса, а юные сказочники и сказочницы — победители первого тура — отправятся на летний отдых в детский сказочный лагерь в Нурмесе (Финляндия).*

*Предлагаем нашим маленьким и взрослым читателям две работы, отмеченные жюри.*

### СКАЗКА ПРО СОБАКУ

В древности собака жила в лесу, одна жила. Скучно стало одной.

— Пойду искать друга.

В лесу встретился волк. Волку говорит:

— Волк, вдвоем жить будем.

Долго ли, коротко жили, ветка от тяжести снега сломалась, собака залаяла. Волк говорит:

— Зачем ты лаешь? Медведь придет, нас с тобой съест.

Собака подумала, что он боится медведя. Ушла искать другого друга. Встретилась с медведем.

— Здравствуй! Вместе давай жить.

Медведь согласился жить вместе. Ветка дерева от тяжести снега сломалась, собака опять залаяла. Медведь говорит:

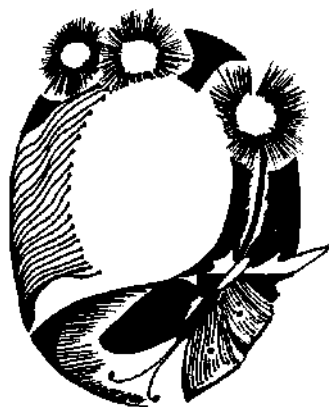
— Ты не лай, человек придет и убьет нас.  
Собака думает: “Медведь боится человека. Пойду искать человека”.

Встретилась с человеком и говорит ему:

— Человек, будем жить вместе, как друзья.

Собака и человек до сих пор живут вместе.

Мелентьев Алеша, ученик 3 класса,  
п. Ванзетур.



## ДОБРАЯ ДУША

В суровой сибирской тайге жили старик со старухой. Старик был доброй души человек, а старуха жадной и скупой. Жили они, поживали, пока с ними не приключилась такая история...

В один из летних теплых дней посылает старуха старика:



— Иди, сходи за лосятинкой, уж очень мне мяска хочется! Да смотри, без лосятины не возвращайся! — сказала старуха и пригрозила пальцем.

Делать нечего. Взял старик свое ружьишко и пошел в густую чащу. Идет он, а лес становится все гуще и гуще. Вот наконец увидел лосиху на просторной поляне, в конце которой виднелся илистый пруд. “Вот удача!” — подумал старик.

Лосиха стояла и тревожным взглядом смотрела в пруд. Прошло десять минут. Лосиха не уходила, топталась на месте.

Тут-то старик и разглядел в вязком пруду лосенка. Он увяз в топком иле и никак не мог выбраться. Лосиха не бросила его даже при виде смертельной опасности. Она не знала, как помочь своему малышу.

Сжалилось доброе сердце старика, ступил он на поляну. Лосиха отскочила в сторону и испуганно посмотрела на незнакомца, словно хотела сказать: “С чем же ты пришел, старик? Со злым умыслом или с помощью?”

Старик, словно прочитав ее мысли, улыбнулся и сказал ласково:

— Не трону я тебя, дуреха. Ни тебя, ни лосенка. — Сказал так и достал веревку. Связал петлю и вытащил лосенка, благополучно освободил его. Лосенок испуганно отскочил к матери. А лосиха подошла к старику и благодарно зачмокала губами, как будто хотела сказать: “Спасибо тебе за помощь!”

Стало смеркаться, и старик, не выполнив старухиного наказа, поплелся домой.

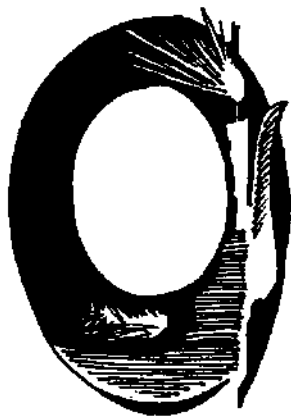
Пришел, а старуха ну бранить:

— Да какой же ты охотник! Из тайги пустым возвратился!

Опустил старик голову и рассказал старухе, что с ним произошло.

Старуха поняла, что напрасно бранила мужа, извинилась перед ним. Обнялись они, и говорит старик старухе:  
— Мансийскому охотнику главное не ружье, а добрая душа!

Степичева Аня, ученица 3 класса  
школы № 7 г. Ханты-Мансийска.



### Ирина ДЕРЯБИНА

*Стихи девятиклассницы из Ханты-Мансийска Иры Дерябиной часто звучат по окружному радио, печатались в окружных газетах, в коллективном сборнике "На семи холмах соцветие" (1995), отмечены на областных семинарах молодых литераторов.*

\* \* \*

Тайна под легкой и темной вуалью,  
Призрачный образ, портрет незнакомки

Манит, меня в расплывчатой дали  
Свой силуэт она, четкий и ломкий.  
Женщина! Кто она? Хрупкая, нежная?  
Нимфа? Воспетый любви идеал?  
Кто же? Богиня иль ангел мятежный,  
Взор чей так властно и гордо пылал?  
Жанна д'Арк в сердце каждой сияет  
Именем Родины, духом свободным,  
Мать, чья любовь не угаснет святая,  
Женщина, властно сковавшая годы.

\* \* \*

Милые дамы. Богини каприза,  
Тайных мечтаний и пылкой любви.  
Радостью легкой пусть будут пронизаны  
Все ваши трудные, долгие дни.  
Сбросьте усталость, морщинки вспутните  
Юной улыбкой счастливой Дианы.  
Знайте, придет тот загадочный витязь...  
И осознайте себя идеалом!

\* \* \*

Покоится Вечность святая,  
И в мрамор заковано Время,  
И Рима великая Тайна  
Под темными сводами дремлет...

Сокровищ своих не откроет  
Могучая длань Ватикана,  
Лишь Имя на камне омоют  
Прозрачные воды фонтанов.







КРИТИКА

И

БИБЛИОГРАФИЯ



## В. Огрызко

### КТО ПОМОЖЕТ ЛИТЕРАТОРАМ СЕВЕРА<sup>1</sup>

В своем развитии литературы народов Севера прошли несколько этапов. На первом этапе, хронологически охватывающем конец 20-х — 40-е годы, большинство произведений создавались по принципу “прежде и теперь”. Писатели сравнивали, как жили потомственные таежники до 1917 года и после. В конце 40-х — начале 60-х годов приоритет получили автобиографические повести. В это время многие литераторы, обратившись к истории своего рода, стремились показать путь северян, образно говоря, от шаманизма к коммунизму. Пример тому — творчество Ю. Шесталова, дед которого был известным на реке Сосьва шаманом, а отец — одним из первых мансийских коммунистов и председателем колхоза. И следующий этап, берущий свой отсчет с середины 60-х годов, связан с освоением романного эпоса.

Но главная проблема оказалась в другом. В силу ряда причин получилось, что самые насущные вопросы Севера в 50—70-е годы вдруг выпали из поля зрения ведущих писателей, в том числе Ю. Рытхэу, Ю. Шесталова и Г. Ходжера. Литература словно не заметила, что целый

ряд народов дал за последние десятилетия отрицательный прирост. На грани гибели оказались многие материнские языки. А в некоторых районах произошел крах оленеводства — основы жизни малочисленных северных этносов.

Первые произведения, в чем-то переосмысливающие историю Севера, появились только в середине 80-х годов. Это романы П. Ламутского “Запретный зверь”, Е. Айпина “Ханты, или Звезда Утренней Зари”, повести Г. Кэптукэ “Имеющая свое имя, Джелтула-река”, Т. Молдановой “В гнездышке одиноком”, поэма Л. Тарагупты “Пословский причал”. Эти и некоторые другие книги открыли нам неизвестный Север, рассказали о том, как десять с лишним веков назад предки тунгусо-маньчжуров складывали государство Бохай, потомственные кочевники сопротивлялись насильственной коллективизации и пролили в Приобье в начале 30-х годов свою кровь, на Ямале поднялись волнения ненцев “Мандалай” в защиту кочевого образа жизни, как шло в 35—36-м годах тотальное уничтожение эвенков-манегров в Приамурье и поголовное истребление главных носителей тра-

<sup>1</sup> Редакция благодарна редакции еженедельника “Литературная Россия”, критику Вячеславу Вячеславовичу Огрызко, писателю Эрнсту Венедиктовичу Бутину, поэту Виктору Ивановичу Захарченко за предоставленные материалы.

диционной культуры северян-шаманов.

О том, как трогические ошибки прошлого отразились на современных, можно узнать, прочитав последние произведения ненки А. Неркаги, юкагира Н. Курилова, эвенка А. Латкина. Давайте перечитаем самую первую повесть Неркаги "Анико из рода Ного". Вот она — сегодняшняя драма ненцев. Дочь не может понять отца: учась в интернатах и институтах, она так оторвалась от своего народа, что даже забыла материнский язык. После вынужденной многолетней разлуки, оказавшись в чуме, молодая ненка чурается многих обычаев северян. Она уже не может жить в тундре. Ее манят огни большого города, который олицетворяет не столько сокровищницу знаний, сколько индустрию развлечений. Так возникает целый клубок во многом неразрешимых противоречий. Выпастать оленей остаются, как правило, одни недоросли, но и они не в состоянии найти себе жен — хранительниц очага, отсюда обилие среди северян бобылей. Впрочем, все проблемы из жизни тундровиков, обозначенные в повести Неркаги, тут и не перечислить.

Но попробуем выделить хотя бы самые актуальные вопросы литературной политики.

Для многих писателей проблема из проблем — на каком языке творить. Дело в том, что у большинства народов Севера литературные языки только формируются. Как правило, в языке любого северного народа существует несколько диалектов и десятки различных говоров. Причем

носители одного диалекта далеко не всегда понимают носителей другого диалекта.

В свое время ученые, создавая письменность для малочисленных народов, отталкивались от диалекта, на котором говорила большая часть этноса. Наверное, на начальном этапе, когда ставилась задача ликвидировать среди кочевников неграмотность, это был правильный путь. Но каково оказалось творческим людям? Если вдуматься, им предлагалось сочинять свои произведения не на материнском говоре, а на так называемом опорном диалекте. И получилось, что при жизни саамка Октябрина Воронова на родном языке печататься не могла. И только потому, что она писала на инокангском диалекте, а ученые за основу литературного языка саамов выбрали кильдинский диалект. Годы ушли у эскимоски Зои Ненлюмкиной, чтобы отстоять право издаваться не на чужом чаплинском, а на своем родном науканском диалекте. Полагаю, лишь время способно рассудить, на каком диалекте может создаваться литература, и какие диалекты будут иметь исключительно бытовое значение.

Впрочем, нередко приходится сталкиваться и с откровенными спекуляциями на национальной принадлежности тех или иных авторов. Дело доходит до того, что находятся проходимцы, которые представляют сначала тексты на русском языке, выдавая их за подстрочники, потом ждут, когда кто-нибудь доведет эти подстрочники до ума, и только после этого литературно обработанные материалы они переводят на свой

родной язык и отдают в печать как оригиналы. Таким путем пыталась одно время добиться литературной славы, к примеру, чукчанка Валентина Вэкэт. Записав однажды после многочисленных настоятельных просьб магаданского этнографа и прозаика Владилена Леонтьева старинное предание о происхождении знаменитого Узлена, Вэкэт решила, что может проявить себя и как чукотская поэтесса. Но стихи стала писать не на чукотском языке, а по той схеме, которую я уже описал.

Хотя сама Вэкэт тоже пострадала от литературного разбоя. Некоторые ее тексты, обсуждавшиеся на различных творческих семинарах как подстрочники с чукотского, однажды без какого-либо объяснения слегка подредактированными вошли в ткань повести А.Мифтахутдинова "Жить и радоваться", но, естественно, без ссылки на Вэкэт. А еще раньше Мифтахутдинов, отрецензировав рукопись автобиографической повести Ненлюмкиной, не постеснялся без ведома автора прочитанный материал в слегка переработанном виде включить в другую свою книгу "Время игры в эскимосский мяч". Как северянам после таких историй доверять литературным консультантам?!

И здесь, так сказать, в полный рост встает проблема перевода. Кстати, переводчик в силу ряда особенностей исторического развития малочисленных народов очень часто вынужден выполнять роль собирателя литературных сил у этих народов и наставника. Нередко в его руки попадают уникальные материалы, но в литературном плане организован-

ные весьма беспомощно. И вот тут многое зависит от переводчика: то ли он отмахнется от оказавшихся у него рукописей, то ли решится "причесать" тексты под свою гребенку, даже не пытаясь сохранить национальный колорит, или же начнет кропотливую работу с автором, включающую в себя подробнейший разбор подстрочников, совместное обсуждение написанных глав, составление планов и т. д., да еще возьмется и за изучение национальных языков. Да, последний вариант самый сложный. Но именно его избрали в свое время Ю.Шестакова, В.Португалов, Н.Грудинина, А.Пчелкин, А.Черевченко и А.Чадаева. Благодаря им читающий мир открыл для себя творчество А.Кымытваль, В.Тынескина, Понгса Киле, Анны Ходжер...

Многие писатели народов Севера сейчас пишут как на родном и русском языках, демонстрируя реальное двуязычие (Е.Айпин, В.Ледков, А.Немтушкин), так и исключительно на русском языке (А.Неркаги, А.Тарханов, Н.Селиванова, Петр Киле). И некоторые критики выдвигают из этого проблему: мол, что создают эти авторы — русскую или национальную литературу. Но лично я не вижу здесь предмета для дискуссии. Во-первых, далеко не все названные писатели утратили родной язык по собственной воле, многие его не знают от рождения. Такова в 50—60-е годы была официальная политика советского государства — постепенно заставить все народы писать и говорить на русском языке. А во-вторых, очень многое зависит от мироощущения человека.

Можно писать на хорошем русском языке и продолжать чувствовать себя, к примеру, селькупом. В конце концов не спорим же мы о том, к какой литературе относятся произведения киргиза Чингиза Айтматова или казаха Олжаса Сулейменова, сочиненные на русском языке. Так почему же не могут творить на языке Пушкина и Гоголя и оставаться эвеном Михаил Колесов, хантыйкой Татьяна Молданова или ульчанкой Мария Дечули? Какое право мы имеем отказать им считаться национальными писателями?

Еще одна проблема — где печататься. Как известно, с 1976 года журнал "Полярная звезда" ежегодно один из своих номеров отдавал под произведения писателей народов Севера. Затем, с появлением в Якутске в 1991 году журнала "Розовая чайка", целиком посвященного литературам малочисленных народов, "Полярная звезда" стала печатать северян уже без какой-либо системы, от случая к случаю. Однако сил и, видимо, средств у издателей нового журнала хватило лишь на два номера да еще несколько брошюр с текстами эвенских, эвенкийских и юкагирских авторов на языке оригинала и в русском переводе.

Другая проблема связана с преподаванием северных литератур как в национальных, так и русских школах региона. Сейчас эти литературы изучаются, как правило, факультативно. Типовых программ нет. Учителя вынуждены сами разрабатывать новые школьные курсы. Настоящими подвижниками Севера проявили себя Дарья Ивановна Наумова, вот уже почти три десятилетия ра-

ботающая в селе Нелемное на севере Якутии, и Александра Петровна Таркова, преподающая язык и литературу эвенов в Томторской школе Оймяконского улуса. Они составили свои авторские программы по литературам Севера. Если судить о них по гамбургскому счету, то увидим миллион недостатков. Но почему-то многие при этом забывают, что энтузиасты из отдаленных поселков лишены информации. К сожалению, они не знают даже о том, какие книги вышли у писателей Севера за последние 15 лет.

Что же касается учебников для педучилищ и старших классов северных школ, то первый из них появился лишь в 1987 году (автор — И.Смольников), но он практически не отражал реалий современного литературного процесса у народов Севера. Очень слабеньким получилось и пособие С.Петровой "Эвенская литература в школах Республики Саха (Якутия)", изданное в 1994 году. В этой книге представлено творчество только четырех авторов — Тарабукина, Ламутского, Лебедева и Кривошапкина и ни слова о Баргачане, Боковой и других мастерах эвенского слова. Из пособия не ясно, в каких классах рекомендует составитель изучать те или иные произведения.

Вообще складывается впечатление, что в программы и учебники последних лет усиленно насаждаются далеко не лучшие образцы словесности, предпочтение явно отдается не столько настоящим художникам, а исключительно общественным деятелям. Пример тому — откровенно слабые, крайне невразуми-

тельные, очень скучные произведения Н.Калитина и В.Аржук. А книги А.Кривошапкина, которые заставляют изучать чуть ли не во всех школах Якутии? Тоже, увы, мягко говоря, не шедевры. Понятно, что он депутат и президент региональной ассоциации народов Севера. Но при чем тут литература?

А давайте взглянем на качество обучения в Якутском университете, к примеру, на кафедре северной филологии. Там созданы три группы студентов из числа эвенков, эвенков и юкагиров. И эти группы изучают только свои национальные литературы. В программе нет даже обзорных лекций по всем литературам Севера. Студенты не могут сравнить

книги писателей своего народа даже с достижениями (или просчетами) писателей, принадлежащих к одной и той же языковой группе, например, тунгусо-маньчжурской. Такая практика преподавания приводит к чересчур завышенным оценкам творчества отдельных литераторов, а главное — к обеднению представлений студентов о традициях и нынешних проблемах народов Севера.

Словом, проблем накопилось много. Но почему-то мы никак не можем добиться их полнокровного обсуждения ни на страницах литературной печати, ни в университетских аудиториях, ни на писательских собраниях.

## "КЛЯТВОПРЕСТУПНИК"

Доминанта творчества известно-го хантыйского писателя Е.Айпина — страстная и неослабевающая любовь к малой родине его, Югре, о которой многие знают лишь как о средоточии тюменских нефте-газопромыслов, и стремление художественными средствами, через систему достоверных и убедительных образов поведать о мировоззрении, мироощущении, счастье и горе, радостях и бедах небольшого северного народа ханты, летописцем которого назвал Айпина Сергей Залыгин.

Плоть от плоти народа своего, Айпин, естественно, исповедует и в художественной форме пропагандирует обретенные северными этносами в течение веков моральные, духовные, этические принципы, кото-

рые сформировались в суровых испытаниях на выживание: честность и искренность, доверие, выливающееся в безоглядную доверчивость (рассказ "Во тьме", роман "Ханты"), готовность и способность выручить попавшего в беду, даже если это враг (рассказ "Конец рода Лагермов"), простодушие, бесхитрость и бескорыстность — качества, заложенные в человеке изначально, а у аборигенов Севера закрепленные еще и генетически историческим отбором, требовавшим взаимовыручки и толерантного отношения к жестким природным условиям, сложившимся обстоятельствам существования народности, семьи, человека.

Конечно, Айпин далек от мысли идеализировать прошлое, даже очень далекое — старину, своих одиночек

ровцев, считать его руссоистским “золотым веком”, а предков своих руссоистским же “естественным человеком”, потому что и в стародавние времена были бедные и богатые, счастливые и несчастные, были войны (например, глава о Кольчуге-реке в рассказе “Русский Лекарь”), однако и по Айпину, и по данным этнологии прежде имущественное расслоение было минимальным и определялось трудолюбием, старательностью членов семьи, взаимоподдержка внутри рода считалась обязательным и святым делом, а конфликты, в том числе и вооруженные, возникали только из-за необходимости сохранить промысловое — жизненное! — пространство. Даже русская колонизация не повредила этому оптимуму жизни тажников (“Ханты”, “Клятвопреступник”), потому что соблюдался баланс интересов государства и коренного населения.

Однако всесокрушающий напор уже в нашем столетии новых конкистадоров — “цивилизаторов” был настолько беспощадным и безжалостным, что даже кроткие, фаталистически настроенные ханты, исповедующие единство и родство всего живого, анимизм, пантеизм и даже антропоморфизм (“Медвежье горе”), а потому не способные никого — тем более безвинного — обидеть (“Бездомная собака”), не выдержали, попытались противостоять натиску враждебных сил во время гражданской войны, Приобского 20-х и мало кому известного — уверен: до книги Айпина не известного абсолютному большинству — Казымского 1934—1935 годов восстаний (“Клятвопрес-

тупник”, “Божье Послание”, “Русский Лекарь”, “Ханты”).

И хотя внутрисоциальная война (“Красные называли белых “бандитами”, а их отряды — “бандами”. Белые тоже метили красных “бандитами” и “карателями”... Те и другие грабили и насиловали”) всегда ужасна и бессмысленна, симпатии персонажей Айпина все же на стороне тех, кто активно противодействовал нашествию комиссаров, ибо “комиссарова власть коварна, хитра” и приводит в отчаяние: “Что же ты натворил, комиссарик?! Зачем столкнул человека с человеком, родича с родичами, народы с народами и пустил большую кровь?! Зачем?! За-ради чего?! За-ради чего всю эту пакость сотворил?!” (“Клятвопреступник”). Оттого-то ханты не только помогают Лене Липецкому, который, умирая, тоже “все вздыхал: Россия-Россия, сколько людей загубила... И за что?! За что?!” — потому что “нет победителей. Белые — русские. И красные — русские. Белые — остяки. И красные — остяки. И все они — люди!”, но и слагают о нем, после смерти его, легенды, мифологизируя, героизируя образ этого непримиримого борца с красными (“Божье Послание”). Потому что те, воплотившись в “энкевэдэ”, которые преследовали и Липецкого, начнут вовсе уж свиреповать, бесчинствовать, творить беззаконие, бессудно расправляться с невиноватыми ни в чем (“Ханты”), чтобы, выдохшись, докатиться по “комиссарьеву руслу” до маразма власти на верхов и полного ничтожества на местах, в глубинке, где “комиссаровы наследыши шибко



помельчали и утратили силу в народе”, превратившись, как партийный секретарь (“Клятвопреспутник”), в проворовавшихся, разваливающих любое дело, вызывающих презрение и жалость демагогствующих пустомель.

А потом обрушилась новая беда: нагрянули нефте-газодобытчики, которым были чужды проблемы, непонятны особенности и края, и его жителей.

Перерастающая в антагонизм несовместимость двух миров — идиллического, патриархального и меркантильного, технократического — предстала поначалу в работах Айпина как всего лишь проявление презрительного неприятия местных нравов, да и самих аборигенов, со стороны только некоторых, или алчных, или люмпенизированных, рвачей и подонков: Буркин (“Последний рейс”), Беспалый (“Конец рода Лагермов”), Митроха (“Время дождей”) и другие. Однако усиливающееся, всеохватывающее наступление агрессивной “цивилизации”, уничтожающей все традиционное и национальное как якобы архаичное, нелепое, отжившее, помогло увидеть за частностями закономерность, тенденцию: равнодушие хищнической Системы и к отдельному человеку, и к людям вообще. “А тьма все сгущалась, — пишет Айпин в рассказе “Во тьме”. — А тьма поглощала пе-

телища, берег, лес и, наконец, поглотила все вокруг, будто никогда не стояло здесь древнее селение, будто никогда не жили тут люди охотничьего рода Ефрема...”

Наиболее явственно и четко выражена эта концепция в притчевом рассказе “Волки”, герой которого — Охотник — готов лучше погибнуть, чем принять помощь от Буровой — смрадного чудовища.

А ведь все могло быть по-иному: “Пусть копаются нефтяные люди, только бы не мешали. А земли вон сколько, если по-родственному, так на всех хватит. Найдется место и охотнику, и оленю, и нефтяному человеку. Издревле ханты считали, что земля священная и она принадлежит всем живущим сразу и никому в отдельности. И нет большего зла, ежели кто из-за нее ссору затеет...”

Эпическое произведение это (роман “Ханты”) заслуживает отдельного серьезного и обстоятельного разговора, ибо оно — подлинная энциклопедия истории, современной жизни, психологии, нравственно-этических принципов ханты.

Эрист БУТИН

(Еремей Айпин. Клятвопреступник: Избранное. — М.: “Наш современник”, 1995)

### “Срывается сердце на крики...”

В издательстве “СофтДизайн” очередная новинка — книга стихов сургутского поэта Петра Антоновича Суханова “Площадь Света”. Это

итог не только десятилетней работы автора (последняя его книга “Миры и меры” вышла в 1986 году), но, скорее всего, своеобразный промежу-

точный финиш, попытка окинуть пристальным взором и поэтическое пространство, и прожитые годы, и эпоху, в которой довелось жить и выживать.

*Упадет ли звезда далеко,  
оборвется ли жизнь  
на ходу —  
удивительно все...  
И легко —  
словно зерна — летим в борозду...  
— Да куда же уходим? — спрошу  
у ручья, поводавшего свет.  
Но теченья таинственный шум  
заглушает вопрос и ответ.*

Книга объемная — в ней 415 страниц! Вот что пишет в предисловии Зот Тоболкин: “Я совершенно уверен, что “Площадь Света” займет самое высокое место в сердцах и душах читателей, а сам Поэт, возможно, еще и не представляет размах и силу своего таланта. Я счастлив, что в России есть такой человек”.

Мне же не хочется уподобляться абсолютному судье и раздавать одним оплеухи, а другим медали — время само расставит точки над “i”. Хочется в деталях поговорить о творчестве Петра Суханова — явлении явно неординарном, а с появлением книги “Площадь Света” — вызывающем самые различные мнения.

Начнем с того, что Петр Суханов — не новичок в поэзии. Это его четвертая книга. Но именно в ней, как мне кажется, он сумел прорваться к себе самому (“от фальши — к истине, от истины — к свободе”), сумел осознать себя не заолустным провинциальным поэтом, а личностью высшего порядка, пре-

тендующей на самые высокие вершины.

*Вот — Бенуа, Мольер, Ван Гог...  
Вот — Беранже, Монтень...  
и что же —  
ужели каждый  
как пророк?..  
А Босх?.. — ужель мы так похожи?!  
Похожи духом или сном,  
душой ли,  
тенью ли,  
обличьем?..  
Но никогда еще — умом,  
но никогда уже —  
величьем.*

Что ни говори, как ни кляни перестройку, а свобода — великая вещь! Когда поэта не держат за горло цепкие редакторские руки, когда он не живет в идеологических вольерах, а озирает мыслью все сущее на земле, когда полуправда для него — ложь, а душа стремится к истине, — вот тогда-то и появляется не нивелированное усредненное нечто, без огрехов и слабостей, а настоящее лицо каждого; вот тогда-то мы и видим, кто что может сказать! И уже не спрячется за красотостями и вылезет на свет твоя подлая низкая душонка, и уже не затрамбуют в стандарты и клише слово звонкое, незаурядное, мысль глубокую и честную!

Что меня поразило в книге Петра Суханова? Что открылось мне? Это прежде всего мощь лирического “Я”, ясность и глубина звучания личностного начала. Возникла сразу ассоциация — Прометей освобожденный. Весь мир преломляется через кристалл человеческой личности, “Я” — есть мерило всех вещей и поступков.

*Я вызревал, как жердь в заборе —  
утраю, медленно, один.  
Как раковина в Черном море — века  
вылазил из глубин...  
Как эта улица напротив  
С кровавым флагом на горбу —  
я лез, все более уродлив,  
наверх,  
на свет — как дым в трубу...*

Человек свободен, но душа его,  
оглянувшись окрест, уязвляется несовершенством мира, страдает и мучается.

*Улыбаюсь ли — жизни вразрез —  
или думаю правду какую,  
все едино: и поезд, и лес,  
убегающий в темень ночную,  
и немой караул фонарей,  
и алтайская степь золотая,  
и шутник-проводник — у дверей,  
предлагающий спирт вместо чая...  
И на станциях —  
сгорбленный люд,  
и на рельсах — разбитые стыки...  
Все едино: там или тут,  
но срывается сердце  
на крики!*

“Срывается сердце на крики”,  
потому что чувствует, как “время  
стремится стремительно”, неудержимо,  
потому что так много упущено,  
а жизни остается не так много.

*Расекаясь по каплям росы,  
словно гром по краям горизонта,  
обрываются  
наши часы —  
как окопы за линией фронта...*

В основе лирики Петра Суханова лежат размышления, поиск мысли — не случайно самый большой его цикл называется “Раздумья”. В стихах его нет образности ради об-

раза — все эти элементы сознательно уведены на второй план, потому что это — поэзия мысли, где все в конце концов подчинено ее главному течению, ее неожиданным поворотам, ее парадоксам.

*Рассвет — как вдох, закат — как выдох...  
И не понять уже порой,  
в каких абстракциях и видах  
мы представляем шар земной:  
то — грань, застывшая свободно,  
то — крик, сдавивший пустоту,  
то — мысль, затянутая плотно  
во взгляд, ползущий по холсту...  
А вот и — голубь на карнизе,  
уже расправивший крыла!..  
И только жизнь, как штрих в эскизе,  
не знает формы и числа.*

Отсюда некоторая жесткость, стремительность, дидактичность стиха, но попробуйте в несколько строчек вместить целую человеческую жизнь, страшную нелепость трагедии и безвыходность любви — так, как это сделал поэт в стихотворении “Любовь”.

*— Ударь!.. — сказала женщина ему, —  
Всю жизнь грешна...  
И он ударил.  
И в тюрьму  
его взяла страна.  
Вернулся — сломанный, седой.  
Всем дикарям — дикарь...  
Она спросила:  
“Что с тобой?...”  
А он в ответ: “Ударь!..”*

Стихи Петра Суханова — в русле русского классического стиха, они в меру традиционны, в них чувствуется глубокая книжная культура, и вместе с тем — они своеобразны, сво-

образны, с легко узнаваемым, присутствующим только ему образным строем, способом построения стиха и строки. Очень сильны концовки, дающие стихотворению новое дыхание, переворачивающие смысл, поражающие своей необычностью.

*Я присяду в стороне,  
вылью за удачу...  
Хорошо живется мне —  
оттого и плачу.*

Стихи Петра Суханова неоднородны: есть взлеты, есть проходные вещи, есть гениальные строчки и есть досадные промахи, но несомненно одно: уровень сборника достаточно высок. И это позволяет забыть о неудачах и думать прежде всего о многочисленных находках. А эти находки — результат высокого мастерства, серьезной работы сердца и души. Одним словом, таланта. Самобытного таланта.

“Поэты — словно церкви при дорогах...” — пишет поэт, потому что

книга эта — не игра честолюбия, а в конечном итоге — путь к истинному читателю, к его чувствам и мыслям. Это рассказ о душе — заложнице страшной эпохи, но одиножды рожденной, безумно любящей жизнь и верящей в свое высокое предназначение.

*Все бесконечно: мысль и точка,  
и свет,  
и звук,  
и мир вокруг,  
и радость, если ваша дочка  
вдруг произносит слово “друг”...  
Все быстро: миг, случайность,  
и век, и жизнь...  
Все — как во сне!  
И лишь души  
необычайность  
непостижима вам и мне...*

**Виктор ЗАХАРЧЕНКО**

(Петр Суханов. Площадь Света: Книга стихотворений. — Тюмень, СофтДизайн, 1995).



## К литературному календарю Югры на 1997 год:

**18 ФЕВРАЛЯ** — 50 лет поэту Петру Антоновичу Суханову. Автор книг стихов “Время первых признаний” (1982), “Встреча” (1984), “Миры и меры” (1986), “Площадь Света” (1995). Член Союза писателей России. Живет в Сургуте.

**20-22 ФЕВРАЛЯ** — 30 лет назад в Ханты-Мансийске состоялся первый окружной семинар-совещание молодых поэтов и прозаиков, организованный окружным комитетом комсомола и Домом народного творчества.

**19 МАРТА** — 135 лет со дня рождения Хрисанфа Мефодьевича Лопарева (1862-1918), уроженца села Самарова Тобольской губернии. Его перу принадлежат книга “Самарово. Село Тобольской губернии и округа. Хроника, воспоминания и материалы о его прошлом” и сборник стихов “Пророк”, изданный в Санкт-Петербурге в 1899 и 1912 годах.

**17 МАЯ** — 60 лет писателю Николаю Павловичу Смирнову. Автор книг прозы “Маки в сердце” (1964), “Было на Самотлоре” (1982), “Глубинные горизонты” (1990) и многих других. Член Союза писателей России. Живет в Нижневартовске.

**22 ИЮНЯ** — 60 лет первому профессиональному поэту-манси Ювану (Ивану Николаевичу) Шесталову. Автор более сорока книг стихов, прозы и публицистики. Среди них — “Пойте, мои звезды” (1959), “Синий ветер каслания” (1964), “Языческая поэма” (1973), “Огонь исцеления” (1989). За книгу “Языческая поэма” удостоен Государственной премии РСФСР им. Горького (1981). Основатель и главный редактор издательства и одноименного журнала “Стерх”, газеты “Белый журавль”.

**29 ИЮНЯ — 2 ИЮЛЯ** — 10 лет назад в Ханты-Мансийском автономном округе состоялись Дни еженедельника “Литературная Россия”, завершившиеся в Ханты-Мансийске работой “круг-

лого стола” выездной редакции на тему “Экология. Нравственность. Литература”.

**28 АВГУСТА** — 70 лет прозаику Ванцетти Ивановичу Чукреву, уроженцу села Самарова. Автор многих книг прозы, среди них — “Орудия в чехлах” (1959), “Судьба и судьбы” (1965), “Пурпуровый лес” (1981). Секретарь правления Союза писателей России. Живет в Москве.

**27 СЕНТЯБРЯ** — 80 лет со дня рождения зачинателя хантыйской литературы Григория Дмитриевича Лазарева (1917-1979). Поэт, прозаик, журналист, переводчик. Автор книг рассказов для детей на хантыйском языке “Ас мувны” (1960), “Сорнегг тов” (1966), сборника “Рассказы и сказки старого Ики” (1963) на русском языке, а также многочисленных стихотворений и переводов, опубликованных в газетах, журналах, коллективных сборниках.

**23 ОКТЯБРЯ** — 85 лет со дня рождения хантыйской сказительницы, народной мастерицы Таисии Сергеевны Чучелиной (1912-1984). Автор книг “Золотой город” (1969) в литературной обработке С. Фалеевой, “Олле и Гусь-богатырь” (1989) в соавторстве с Г. Слинкиной, отдельных произведений, опубликованных в коллективных сборниках и газетах.

### В 1997 году:

**60 ЛЕТ** назад письменность ханты, манси, ненцев переведена с латинского на русский алфавит.

**60 ЛЕТ** назад кружок национального творчества Остяко-Вогульского педагогического училища выпустил четыре номера рукописного фольклорно-этнографического и литературно-искусствоведческого альманаха “Советский Север”.



Искусство





## Художник и наставник

Дорогих сердцу людей вспоминать не только в дни юбилеев и памятных дат. Людей, которые дарили свою душу, умение, талант, помогали и поддерживали в трудную минуту, — помнишь всегда. Остаются их слова, доброжелательность, понимание — все, что так необходимо в жизни.

В 1984 году в Доме творчества города Ханты-Мансийска (по-разному называлось это учреждение по ул. Карла Маркса, 11) происходил оживленный разговор о технике изготовления некоторых предметов декоративно-прикладного искусства. Не заметили, как вошел невысокий пожилой человек, но когда он заговорил, все успокоилось и с большим интересом стали слушать.

“Вы знаете, как делают изразцы?..” И далее звучали слова уважения к мастерам-умельцам; без правоучительных ноток, а с искренним желанием поделиться с нами своим восхищением, любовью к искусству, умением его создавать. Искусство — это и общение людей. Так началось знакомство и общение с художником Михаилом Ефимовичем Бронниковым, его работами.

Родился Михаил Ефимович в 1928 году в Байкаловском (ныне — Тобольском) районе Тюменской области. Школа, армия, учеба в богатой историей и традициями Тюменском художественном училище им. К. Савицкого в 1952-1957 гг. По

окончании училища М. Е. Бронников приехал по направлению в город Ханты-Мансийск, работал преподавателем изобразительного искусства в национальном педагогическом училище. Он знал, что все его ученики вряд ли станут художниками, но “шрифты” будущие учителя и воспитатели делать умели, что очень помогло в их дальнейшей жизни. Сам он создает свои первые самостоятельные живописные работы, свой творческий подход в работе над художественным произведением.

Определяется жанрово-стилистическое предпочтение — тяготение к натуральному этюду без развития сюжета. Своеобразная традиция русского импрессионизма с типичной для нее внутренней опорой на этюдное видение. В 50-е годы эта традиция, подхваченная молодыми живописцами, принимает социальное звучание. Причиной такого интереса к ней можно считать резкое отрицание произведений такого рода в 40-х — начале 50-х годов, когда много говорилось о подмене ценностей, приравнивании человека к природно-предметному окружению. Об этом времени можно сказать словами Брехта: “Что за времена, когда разговор о деревьях кажется преступлением”... Картины-этюды “Первый снег” (1958), “У причала” (1959) могут служить своего рода прологом дальнейших художественных исканий М. Е. Бронникова. Их объеди-

няет сдержанная цветовая гамма, удивительное ощущение холодности поздней осени. Колористический строй, тончайшие переходы полутонов при отсутствии дробных изобразительных деталей несут повышен-

третов. "Портрет жены", "Портрет матери", "Автопортрет" — в каждом из них стремление найти неповторимые индивидуальные черты. Красивые, но не приукрашенные лица людей, иногда чуть усталые, задумчи-



*М.Е.Бронникову — 60 лет. 1988 г.*

ную эмоциональную нагрузку. Обе эти работы посвящены городу Ханты-Мансийску.

В это время интересы художника не ограничены городским пейзажем, он создает ряд замечательных пор-

трые. Художник использует контраст тонов, света и тени. Это было увлекательно и интересно.

Но именно в городском пейзаже уже тогда проявились наиболее ярко те основные черты живописи М. Е.

Бронникова, которые будут узнаваемы и сохранятся в последующих произведениях: простые и ясные по форме, откровенно традиционные этюды, деликатно построенное цветотональное единство живописного образа, плотность и весомость мазка, безграничный лиризм с трогательной, щемящей душу ноткой грусти и теплоты. Искусство Михаила Ефимовича обращено одновременно и к мысли, и к чувству. Художник старался побеседовать с людьми, увидевшими его картины, объяснить отдельные художественные приемы, технику живописи, как правильно “смотреть картину”. Великолепно владея теорией искусства, молодой художник уже формировал собственный “набор” индивидуальных черт и особенностей.

Камерность исполнения, индивидуально-интимная трактовка действительности выражены в работах начала 60-х годов: “Дворик” (1960), “Банное утро” (1961). Они созданы дома или в специальной поездке. Поездок было немало, особенно после встречи, знакомства, во время многолетней дружбы с Владимиром Александровичем Игошевым — известным художником, ныне живущим в г. Москве. Сохранилось много фотографий, где запечатлены два друга-художника. В самых дальних уголках округа они работали над образами сибирской природы, рыбаков, охотников. Интересно, что даже при работе над одним и тем же персонажем, с одной и той же натуры, они не копировали друг друга. Каждый видел по-своему, исходя из собственной судьбы, глубоко пережитого собственного опыта; из своего понимания и переживания жизни. С ху-

дожником всегда его художественное самосознание, неповторимые творческие возможности. Поиск нового, стремление к совершенству позвали художника Бронникова в дорогу: в 1962-1964 гг. он работал в Тобольской художественной мастерской, общался с художниками О. П. Шрубом, Г. С. Бочановым и другими. Некоторая суровость, приобретение эпических черт характерны для части произведений, созданных им в эти годы. Таковы “Тайга у порога” (1962), триптих “Тайга томенская” (1964) — “Просторы”, “Лес”, “Нефть”. Наряду с ними — трогательно-лирическая работа “Серебристый снег, холодные серо-серебристые высокие деревья и нежные фигурки детей оживляют зимний пейзаж.

В последующие годы художник вновь в Ханты-Мансийске, работает в Доме творчества народов Севера. И здесь открывается еще одна грань творчества художника: он организует окружные выставки самодеятельных мастеров и художников, находит необыкновенных, талантливых людей, много с ними работает, проводит семинары. Бережно собирает предметы самобытного искусства ханты и манси. “Миша Пронников” — так называли его многочисленные знакомые со стойбищ, в дальних поселениях. Умел слушать, умел вовремя сказать нужные слова. Много уходило времени на работу, общение с народными мастерами. Может быть, оставь Бронников эту хлопотную деятельность, сумел бы больше собственных произведений создать... Но нельзя считать помехой для творчества его великодушное отношение к людям, их таланту. В народном



*В гостях у М.Е.Бронникова. Стоят: слева — художник из Ханты-Мансийска В.В.Гаврилов, справа — французский художник Жан Кабле. 1992 г.*

творчестве есть все главное, что нужно для профессионального искусства. По словам В. Шукшина "...в народе мастер устного рассказа всегда прежде всего чувствовал надобность в своем рассказе. В них всегда была жизненная необходимость". Необходимость создания произведения любого творчества: устного, художественного, декоративно-прикладного. Поэтому нет у художника М. Бронникова "лишних" работ. Тесное общение с народными мастерами учило лаконичности, сдержанности, учило создавать произведения лишь тогда, когда не можешь не создать. Поиски в области живописи продолжались. На одной из Всесоюзных выставок в г. Москве М. Е. Бронниковым получен диплом первой степени.

С середины 60-х гг. городская пейзажная живопись стала любимой темой художника, где он смог почувствовать себя легко и свободно. Художник сумел увидеть в природе удивительное своеобразие, изображая ее классические состояния — четыре времени года, различное время суток. Особенно любимые художником состояния переходные, такие, как вечер, утро... Все большее место занимают любимые им меловые, сиреневые, розовые краски заката ("Сумерки", 1965). Появляется мотив близкого и дорогого сердцу каждого ханты-мансийца — пристани Самарово ("Вид на Самарово", 1967). В нем сочетаются величие древних гор и современная жизнь с многочисленными подъемными кранами. Стоит обратить вни-

мание на постоянные, глубоко волнующие художника мотивы, к которым он обращается. Среди них могут быть названы лесные дали над рекой, часть улицы, поселки на берегах рек. Все они подсказаны редкостным ощущением сибирской природы, умением передать то, что многие помнят, любят и берегут в памяти с самого раннего детства.

Долгие годы Михаил Ефимович был, как он сам вспоминал, влюблен в Усть-Назым. С увлечением рассказывал о своих поездках; о том, как радовался красоте этих мест и запечатлевал ее в своих произведениях. Здесь было необычно все — небо, вода, зелень травы, солнечный свет, то проскользнувший в предгрозовом небе, то спокойно разлитый по крутому переливающемуся берегу, то слабо заметный сквозь серые облака. С удивительной чуткостью созданы произведения, вызывающие самые живые, неожиданно близкие чувства, воспоминания, ассоциации. Праздничный букет создает художник из красок осени. На фоне синего неба художник запечатлевает зыбкое состояние осени: просветленность и покой, нарядность с необычайно тонким, чуть заметным предчувствием скорого увядания.

Несмотря на то, что 70-е гг. не были представлены большим количеством живописных произведений, видно, что Михаил Ефимович по-прежнему с добрым вниманием обращается к природе. Он не строит из природных картин декоративные украшения, но в то же время натурное начало не становится обыденно-прозаическим, оно нераздельно сливается с одухотворенным поэтическим видением художника. Лич-

ность художника и созданное им произведение предстают в неразрывном единстве.

В большинстве работ 1980 — начала 1990-х гг. М. Бронников создает простыми средствами образ знакомого города. Он словно обращается к своему творчеству 60-х гг., по-новому обобщает, осмысливает, наполняет богатым содержанием своих пластических поисков мотивы, сходные с воплощенными в этюдах того времени. Такой характер носит “Ханты-Мансийский мотив” (1980) — изображение простой ханты-мансийской улочки с пошпыльвающей траву коровушкой, деревянной изгородью. Пейзаж имеет подчеркнуто фрагментарный характер, небо и земля выступают как часть привычного облика повседневной действительности. Цветовая тема составлена из синего, розового, оранжевого оттенков.

Весна 1992 г. оказалась для художника последней. Несмотря на болезнь, он старался завершить начатые ранее работы. Одна из его работ так и называется “Последняя весна”. Но в картине нет мрачного настроения: бурно тает снег, пробуждается земля, все приходит в движение.

Радостное ощущение жизни оставил художник в своем последнем произведении. Умение восхищаться природой, неподдельное чувство преклонения перед ней сумел передать Михаил Ефимович Бронников. Около двух десятков работ этого цикла послужили основанием для создания музейной коллекции “Город Ханты-Мансийск в творчестве художников”. В 1991 году художник после многих разговоров, совмест-

но проведенных выставок решил доверить свои лучшие работы окружному краеведческому музею. О его творчестве были подготовлены теле- и радиопередачи, на выставках с его работами познакомились посетители. Старожилы с большим интересом рассматривали его работы 60-х годов, вспоминали Ханты-Мансийск

того времени, речку Вогулку и, конечно же, свои молодые годы...

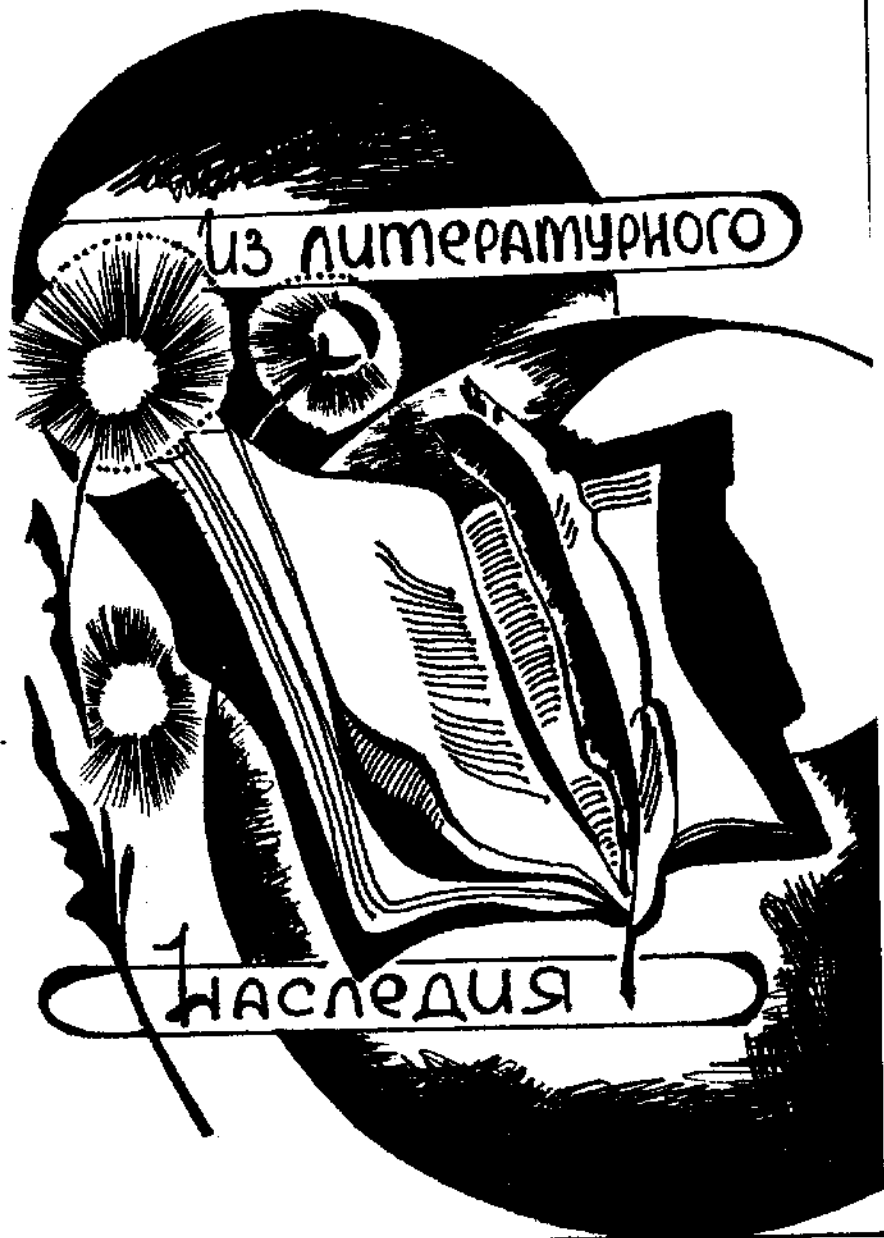
Может быть, вскоре, несмотря на трудности, удастся издать альбом репродукций произведений М.Е. Бронникова. Он — художник, и пусть о нем знают и помнят.

**Марина КАЙГОРОВОВА,**  
искусствовед.



из литературного

наследия







## АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ



*Александр Анатольевич Корнеев (1927 — 1982) родился и вырос в исконно русском селе Меньшиково Курганской области.*

*Семнадцатилетним юношей был призван в Красную Армию. Участвовал в войне с Японией. Дошел до Порт-Артура, где и встретил окончание Великой Отечественной войны.*

*После службы в армии вернулся в колхоз, по всеобщему призыву поднимал целину. В начале 60-х был избран председателем родного колхоза.*

*С юности писал рассказы, стихи, басни, публиковался в периодической печати.*

*В 1961 году поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии, в мастерскую Алексея Каплера.*

*В 1964 году приехал с семьей на Север. Учителемствовал в национальных школах Сургутского и Нижневартовского районов.*

*С 1968 года жил в Ханты-Мансийске. Работал в окружной газете "Ленинская правда".*

*Киноповесть "Ермак" Александр Анатольевич считал своим главным трудом. Работал над ним долго, изучив архивные материалы Государственной публичной библиотеки,*

Госархивов г.г. Свердловска, Перми, Тюмени. Ею заинтересовалась Свердловская киностудия, велись переговоры о постановке полнометражного художественного фильма...

Не успел.

\* \* \*

*“... И, как водится, Демьян увидел свою ценочку, которая связывала его с Государством: Корнеев, Корнеевы, Россия, Государство. Корнеев являлся началом начал, фундаментом его, Демьянова, Государства. Вот он, можно к нему прикоснуться, можно поговорить с ним о чем угодно, не сводя глаз с его иконообразного красивого лица. Словом, весь он излучал красоту неприметную, неброскую, поэтому очень сильную. Каждый раз, встречаясь с ним, Демьян находил в нем что-то новое: то одно, то другое, то третье, словно он был многоликим, а душа вмещала весь мир. Когда думал о нем, Демьян всегда поражало то, что, почти мальчишкой пройдя самое страшное и противоестественное — войну, он сохранил душу, не ожесточился, не очерствел, не запачкался черной грязью военных дорог. Не поразительно ли?! Наоборот, кажется, еще больше полюбил жизнь. Любила жизнь такой, какая она была: с радостями и печальями, с изменой и высокой любовью, с правдой и ложью, с великолепным началом и неизбежным концом. Ничто человеческое не пугало его, не страшило, не гнуло в дугу, ибо он был Человеком, а не святым. Он сражался, любил, ошибался, учил, падал, вновь поднимался...”*

(Е. Айпин. Ханты, или Звезда Утренней Зари.)

## ЕРМАК

*“Гордиться славою своих предков не только можно, но должно; не уважать оной есть постыдное малодушие”.*

А.С. Пушкин

Мирное солнце щедро лило свою благодать. Земля струила навстречу лучам прозрачную испарину.

Босые ноги тонули в развороченной борозде, купаясь в живительной прохладе. Кивала мордой в такт размеренному, неторопливому шагу впряженная в соху лошаденка.

Жилистые руки налегли на деревянную перекладину, углубляя в землю лемех. Пестрядинная рубаха липла к телу на костлявых лопатках пахаря, расстегнутый ворот выступал из-под русой, с проседью, бороды...

И, вдруг, пахарь споткнулся, расслабил руки. Лошадь ушла вперед — человек уткнулся бородой в рыхлую землю, пальцы судорожно сминали прохладные мягкие комья.



В спине пахаря торчала стрела.

Толкли конские копыта вспаханное поле — из лесу неслась татарская криница.

Подхваченная лавиной, неслась лошадь с сохой. Лемех выскочил из борозды, соха свалилась на бок, лишь самый конец кованой пластины царапал землю, оставляя за собой след.

Над поселеньем взметнулся дым, черные столбы его упирались в небо, заслоня солнечный диск.

\* \* \*

Плывут струги и барки средь высоких речных берегов. Дружно взлетают весла над водой, разбивают спокойную гладь реки на осколки зеркальные, неровные.

*От Усы-реки бывало  
Сядем на струга,  
Гаркнем песни, подпевают  
сами берега...*

Скользят груженные струги вниз по реке, путь знаком гребцам, сила есть в руках.

И звенят голоса казацкие над водой-волной:

*Свиричит Волга-матка,  
Словно ночь черна.  
Поднимается горою  
За волной-волна.*

\* \* \*

Покидали татарские конники горящее поселенье, пылали дома, догорали подворья, метался сгоняемый в кучу скот, жались испуганные бабы да ребятишки среди неприятельских конников.

\* \* \*

Высытятся на стругах и барках плетенные кораба, белизной отливает груженная в них соль, черной смолью на барках других жженый уголь лежит — много надо его кузням строгановским.

*Через борт водой холодной  
Плещут беляки.  
Ветер свищет, Волга стонет,  
Буря нам с руки!*

И несется песня удалая волжская по-над Камой-рекой, отзывается звоном в скалах-камнях прибрежных, эхом мечется в темных чашках лесных, чайкой носится над волной речной, в небо синее рвется птицею.

\* \* \*

А татарская конница рушит смертным огнем поселенье другое, наступают стрелы бегущих от темной беды людей, кривые сабли да тяжелые шестоперы падают на головы непокрытые беззащитных, безоружных поселян.

\* \* \*

На переднем струге артельный атаман Богдан Брязга. Это он ладно ведет запев своим звонким голосом:

*Подлетим к расшиве: — Смирно!  
Якорь становой!  
Шишка стой! Сарынь на кичку!  
Бичеву долой!*

Обогнули струги речной поворот, и открылась впереди на берегу поляна, от леса свободная. Поселенье небольшое, дома новые, рубленые, к самой воде прижались, а на взгорье часовенка приютилась — заря вечерняя полыхает по куполу дощатому да по кресту, позолотой дешевой крытому.

Осенил крестным знаменем себя атаман, другие крест на себя положили. И снова песня удалая понеслась — взвилась:

*Не сдадутся, дело плохо,  
Значит, извини!  
И засвищут шибче бури  
Наши кистени!*

\* \* \*

Недолог казачий ужин. Похлебали ушицы наваристой, квасом, что насельники принесли, запили — да и все.

Молодой казак языком выбеливал дочиста свою ложку. Бородатый полоскал речной водицей котел артельный. Догорали костры, неярко подмигивая в ночи. Поселяне судачили со знакомцами о том о сем, а которые и домой уже спешили, по избам своим.

Богдан Брязга отдавал десятнику последний наказ:

— Струги стеречь дозорным, а другим всем спать. Долог путь еще — сумерно выйдем, к вечеру дома чтоб быть.

Одни уже устроились на охапках травы прямо на берегу, другие принесли со стругов рогожки рваные и, кинув под бок, тоже уснули.

Бьет поклоны в сторону стоящей во тьме часовни казак с длинной патриаршей бородой.

А у самого костра, укладываясь, молодой казак с нескрываемой завистью проводил взглядом ушедшего Богдана и сказал:

— Скоро, братцы, пображничаем на атамановой свадьбе...

— А суженая атаманова ладная... Красой отменна и лицом бела, баская, — продолжил другой.

Из темноты кто-то ворчал:

— Ни к чему это атаман задумал. Не гоже казаку с бабой якшаться. Ужо Ермак Тимофеевич дознает — будет атаману нашему опала и гнев...

— Ермак благословит... Сирота она горемычная. Без отца-матки кой год мытарится...

— Штой так? — спросили из темноты.

Старый казак, пряча порты в изголовье, рассказал:

— Матку у девки плетьми били — кончилась на подворье боярском... Царство небесное рабе божьей... В один раз и я с ней спину свою под плеть ставил. И клчют меня с той поры Заковригудран... Родитель ейный лихой стал — в вагагу на Волгу мы вместе с ним подались отомстить за позор. И дите с отцом по разбойным куреням мыкалось. Сюда пришли с дружиной — а тут татарва в плен лонись угнала сердечного. Жив ли теперь — не знамо...

— Тяжко одной... — сказали из темноты. — Народ вольный круг ее, да нехристи еже час близко.

\* \* \*

Скудно мигал светец перед образами. Богдан сидел за дощатым столом, пил брагу. Смачно закусывал рыбой холодной, густо посыпал ее солью. Молодайка в сарафане, с кикой на голове, угощала атамана. Она была совсем еще мала — и кикку набросила, может, для того, чтоб рослой да мужалой выказать себя.

Богдан притянул девку, на колени усадил, ласково щекогал ее белую шею русой бородой:

— Голуба... После Покрова сватов слать буду. Обвенчаемся...

— И то уж... Поселяне не ладно гуторят, Богдане.

— Изобидеть не дам, остуду положить не позволю, а свадьбе не время, Домашенька...

— Знамо...

— Рекостава ждать, а там и под венец...

— Татарове, бают, близко, атаман...

— Не смеют они. Ермака-воеводы боятся нашего.

\* \* \*

Конский топот, свист и дикий вой заглушили Богдановы слова. На по-

селенье налетел неожиданный вихрь — кругом все гудело, свистело, ржало, хрипело и улюлюкало.

Сквозь дикий гул громыкнуло два-три выстрела, но тут же замолкло и только колокольный тревожный набат покрыл запоздалым призывом непонятную многоголосую кутерьму.

Богдан и Домаша бежали улицей к казацким стругам. Атаман сжимал в руке палаш. Другой рукой тянул за собой девушку — во тьме белела ее рубаха.

Когда Богдан выскочил к берегу, сеча подходила к концу. Налетевшие вихрем татары заканчивали с застигнутыми врасплох казаками.

Оставив Домашу возле городьбы, атаман кинулся на ближайшего татарина, сразил его ударом палаша...

Его окружили спешившиеся враги. Богдан яростно рубил палашом ближних.

И вдруг громкий крик донесся до атамана:

— Богдане!.. Сзади!..

Это крикнула Домаша. Но Богдан не успел отразить удара и упал, сбитый шестопером с ног.

Конный татарин, сбивший Богдана, повернул лошадь к Домаше.

\* \* \*

Кто-то из казаков бросился бежать, но татарские стрелы настигают их и безжалостно рушат к земле.

Во тьме вспыхнул свечой один дом...

Второй...

Третий дом полыхает трескуче...

И вот уже весь поселок пылает, никто не тушит пожара, только мечутся среди огня и дыма смутные тени, да рушатся от татарских стрел старики немощные, старухи дряхлые, молодцы удалые — казаки храбрые да насельники мирные.

А набат гудит над поселеньем, тревожно и торопко, только некому сбираться уже на его настойчивый призыв.

Не успели казаки недруга в честном бою встретить, до стругов своих не пробились, полегли на крутом берегу в бесславном бою.

А деревня горит...

А набат гудит...

Баба бежит вдоль горящей улицы, вьется, хлещет по голым коленям подол исподницы, спутались за спиной волосы, от срама не покрытые.

Бежит за бабой татарин...

Горят подворья поселенческие...

Стоном ухает колокол...

Спешились у часовни всадники. Старый татарин принес с ближнего пожара гловню, раздул ее, раскручивая над собой, ткнул в пересохший



мох. Ветерок подхватил бессильное пламя, взметнул его огромным языком и огонь принялся лизать смоляные стены часовни.

Гудит набат...

Горит часовня...

Бежит баба простоволосая...

Гонится за бабой татарин...

Молодой казак, что собирался погулять на атамановой свадьбе, изо всех сил рвет застрявшую в груди стрелу. Но крепко она вцепилась в тело молодоецкое. Наконец, удалось казаку вытянуть из себя трезубец — мясо кусками на крючьях — кровь хлынула, обагрив холщевую рубаху, а парень смотрит удивленно на свою зазубренную, остро отточенную погибель... Так и умер, не поняв, что произошло.

Горят дома...

Виснет над улицей дым...

Настигает бабу татарин...

Вот-вот он ухватится рукой за ее неприбранные волосы.

Слышит баба тяжелое дыхание за спиной, метнулась в бок — проскочил татарин, но быстро вернулся и стал подступать к женщине безоружной, беспокровной.

Та дико закричала:

— Не лезь, поганый! Смерть приму, а остуды-позору басурманского не бывать!

Татарин приближался...

Женщина схватила головешку, метнула, обжигаясь, в мужчину.

Тот увернулся, еще ближе подступил к своей жертве.

Она видела его оскаленные в наглой, торжествующей улыбке зубы, его сверкающие, похотливые глаза. Совершенно неожиданно баба закричала:

— Простите, люди, меня!..

Ее белая исподница мелькнула в дыму и исчезла в яром огненном круговороте.

Татарин ошалело смотрел на пожарище. Медленно стал пятиться от этого кошмарного места.

А деревня горит...

А набат гудит...

Мечутся всадники средь огня...

Сгоняют в кучу поселян...

Добивают непокорных...

Поднял Богдан тяжелую голову, смотрит на погибших товарищей. Болью перекосило лицо. Тяжко видеть разбой бессильному, одинокому.

\* \* \*

Ермак был зван в хоромы Строгановские.  
Семен Аникиевич говорит:

— Готовить вылазку, атаман, надобно, силой не великой. Попугать князцов остяцких да вогульских, да и татарам ближним острастку дать... Ясак чтоб исправно к зиме готовили.

Ермак не супротивничал, но его томила своя кручина:

— Казаки по большому делу стосковались... Вылазка та не даст утехи. Еще пуще души разожжет... Обиды старые разбередит.

— На дело большое без причины ступить — государя возгневать можно. Лют государь Грозный, а нас милует всяко, гневить не след. Да и татарове не чинят вреда, вотчине нашей, в лето нынешнее...

\* \* \*

Гудит набат...

Догорает поселенье...

Ведут пленников...

Свистят стрелы...

Несколько татар, спешившись с коней, пускают стрелы в вышину, туда, где над часовней звенит колокол.

Один колчан опустел...

Второй...

А набат гудит...

Истошно крестится баба, среди пленников, глядя на пылающую часовню. В густом дыму, выше огненного столба, охватившего и колокольню, будто висит в черном небе полыхающий позолотой крест... И где-то под ним, объятый дымом и огнем, непокорный звонарь будоражит окрестную тьму призывным колокольным звоном.

Крестится баба...

Свистят стрелы... Летят одна за другой и вспыхивают искрами, не долетая до звонницы...

Гудит набат...

\* \* \*

Пробирается берегом, по-над самой водой, скрытый откосом песчаным, Богдан Брязга. Заметил в темноте на песке перевернутую вогульскую лодчонку — обласок, пихнул ее в воду, и только волны набегали на берег, оглаживая песчаную кромку, тьма сглотнула атамана, укрыла надежно своим пологом...

\* \* \*

Горит часовня...

Несется тревожный благовест.

Сжалась в тугой комок Домаша, забивается глубже в толпу.





Но заметил девушку татарский мурза, кивнул головой своему служке. Надвинулась на пленников конская морда, раздвигает толпу лошадиная грудь, ременная плеть обвивает шею, плечи, полосует рубахи и сарафаны, секет холсты и сукна домотканные.

Гудит набат...

Крестится баба широко и торопливо.

Ужас застыл в зрачках, а в глазах мельтешат огненные отблески. Занесла руку над бровями то ли для крестного знамения, то ли загородиться хотела, да так и осела под плетью к лошадиным ногам.

В ужасе отпрянула Домаша от конской морды, но рука грубохватила ее за рубаху из отбельного холста, слетела кика с девичьей головы.

Огонь полощет на колокольне, мечется в неукротимом буйстве, все новые и новые бревна охватывают его языки.

А крест висит во тьме над пламенем, над клубами дыма, над толпой пленников, над ликующими налетчиками, зловеще сияя позолотой.

Перекинулось беспомощное тело через конскую спину. Впала в беспометство Домаша, татарин привязывает ее к седлу.

Лизнуло пламя основание креста, удары колокола раздаются все реже, не замолкая совсем, все еще звали тревожно и отчаянно подмогу...

Но вот огромный сноп огня взметнулся искрами, глухо, со стоном, рухнула стропила, раскатились стены, колокольня осела, крест накренился, медленно свалился из своего гнезда и исчез в пекле.

И смолк набат...

Слышно стало, как шумит огонь, как стонут сосны, обступившие поселок, как трещат на ветру, догорая, головешки.

Стоном отозвались пленники, увидев, как рухнул в пламя подгоревший крест. Они крестились, сбиваясь все плотнее в кучу.

Свист и вой пронесся над горевшим поселением. Ликовали захватчики.

\* \* \*

На свету еще дымились пожарище.

И люди, и скотина в одной толпе.

И на людские головы, и на скотские спины с посвистом рушатся татарские плети. Налетчики уходили с богатой добычей.

Скрипели колеса нагруженных солью повозок...

Мычали коровы...

Стонали пленники...

Впереди, довольный победой, — мурза, рядом служка.

За ним перекинутая поперек лошадиной спины, скрученная ремнями по рукам и ногам, лежала бесчувственная Домаша. Распущенные волосы мели дорожную пыль...

Светлы и обширны хоромы Строгановские. Не царские палаты, но им под стать. Самая светлая, в четыре окна, горница — кабинет Семена Аникиевича. В углу переднем — образа. Коптит лампада, блики огненные скользят по их дорогим окладам. Рядом с огромными почерневшими образами — маленькие иконки, писанные золотыми да яичными красками лучшими богомазами по Строгановскому заказу. Ярко раскрашенные фигуры святых на Строгановских иконах резко удлинены, позы их ломаны, но супротив старых больших образов они и без окладов славно красят передний угол.

Перед домашним алтарем, за тяжелым столом сидел Семен Аникиевич. Стол был завален мешочками с пробями соли, кусками железа, олова.

Хозяин читал какую-то грамоту, писаную полууставом, иногда делал короткие выкладки на больших счетах. Крупные черные шары двигались по спицам из стороны в сторону.

В кабинет вошел горничный. Хозяин спросил через плечо:

— Што там?

— Вогуличи, кормилец... К вашей милости.

— А што им?

— Не ведаю того... Но толмач с ними и просят...

— Вели звать в хоромы...

Пол строгановской горницы устлан шкурами белых медведей, крыт дорогими коврами персидскими. На ковер, увязанные в сорока, ложатся шкуры соболиные, беличьи, куньи, меха чернобурых лисиц да снежнобелых песцов. А поверх всего пали шкуры бобровые и выдровые.

Жмутся к стенке вогуличи, низко клонят головы перед хозяином, лопочут на непонятном наречии.

Толмач пояснил:

— К твоей милости, батюшка, пришли люди темные, люди государю русскому подневольные... И просим заступы у тебя — оборони животы наши, не дай стинуть... Жен, детей наших от супостата-врага под заступу свою прими...

Еще ниже гнут спины послы перед Семеном Аникиевичем, метут пол своими балахонами из звериных шкур шитыми, мехами отороченными, еще усерднее просьбу свою выговаривают:

— Не дает житья Бекбелий-хан, дань великую кладет, юрты наши позорит, людей бьет, в плен берет, женок в неволю гонит... А у тебя сила...

Позвонил в золоченый колоколец Семен Аникиевич, сказал вошедшему горничному:



— Зови Максима Яковлевича да Никиту Григорьевича — племянников. На совет важный... А пришлых вогуличей веди на подворье селить да харчами и брагой нашими потчевать.

\* \* \*

Ермак Тимофеевич с есаулом своим Иваном Кольцо жили в крайней избе казачьего поселка, там, где начиналась поскотина. Изба та стояла от других на отшибе, была выше и просторнее. От нее тянулась торная тропа к строгановскому подворью, а в обратную сторону виделась широкая, прямая улица, полная казаков.

Иван Кольцо говорил, глядя в окно:

— Гудит народ, атаман... Засиделись казаки.

— Не пришел черед, Иване... — молвил Ермак.

— Безделье неволи худше, — возразил есаул.

— Пождать надобно. Припасу нет на дело такое...

— Да с Волги мы шли с припасами великими ужель?

— За Камень-горой не та земля...

— Казаки на готовых припасах не свыкли жить... Добудут.

— Не о том дума наша была, как с Волги шли.

— Гудит люд... Утехам непотребным казаки предаются. Сами пойдут — беды и разору боле учинят. Так и сгинут бесправды в нечестии...

На улице было видно, как двое казаков, оголив себя до пояса, мерялись силами, а другие насыкались. Те ходили широкими кругами, рвали резко на грудь друг-другу, прижимались к земле, старались sprokinуть на лопатки супротивника, но силы были равны и они снова и снова гребли пыль растоптанными лаптями.

Иван теребил серьгу, смотрел на борцов, говорил:

— Сила волю просит... Не поведем на басурманов — уйдут без начала нашего...

Дверь избы растворилась, через порог вступил Богдан Брязга — мокрый, измученный, безоружный. Пал на лавку, прохрипел:

— Беда, атаман...

Ермак тряс за плечо друга. Иван подал ковш с квасом.

— Говори, друже, — просит Ермак, — што учинилось неладное?

— Татары, — ответил Брязга.

Он принял ковш, испил квасу, сказал:

— На поселенье. Ночью не доглядел. Всех побили, в неволю взяли. Поселенье огню предали. Соль забрали, струги потопили...

\* \* \*

В кабинете у Семена Аникиевича были племянники Никита и Максим.

Ермак говорил:

— И поселенье пожгли, и скот угнали, и мужиков да женок в полон увезли — доколь терпеть будем?

Осторожный во всем Никита Григорьевич сказал:

— Не след выступать за Камень без благословения государева.

Ермак возразил:

— Не поведем — народ сам пойдет...

Семен Аникиевич спросил:

— Кто весть ту доставил?

Ермак:

— Богдан, атаман артельный — един жив остался. На обласке вогульском рекой ушел...

Максим Яковлевич:

— Сколь дружина велика твоя, атаман?

Ермак:

— Пятьсот сорок казаков с есаулами да десятниками под началом имею.

Семен Аникиевич:

— Мало то число для дела великого.

Ермак:

— Мало. Надобно столь бы еще...

Никита Григорьевич:

— Где взять?

Максим Яковлевич:

— Я своих людей служилых да работных от варниц соляных сто душ могу поставить.

Семен Аникиевич:

— А и мне сто душ можно взять с верхних поселений по Чусовой-реке... Ужель, Никита Григорьевич, у тебя вотчина оскудела мужиками?

Никита Григорьевич:

— Скудости не ведаю, да пускать людей на то дело без благословения и напутствия государева сумно... Безпоносны мы от государя Ивана Васильевича досель...

Ермак:

— Так ведь дело то — государево и нам корысть.

Никита Григорьевич:

— Корысть та не ведома, а и разор учиниться может.

Ермак:

— С Волги мы шли не безделья и праздности ради, а охраны земли сибирской да веры православной. Ужель разбой сносить будем вечно?

Семен Аникиевич:

— Гневаться государь не должен — на то грамота есть, чтоб не токмо свои земли нам стеречь да государеву Украину оберегать, а теснить басурман за Камень-гору до Тоболу-реки и степей Иртышских.

Максим Яковлевич:



— Государю от того выгода большая учинится. В Ливонских землях неудача великая приключилась — Смоленск шведам сдали, земли множество русской под ворогом страждет, казна государева оскудела...

Ермак:

— А мы царство сибирское, Кучумово, под корону государеву поставим и ясашных людей югорских под десницу государя русского Ивана Васильевича назад возьмем — ужель от той корысти государь гневаться учнет?

Семен Аникиевич:

— Селитру нам государь не для охраны своих земель да варниц соляных сварить дозволил...

Никита Григорьевич:

— Коли вы порешили людей да холопов своих пустить, то и я не упорствую боле.

Семен Аникиевич:

— О, то и решим. Грамоту учиним, да и благословим люд ратный на брань с басурманами во славу престола Российского. Толмачей да вожей от вогуличей пришлых возьмем.

Ермак:

— Триста душ — то ладно. Припасами надо пасться в дорогу дальнюю, да оружием, да струги потребны будут... И харчи тож...

Семен Аникиевич:

— И то порешим... Возьми-ка, Максим Яковлевич, лист да перо и грамоту учини.

Максим Яковлевич писал, а Семен Аникиевич диктовал:

“...Три пушки да ружей пищальных пятнадцать тыщ, пятнадцать тыщ фунтов пороху да свинцу столь же, пятнадцать тыщ пудов муки ржаной, десять тыщ пудов круп разных, да толокна, да солоду, по пять тыщ пудов сухарей, соли и масла коровьего, ветчины ломтей столь же и знамен пятьдесят, и образ святой Николая-угодника да спасителя нашего Иисуса Христа... А Ермака Тимофеева мы властью нашей поставили во главе воинства православного и нарекли воеводой, а есаулов, сотников и десятников воевода Ермак сам пусть выберет...”

\* \* \*

За окнами зародился неясный гул. Он, нарастая и усиливаясь, близился. Никита Григорьевич глянул в слюдяное окно, тревожно спросил Ермака:

— Что, воевода, сие означает? Казаки шествуют к подворью нашему в возбуждении великом...

Ермак, посмотрев в окно, ответил:

— Озлылись зело, узнав о позоре новом... Гнев кипит на басурманов.

Семен Аникиевич с племянниками встали у окон. Казачья лавина приблизилась к строгановскому подворью.

Ермак сказал:

— Сила велика во гневе сем. Узда на нее потребна крепкая, власть всяку презреет, коли супротив ее пойдет...

Семен Аникиевич, до сих пор безмолствующий, перекрестился на образ и сказал:

— Тут мы и доведем до служилых стговор наш...

А в окно уже видно было, как снятым воротным охлупенем казаки поднимали створы. Воротник беспомощно метался у столба, заклинивая засов, но крылья тесовые резных ворот не выдержали, распахнулись настежь, во двор хлынула толпа.

Казаки, ворвавшись на подворье, загалдели, в хоромы донеслись возбужденные крики:

- Ермака, атамана, на круг!..
- Кормильца, Семена Аникиевича, зови!..
- Доколь позор чинить будут?..
- Сколь разор басурманский терпеть?
- На Камень!..
- В Сибирь!..
- До Кучумова града!..
- На Искер!
- Зови!..
- Атамана!!!
- Ермака!
- Семена Аникиевича на круг!
- На круг!
- На кру-у-у-г!

\* \* \*

На высокое крыльцо вышли Ермак, Семен Аникиевич, Максим Яковлевич, Никита Григорьевич.

Перед ними колыхалась людская масса. Адели атласные верхи казачьих папах, грудились в кучу казаки, выставляя вперед плечи, стянутые холщовыми рубашками, суконными кафтанами, грубыми зипунами да сермягами. Сияли в солнечном потоке жала бердышей, торчали острия копий, вздымались над головами пищальные дула.

Толпа выталкивала вперед Богдана, еще не прибравшегося, растрепанного, напутствует его со всех сторон:

- Говори, Богдане...
- Правду молви, атаман!
- Ужель не ответим на позор великий?
- Не сидеть в вотчине звал, Семен Аникиевич...
- Не праздности для шли на Каму!..
- Наш черед рушить силу Кучумову!..
- Говори, Богдане!

— Молви... — подтолкнул Богдана Иван Кольцо.

На ступени взошел Богдан Брызга. Вид его говорил больше, чем слова, но он не перечил казакам, обратился к Строгановым:

— Земли наши зрят басурманы, служилых людей да холопов жизни лишают, в полон ведут, поселенья жгут — доколь беспечно зреть будем на зло басурманское?

— Доколь?!

— Когда край позору положим?

— За Камень!

— На Искер!..

— На Искер!..

На крыльцо вбежал тесовыми сходящими Иван Кольцо, поднял руку, успокаивая казаков:

— Тихо!!!

И когда толпа угомонилась, сказал:

— От всех служилых молвить хочу! Не снарядите войско, добрым делом да словом не благословите — поруха будет всей вотчине вашей! Не ради сиденья в землях и вотчинах шли мы с Волги-реки, а ради славы да крепости государства Российского, веры нашей православной ради! Сила казачья под спудом томится, а басурмане разор земле русской да вере православной чинят. Веди, Ермак Тимофеевич, войско казачье! На Кучум-царя, на славу бранную!

Последние слова есаула заглушил разноголосый гул:

— На Кучума!

— Веди, Ермак!..

— На Искер!

— На Искер!!

Ермак выступил вперед, охватил перила резные ладонями, молча смотрел в лица казаков. Гул затихал. Тогда воевода вскинул над толпой руку, заглушая остатний ропот, начал свою речь:

— Верите ли, братцы, други мои, атаману своему?

— Верим!

— Молви, Ермак!

— Ждем слово твоё!

Ермак продолжал:

— Знатные люди Строгановы — Семен Аникиевич, Максим Яковлевич да Никита Григорьевич на совете своем порешили благословить нас на бой с Кучумом и ордой его, и припасы, и струги, и оружие, и людей своих дают нам!

— Слава воеводе!

— Семену Аникиевичу да Максиму с Никитою слава!

— На Кучума!

— На орду!

А Ермак, заглушая возгласы, говорил:

— Не разбой и корысти для идем на Кучума! Ради славы земли Российской да воли народцев иноверческих от раменга басурманского. А за Сибирь кланяться царю Ивану Васильевичу будем все — опалу и гнев на милость сменить... За дела разбойные наши, беспотребные царство Кучумово откупом будет...

Ермака сменил Семен Аникиевич:

— Доселе мы вашу службу зело ценили, но вы служили нам исправно, а теперь совместно службу понесем государеву, станем в деле новом ратном сообщниками...

— Правда твоя, кормилец!

— А Ермака Тимофеевича мы воинства того нарекли воеводой...

— Слава людям Строгановым!

— Слава!

— Слава!

— Слава!

Семен Аникиевич продолжал:

— А в день тезоименства моего, в день святого Симеона-великомученика, 1 сентября и выступать в путь... Теперь же гулять-пировать тризну прошу на меде-вине да пиве-браге наших...

Гул одобрения заглушил Семена Аникиевича. Он тронул за плечо Ермака, как равного себе, и пригласил:

— А тебя, воевода, прошу тризновать за моим столом, ибо в деле важном, богоугодном сообщниками стали мы, и для нас ты — свойственник и ровня стал.

\* \* \*

Из погребов строгановских выкатывали бочки и лагуны винные да пивные. Посреди двора стояла кадь с квасом, корчаги с сусликом. Иван Кольцо был виночерпием. Он деревянным ковшом смахивал пену, зачерпывал его до краев и подавал подходившему.

Выпил хмельное Богдан Брязга...

Опрокинул ковш Матвей Мещеряк...

Отер усы Никита Пан...

Передал виночерпию пустой ковш Яков Михайлов...

Из другой бочки раздавал вино казак с черной короткой бородой, весело приговаривая:

— Яко хмель пусть кипит сила казачья... Пейте, други, за Семена Аникиевича да воеводу нашего Ермака Тимофеевича!

Священник опрокинул ковш, передал его виночерпию, коротко заключил:

— Аминь!..



В трапезной большой стол был уставлен яствами. Посредине стола на деревянном подносе целый жареный поросенок-подсосок, вокруг его стерляди отварные, тертые хреном, облитые, грузди соленые, редька со сметаной, икра осетровая, яйца вареные и всякая иная снедь.

Вино медовое разливала сестра Максимова — Ксения Яковлевна — девица на выданье. Ее черные, как смоль, волосы были собраны в тугую косу и спускались почти до колен. Коричневые глаза блестели, выдавая ее давнюю родословную, исходящую от волжских татар. Поверх цветастого сарафана из бухарской парчи, осыпанная мелким бисером вперемежку с жемчугами, распашонка-душегрейка.

Молодаяк первый раз видела Ермака близ себя и немного смушалась от того. Румянец разлился по смуглым щекам, глаза потупила она еще больше от слов подвыпившего дяди. А Семен Аникиевич говорил:

— Грамоту надобно учинить да Степану Ивановичу Обноскову, сыну боярскому, слать на Москву в один раз, как государю Ивану Васильевичу отписывать станем. И ведал чтоб Степан Иванович, что красавица наша, Ксения Яковлевна, тоской изошла по суженому своему и сватать ему черед пришел...

— Зачем то сказывается, дядюшка, стыдно мне слышать о том... — заделась молодница.

— Что стыд? Всем знамо, что ты есть нареченная невеста сына боярского Степана Ивановича Обноскова, — не унимался Семен Аникиевич, — а свадьбу мы тебе справим царственную... Или казна наша скуднее государевой?

Племянники Семена Аникиевича Максим и Никита не перечили, ели-пили молча.

Молчал и Ермак. Он смотрел в серебряную чашу и видел, как дрожащей рукой Ксения Яковлевна подливала туда вино. Но думал иное...

Из деревянной бадьи вода лилась в глиняную корчагу. Босоногая девушка вздрогнула — кто-то сзади, осторожно подкравшись, захватил ладонями ее глаза. Вода плеснулась мимо — окатила босые ноги, расплескалась по длинному подолу, каплями скатилась по холсту.

Девушка обронила бадью, попыталась вырваться. Но сильное объятие сжало ее до хруста, молодой казак осыпал лицо и шею девушки поцелуями. Она уже не рвалась прочь, тихо шептала:

— Не гоже так, днем... При свете белом, не гоже, Василей...

Ночью Василий обнимал девушку, прижимаясь к тыну. Луна клала на лица решетчатую тень...

Снова у колодца прикараулил парень свою голубу, поцеловал затычно и убежал молча прочь...

А потом...

Искал парень у колодца и не нашел своей суженой...

Ждал у калитки поповского дома — не шла на погляд к парню девушка в урочный час...

В окна поповой избы глядел — не было там ненаглядной.

Из растворенной двери деревянной церквушки слышен был говор приглушенный и шум неясный.

Парень глянул в дверь и остолбенел от зрелища нежданного. На недомытом полу, перед алтарем лежала, закинув голову, она, а ее, полураздетую, прижимал к выскобленным смоляным плахам разгоряченный поп.

Василий не помнил, как очутился в церкви, схватил с аналая тяжелое бронзовое распятие и ударил в затылок попа. Тот свернулся вбок, хотел подняться, но руки подломились и он распластался на полу, опрокинув ведро с водой, из которого мыли плахи.

Она, обезумевшая, смотрела на Василия — тот резко повернулся и кинулся прочь.

\* \* \*

— Испей, воевода... — попросила Ксения Яковлевна и Ермак очнулся от тяжелого видения.

— На здоровье доброе... — добавила молодница. Заметила настороженный взгляд двоюродного брата Никиты Григорьевича и потупилась.

Ермак поднял чашу, встретился глазами с хозяйкой, невеселая улыбка скользнула в бороде и он осушил посудину.

Сквозь незапертые окна в хоромы врывалась песня подгулявших казаков:

*... Как на Волге на реке, да на Камышинке,  
Казаки, братцы, живут, люди вольные:  
Все донские, гребенские со яицкими...*

— Охочь до вина казак, как и до дела жаркого, — заметив неловкость Ермака, сказал Максим Яковлевич.

А за окном пели:

*... У казаков, у нас, братцы, атаманушка,  
Ермаком зовут Тимофеевичем.*

Ушла от стола под тяжелым взглядом Никиты Ксения Яковлевна.

*... Не злата труба, братцы, вострубила нам,  
Не она громко возговорила речь —  
Возговорила речь Ермак Тимофеевич.*

Сползал с лавки под стол охмелевший Семен Аникиевич. Максим Яковлевич звал:

— Ксеньюшка, сестрица единоутробная, подлей вина испить...

\* \* \*

Льется вино в золотой кубок — гуляет Кучум со своими ближними.

На персидских коврах, поджав ноги под себя, восседал великий царь Сибири. Перед ним на низком поставце огромное золоченое блюдо с бешбармаком. Он выпил вино, руками взял немалый кус мяса, отправил его в рот. Затем принялся за вареную баранью голову, долго выковыривал обсаленным пальцем глаза, аппетитно ел.

Высасывал мозг, разбирая кости, слушал рассказ своего племянника Маметкула:

— А идти надо туда, ясноликий владыка мой, через реки многие, через горы высокие да леса, зверем полные. И земля та называется Пермская, там воевода сидит царский — Перепилицин зовут. А на поддень от той Перми Строгановы, купцы богатые, вотчины понаделали, соль варят, торгуют изобильно, землю орают, хлеба, скота имут тьму великую. Только сказывали доносчики, что войско у тех Строгановых есть веле храброе, а атаман того войска Ермак, грабитель и тать...

Кончил Кучум баранью голову разделявать, вылизал пальцы языком, испил кумысу, спросил:

— А самострелы те громобойные не взяли отчего?

— Боязно их, не посмели брать, ясноликий.

Новую голову поднесли царю Сибирскому — он и ее начал есть.

— Уши мои да слушают, ум мой разумеет слова твои, сказывай все, что есть...

— Деревни те, строгановские, пожгли все, соли четыреста мешков брали, русов да женок их шестьдесят привели, а старых-немошных да казаков Ермаковых, что были там, стубили всех — живых не оставили.

Кучум довольно икнул, Маметкул продолжал:

— И тебе, хан великий наш, привезли в жены полонянку непорочную, красивой отменна, да дика горазд...

— Да видят очи мои твое усердие, Маметкул, вели казать ту пленницу.

Маметкул хлопнул в ладоши, слуги ввели Домашу. Она была простоволоса, запыленная исподница висела рваными ключьями, сквозь одежду проступало голое тело. Даже неприбранная, она была красива, и старый хан, обсасывая баранью челюсть с зелеными зубами, умиленно щурил свои узкие глаза, глядя на девушку.

— Якши-и-и... Ай, якши!

Хишно смотрел на Домашу Абдул-Хаир, сын Кучума, беззвучно шептал:

— Ай, якши!

Удивленно уставился на пленницу и Маметкул. Среди смуглых татар

она казалась прозрачной. Белое тело покрывали льняные спутанные волосы, разметанные за спиной.

— Якши-и-и, — прохрипел Кучум и дал знак, чтобы Домашу увели.

Когда девушка исчезла, Кучум приказал:

— Звать шамана остяцкого, хочу знать, что ждет мое царство!

\* \* \*

На обрывистом берегу, что круто падал в воду, плясал шаман. Кучум, ближние его и слуги устроились поодаль. Царь Сибирский, великий хан Кучум восседал на атласных пуховиках, уложенных на кошме, крытой коврами, ипил кумыс. Кожаный бурдюк лежал рядом.

Шаман, проходя мимо в своем круговом танце, сыпнул в царскую чашу какое-то снадобье.

Кучум тянул кумыс.

Гремел шаманский бубен, танец становился все неистовее, гортанные крики шамана глохли и терялись в бешеном ритме, и тогда Кучум пронзительно вскрикнул:

— Вижу!

\* \* \*

Через реку, на песчаном плесе, над тихой водной гладью появились два чудовища. Это были не волки, не медведи. Какие-то неведомые, невиданные звери. Они сходились все ближе и ближе.

Справа, изгибая спину и дыбя шерсть, шел черный зверь.

Слева на него, спружинившись, но спокойно наступал красный.

Все ближе и ближе друг к другу...

Гремит бубен...

Неистовствует шаман...

Смотрит ошарашенно Кучум через реку...

А звери все сближаются и сближаются...

Вот они встали друг перед другом...

Черный поднялся на задние лапы, навис всей своей громадой над красным.

Гремит бубен.

Трепещут в быстром вихре лоскутья шаманского облаченья, постукивают на поясе костяные амулеты, трезвонят бляхи и колокольцы.

Окаменели в молчании татары, неподвижен Кучум.

Черный зверь первым сделал прыжок. Он медленно приподнялся над водой, повис на мгновение в воздухе и грузно плюхнулся в воду. Брызги скрыли обоих из глаз, но вот фонтан осел, стало видно, как черный зверь, неуклюже ворочаясь, пытался сбросить со своей спины красного.



А бубен гремит...

Кружится в танце шаман...

Сидит Сибирский царь, очарованный виденьем...

Грызут звери друг друга. Всеи силой своей пытается черный прижать красного противника, но тот, легко изворачиваясь, все чаще вспрыгивает ему на взлохмаченную спину. И силы черного чудовища тают, а красный зверь грызет безжалостно своего противника, все ниже и глубже жмет его в воду...

Отпрянул Кучум от страшного видения, и оно вдруг исчезло.

Только шаман бесновался на берегу да гремел бубен.

— Хватит! — закричал Кучум.

— Амба!

Остановился шаман, смиренно склонил голову перед владыкой Сибирским. Замолк бубен.

— Что означает то? — спросил Кучум.

— Скажи, повелитель ясноликий, не таись, что явилось тебе?

— И видел я, люди, зверя черного огромного и зверя красного малого. Дрались они не на живот, а на погибель, и тот малый зверь красный грыз черного без сожаления и топил его в воды мутные...

— О-о-о! — заголосил шаман. — То лихое знамение, повелитель! Не вели казнить, ясноликий сын Аллаха, — милуй раба твоего...

— Говори!

— Придет к тебе войско малое с той стороны, куда солнце на ночь клонится... И будет сеча жестокая и погибнет в ней наше царство великое...

— Замолчи, вещун! — взвизгнул гневно царь Сибирский, — взять его, казнить его, во имя Аллаха, самой казнью жестокой!

Бросилась стража Кучумова к шаману поспешно, скрутили руки-ноги его ремнями, затолкали в мешок кожаный подседельный и вынесли на речной обрыв. Шаман дико выл, глухие вопли доносились до Кучума.

Сибирский царь махнул небрежно рукой, мешок перевернулся несколько раз в воздухе, ухнул в воду, только круги разошлись по реке да волны от них, медленно набегая на берег, лизали песок.

\* \* \*

Легкие волны одна за другой накатывались на берег. Солнце, поднимаясь над лесом, касалось своими лучами, расцветивало речную гладь утренней зарей и от того река казалась кровавой.

Стянув с себя рубаху, Заковригудран смывал студеной водой кровавую рану, оставленную татарской стрелой на упругом бедре.

По берегу низко стлался дым, кое-где дымились головни.

Среди бывшей улицы метался жеребенок.

Скатывалась по бедру окрашенная кровью вода. Казак поднялся, вышел на косогор, натянул на мокрые ноги свои холщовые порты. Рана мешала. Он сорвал с подорожника лист, поплевал на него, прилепил на рваное тело. Замотал рану холщовой тряпичей, завязал на брюхе порты.

Кружилось воронье над трупами, противно кричали над своей добычей хищные птицы.

Жеребенок заметил человека, во весь дух припустил к нему, перепрыгивая через головешки, через горящие развалины, через трупы людей. Он бежал, распугивая птиц, и те, шумно срываясь со своих мест, носились тучами в дымном поднебесье.

Жеребенок добежал до берега, нерешительно постоял перед незнакомцем, а потом доверчиво подошел к нему, положил свою теплую морду на человеческое плечо.

Блестели влажные глаза жеребенка, скатывались слезы по стариковской щеке, капельками собирались на усах.

Заковригудран гладил жеребенка, шептал ему в ухо свою думу:

— Ничего, супостаты... Не бывать разбою вашему... Не властвовать вам над людом русским вечно... И землю топтать нашу православную не позволим. Достанет силы на вас, басурманов. За все, за все, что чинили вы на земле нашей многострадальной, отомстим...

\* \* \*

Народ строгановский в великом возбуждении сновал по берегу — с косогора к реке, от реки обратно. Грузили струги припасами, готовились к выходу дальнему. На одни струги несли муку в мешках холщовых, к другим подкатывали бочата с маслом да порохом, на третьи грузились плетеные пестери да короба с мясом, рыбой и другой дорожной снедью.

Ермак с Семеном Аникиевичем стояли на косогоре. Перед ними лежало широкое подгорье, было видно сразу все, что делалось на берегу. Будто думу сокровенную свою вслух Ермак высказывал:

— Нерушима сила народная, коли подыметя она на дело правое. Засиделись казаки по избам, жонками обзавелись, а на брань-сечу кровавую без сожаления идут.

— Знамо. Дело то и государю нашему и богу угодное, — ответил Строганов.

— Не о том печется народ... Отмстить за годы тяжкие, за позор великий и разор, басурманами чинимый, черед настал.

— И то дело угодное. Милость государеву за дела лихие прошлые всяк поиметь мыслит.

— Милость великая ли, смерть ли от басурмана нечестивого идет — не ведомо то, а злоба народная кипит, и копится в люде простом сила нерушима.

Мимо катили бочки, носили огромные кули, короба с припасами.

На берегу Богдан Брязга руководил погрузкой, слышно было, как он распекал нерадивого:

— Не клади в носу тяжести — струги ходу терять не должны... Не близок путь!

Иван Кольцо грузил оружие. Тяжелые фитильные ружья — пищали укладывали в струги поверх прочих припасов. Серьга в правом ухе атамана вспыхивала в первых утренних лучах, когда он резко ее встряхивал. Мельтешили по всему береговому низу, во всю подгорную ширину красноверхие шапки Ермаковых казаков, простоволосые головы работных строгановских людей и холопов.

Внезапно перед Семеном Аникиевичем пал на колени медвежьего склада заросший мужик:

— Смилуйся, кормилец, пусти на брань с басурманами! Не держи холопа своего — за позор жонки дай отместить неверным!

— Кто таких, что осмелился просить о деле подобном?

— Из работных твоих, по кузнечному ремеслу я. А жонку неверные лонись испозорили на глазах моих да с собой увели, нечестивые...

— Звать как?

— Гридей кличут меня — холопа твоего... Не откажи в милости, Семен Аникиевич, кормилец... — Гридя посмотрел в глаза хозяину и твердо, стоя на коленях, но с поднятой головой, добавил: — А непустишь, хозяин, — в холопы к тебе сам явился и на волю в обрат — знатка дорога...

— Быть, холоп, тебе в дружине воеводы нашего Ермака Тимофеевича. Вижу боль твою и... господь тебя благословит.

— Благодарствую, кормилец, Семен Аникиевич, а воеводе усердием службу свою окажу...

Гридя вскочил с земли, подставил спину под мешок, что волокли к стругам два казака и, согнувшись под его тяжестью, рысцой потрусил вниз.

Огромный груз скрыл под собой его спину и плечи — только ноги мелко и быстро семеняли по тропе.

Один из казаков, глядя вслед Гриде, сказал:

— Любую тяжесть возьмет на плечи свои мужик... Согнется, а не свалится.

— На том и стоит земля, — ответил другой. — На силе мужицкой.

Ермак сказал Семену Аникиевичу:

— С такими не за Камень, на край света страху нет идти...

\* \* \*

Девичьи покои Ксении Яковлевны располагались на верхнем этаже строгановских хором. Солнце, встав над лесом, заглянув в опочивальню, пот-

роголо припухшие от сна губы, погладило черные волосы и зарылось в луковой перине рядом с девушкой...

... Ксения Яковлевна бежала, проступаясь босыми ногами в снег, по чужому незнакомому лесу. Ее белая исподница мелькала среди черных деревьев, низко к снегу размахнувших свои черные мохнатые лапы. Она то сливалась на какое-то мгновение с белым снегом и становилась невидной, то, резко выделяясь, металась среди черных стволов.

За девушкой гнались чудовища в звериных шкурах, в какие были одеты пришлые вогуличи и которых видела она у себя на подворье.

Она металась в диком ужасе в темном лесу, ее преследовали уроды, но вот она выскочила на поляну и увидела дядю своего, Семена Аникиевича. Он указывал ей пальцем назад и говорил:

— Грамоту учинить надобно сыну боярскому Степану Ивановичу Обноскову...

Девушка обернулась назад, но увидела тех же своих преследователей. Только теперь впереди всех бежал боярский сын Степан Иванович, размахивая длинными рукавами своего платья. Рукава были похожи на крылья, он ими взмахивал, стараясь нагнать беглянку.

И снова, увязая в снегу босыми ногами, Ксения Яковлевна бежала вперед. А за спиной свистели стрелы, звенели мечи и копья, а дядин голос спокойно-спокойно наставлял:

— Тоской изошла... А свадьбу справим царственную.

Степан Иванович наступал. Размахивая рукавами, он уже касался девичьих плеч.

И тогда Ксения Яковлевна упала. Она утонула глубоко в снег, стараясь зарыться лицом, слышала над собой звон мечей, свист стрел, дикие крики преследователей. Кто-то сильный и смелый боролся за нее, она это чувствовала, но силы встать на ноги не было, а от снега стыло тело и лихорадило...

Потом холодная снеговая постель сменилась на что-то горячее, обжигающее, ее качало, будто на волнах в запруде, и тогда она углядела спасителя...

Сильные руки бережно прижимали девушку к груди. По черной стриженной бороде Ксения Яковлевна опознала Ермака. Тот глянул девушке в глаза, смутился, поставил ее на ноги, отступил несколько шагов назад, приложив правую руку к груди, поясno отвесил поклон...

Ксения Яковлевна скинула с себя покрывало, села в широкой деревянной кровати, приложив руку к горлу, тяжело дыша, напуганная приснившимся. Солнечное пятно сползло с кровати и разлилось по полу, перебирая лучами ковровую ткань.

Девушка свесила босые ноги через край, одернула длинную белую исподницу, подошла к окну и распахнула его. Стало видно все, что делось у берега.

Ермак стоял с Семеном Аникиевичем на яру, что-то говорил. Она смот-



рела на его мощную, ладную фигуру, видела смуглое, в черной бороде лицо, его правильный, будто резной профиль.

В комнату вошла молоденькая дворовая девушка, развернула перед Ксенией Яковлевной рукоделие:

— Пряжи золотой надобно еще малость да бирюзу выкласть на счастье. А тут вот узорочье травное шелком разноцветным выставим...

Ксения Яковлевна подняла ткань за другой край, раскрылось полотно величины изрядной с вышитым рисунком.

Воин с золотым нимбом над головой и белыми крыльями за плечами поднял карающий меч над неверным, падшим пред ним на колени. На голубом фоне фигура воина ярко выделялась богатым одеянием, белыми крыльями, золотом нимба. Неверный был на низу и оттого темным оказывался. На берегу в отдалении вздымались крепостные стены с башнями. По широкому полю, обрамлявшему картину, шло травяное узорочье, шитое золотом, шелком, бирюзой, писаное водяными красками.

Ксения Яковлевна внимательно осмотрела рукоделие, сказала:

— Пусть хоругвь сия укроет атамана — восводу Ермака Тимофеевича и дружину его от врага лихого, от раны смертной...

— Не мучь себя, сударыня, Ксения Яковлевна, скажись ему любовью своей...

— Что ты, Палаша... Не можно то содеять — честь девичья моя не дозволяет наперед молвить.

— А коли я то объявлю?

— Ему?

— А что ж? Я девка дворовая, в казачий острог мне не заказан путь.

— Не гоже то, Палаша...

— И он тебя, чай, приметил... А объявить о том...

— Нет. Не надо... Я вот рушник вышила шелком по холсту беленому, ты и передашь в дорогу ему. А сказывать не надобно. Коли судьба, то и поможет бог объявиться любви нашей.

Девушка встала перед окном, на берегу кончали погрузку. Она видела — Ермак стоял с дядей все еще на взгорье. Приметила, как один казак покачнулся под тяжестью мешка. Ермак быстро подбежал, перехватил груз на свое плечо, пошел с мешком по тропе вниз.

\* \* \*

Ночь дышала покоем, мирно текла река, в лесу ухал филин, луна катилась медным слитком в поднебесье.

— Люб ты мне, атаман, — шептала Ксения Яковлевна.

— Голуба моя сизая, — Ермак гладил черные волосы девушки, прижимал ее податливое тело к своей груди.

— Зачем уходишь, меня кидаешь?



— Государю и тебе кланяться буду Сибирью. Не хочу имя татя и вора носить — хочу свой позор смыть битвой жестокой... Князем Сибирским к венцу пойду или лягу костями в царстве Кучумовом...

— Свет померкнет без тебя... Не хочу я разлуки терпеть...

— Не свыкла душа жить в покое, когда столько зла басурмане чинят людям русским. Пора конец класть засилью басурманскому...

— Храни тебя бог...

— Любовь твоя, Ксеньюшка, беречь меня станет...

— Возьми рушник, воевода, в путь тебе изладила...

Ермак целовал руки девушки, гладил ее волосы, обнимал за покатые плечи. Поливала землю светом неярким луна медноликая да хранила в тени смутной от пригляда нежданного атамана отважного и Ксеньюшку Строганову, сказавшихся в ту ночь о любви своей...

\* \* \*

Солнце лениво всплывало над лесом. Над городом плыл колокольный звон. Его торжественный гул то замирал, то нарастал с новой силой. В церквях служили напутственный молебен.

Струги, медленно разворачиваясь против течения, выстраивались в длинный караван. Резали весла речную гладь, крестились, оборачиваясь на город, казаки, полоскались на ветру поверх казачьих голов знамена и хоругви, холодно поблескивали ружья, бердыши, копья, пестрели разноцветные казачьи кафтаны, ярко адели красновехие шапки, сняли на солнце начищенные до блеска стальные шлемы.

Ермак с дружиной уходил в неведомый край.

На все спокойно взирал лик Спасителя, писанный строгановскими богомазами на одном из боевых знамен.

На высоком откоме стояли строгановские работные люди. Проводить в путь дальний явились все свойственники да знакомцы.

Священник у переносного алтаря творил молитву...

Семен Аникиевич, приложив руку к глазам, смотрел из-под ладони на входящие вдаль струги...

Рядом стояли Максим и Никита. Никита Григорьевич крестился... Утирада слезу рукавом, хоронясь от чужих глаз, Ксения Яковлевна...

Вот и последний струг скрылся за речным изгибом, а народ все стоял на берегу и не расходился.

Утирались казачьи жонки, а другие ревели, не остерегаясь.

Молился священник...

Смотрел в неясную даль Семен Аникиевич.

\* \* \*

Дымились костры. Пламя лизало чугунные бока котлов-ермаков, каше-

вары мешали деревянными мутовками вареву. Казаки натягивали палатки, наскоро ладили балаганы, устраивались на ночлег.

Ермак собрал у себя в шатре есаулов, сотников и десятников. Многие остались у распахнутого входа, так как места всем не было. Явились Иван Кольцо, Богдан Брязга, Матвей Мещеряк, Яков Михайлов, Никита Пан. Здесь же был Заковригудран, назначенный только что в десятники.

Говорил Иван Кольцо:

— Доводчики и вожи, что с вылазки вернулись, сказывали — до вершины реки один день ходу, а дальше горы великие лежат да леса темные. А до другой реки, что Жаровлей зовут, волоком надо идти, и припасы, и снаряд весь на себе да струги землей волочить надобно. Река та, Жаровля, в другую, в Серебрянку-реку падет, а после будет Тагил-река, а уж тогда река большая Тура. А на Туре той — Чинги-Тура, град басурманский стоит и хан татарский, Бекбелий Агтаков, что разор учинил летом в землях наших...

Ермак слушал друга верного своего, не перебивал, а когда тот кончил, спросил:

— Войско велико ли у Бекбелия того?

— Войско не малое, да татар не велико число, а токмо вогуличи да остяки.

— Поручим, атаман... — сказал Брязга.

— То не сила... — поддержал Мещеряк.

— В дело скорей бы — кровь отмстить пролитую, — вмешался Заковригудран.

— Кровь лить не потребно, елико можно словом увестить неверных, — возразил Ермак.

Матвей Мещеряк, как бы раздумывая, вставил:

— Остяки да вогуличи не менее лиха от Кучума вынесли, чем наша земля русская. Споровим брань победную — великим радением те народцы под государеву руку придут.

Сидевший до этого молча священник осенил крестом себя и сказал:

— Все люди едино суть у бога — и татарове, и остяки, и вогуличи, и прочие языци...

— То верно глаголешь, преподобный отец. Не крови-убийства ради идем в землю Сибирскую... Веру православную крепить надобно, а прежь того Кучум-хана смирить под десницу государеву... Народцы ослобонить малые...

\* \* \*

На казацкое становье легла ночь.

В шатре было душно, и Ермак вышел на волю.

Казаки спали.



Только у костров сгрудились дозорные, о чем-то беседу вели.

Ермак постоял молча, потом прилег на землю, упираясь головой в тухлявую валежину, долго глядел вверх.

В густой тьме висли далекие звезды, ярко сияли.

У каждого своя судьба-доля.

У каждого своя звезда...

Но вот одна из них черкнула огнем по густому поднебесью и, вспыхнув у самой земли, исчезла.

За ней пала вниз вторая...

Третья...

И полился звездный дождь, чертя небо и наполняя мрак короткими вспышками...

Это длилось недолго. Исчезло во тьме, еще шибче сгустившейся, так же неожиданно, как и началось.

Ермак думал...

А думы его уводили к тем прошлым дням...

\* \* \*

Ночлежная изба была просторна, однако низкий потолок, светец с тремя лучинами и множество народу создавали мрак, в котором мельтешились только тени. На столе из колотых дубовых плах стояла долбленная кадь, рядом лежал ковш.

Ермак сидел на лавке, черпал ковшом из кади брагу, лил ее в огромную братину и пил, закусывая хмельное хлебом, посыпанным толченой солью. Потом запивал скудную снесь квасом из берестяного туеса.

И снова отхлебывал браги...

Надрывались гудошники, желейники...

В углу звенел грузными веригами юродивый...

Еще громче заныли гудки...

Звякнули железные тарелки...

Рассыпались мелкой дробью деревянные ложки...

Из тьмы выступили скоморохи...

В длинном зипуне, перепоясанном рушником, с туесом на голове и поварешкой вместо скипетра в одной руке и репой великой, изображавшей державу, в другой, важно выступал царь.

Поддерживая сзади подол зипуна, царя сопровождали два боярина-постешника. Один кутался в рваную сермягу, другой прикрывал худые плечи куском овчины.

Выступив в круг, бояре, будто ненароком, выше, чем следовало, задрали зипун.

На царе портов не было...

Государя усадили на перевернутую кадь.

Бояре встали обочь, приняв на изготовку оружие — кочергу и ухват. Царский служка, тоже из потешников, зачерпнув ковшом брагу, поднес с поклоном к повелителю.

Тот выпил, отер грязной ладонью усы, повелел:

— Телу услада в ночь придет, ибо жонки истомой мучаются, чрево насытил — душа услады ждет! Выходи, скоморохи да потешники, в круг!

Еще лучше забили ложечники, звоном раздалась тарелки, взвизгнули гудошники, заныла жалейка...

Вырвались плясуны...

*Эх, рас-сужин сын,  
Комаринский мужик!..*

Бьют голые пятки в пол...

*Заголил штаны,  
По улице бежит...*

Улыбка взвеселила сумрачное лицо Ермака...

*Он бежит-бежит,  
Подгоркивает...*

Вихрем пошли плясуны, заступая весь круг, раздвигая его все шире:

*Свои штаники  
Поддерживает...*

Ударом поварешки в пустую кадь царь остановил потешнице, громко-гласно объявил:

— Слушай грамоту, чернь!..

— Слушай грамоту, чернь непотребная! — раздалось от порога.

Все глянули туда — в дверях стояли окольный и два стрельца.

Юродивый жался во тьму...

Окольный, ставя лист под светец, прочитал:

— По указу государеву велено изловить и смертью казнить холопа беглова Василия Тимофеева, сына Аленина, убийца и разбойника. А приметы татя и вора того: годами млад, и зрачен, и высокий, плосколиц, черн брадою и власы прикудряв, и плечист горазд...

Ермак встал от стола, пошел к служилым.

Не успели те опомниться, как во мраке сверкнуло жало хлебного ножа. Окольный охнул и повалился спиной через порог. А Ермак хрюнул кулаком по виску одного стрельца, сжал глотку другому.

Через минуту три бездыханных тела валялись на полу.

Ермак вытянул из-за опояски у окольного пистоль, снял суму со свинцом и пороховницу, молча глянул на ночлежников.

Один из скоморохов вышел вперед:

— Не гнушайся ватагой нашей, будь за атамана... А путь наш на Волгу-реку...

\* \* \*

На крутой каменистой скале, изъеденной ветрами да непогодью, стоял Ермак. Перед ним ложиной тянулась свежая просека, вдоль которой шли с поклажей казаки. Они перетаскивали припасы на Жаровлю. Многоверстный путь они проходили с тяжелым грузом на плечах, а оттуда порожные возвращались обратно, чтобы взвалить на себя новую кладь.

Ермак смотрел на восход, но кроме дикой, неведомой тайги и молчаливых гор, впереди ничего не было.

Тайга и горы.

Горы и тайга... Да скупое, роковое безмолвие.

Ермак постоял, спустился вниз по каменистому скату, за ним замкнулась плотная стена леса.

Он шел, обходя валежины, продираясь сквозь чащобу.

На сосне по сучьям сновала беспокойно взад-вперед белка. Вот она заметила человека, насторожилась. Только кисточки ушей да дрожащий мелкой дрожью хвост выделялись на голубом небесном фоне.

Впереди показался просвет, деревья расступились — из-под земли бил ключ. Вокруг буйно зеленели смородиновые кусты, ягоды черными кистями свисали вниз.

Ермак брал ягоды, кидал их в рот, разжевывал, кривя губы от терпкого кислого вкуса.

Потом он наклонился над ключом, зачерпнул из еле заметного ручья воды, испил с ладоней.

Вода была чистая, холодная, пахла лесом и он скинул с себя шлем, кольчугу, стянул рубаху, снял с пояса меч.

С груди из-под рубахи вытянул свернутую белую холстину, бережно положил ее поверх доспехов.

Зачерпывая ладонями студеную воду, он окатывал ею плечи, грудь, по-лоскал шею, брызгал на спину, мокрыми пальцами расправлял бороду и усы.

Рядом треснула валежина, кто-то приблизился, шумно разворачивая бурелом.

Ермак плескался...

Кусты трещали рядом...

И когда Ермак поднялся от воды, перед ним стоял огромный медведь. И зверь, и человек мерили друг друга взглядом, не решаясь сделать первого

шага. Медведь не выдержал, медленно поднялся на задние лапы, густо и властно заревел.

Рев раскатился эхом, ударился где-то в вершину скалы и вернулся обратно.

Зверь снова заревел, пошел на человека, так бесцеремонно вторгшегося в его владения.

Ермак схватил лежавший у ног меч, выдернул его из ножен, изготовился.

Медведь наступал.

Человек ждал.

Зверь все ближе.

Видны налитые кровью глаза...

Ермак уже видел оголенное в линьке звериное брюхо, скатавшуюся клубками обвислую шерсть.

Из медвежьей пасти пахнуло смрадным горячим духом...

Зверь подошел вплотную, навис над Ермаком всей своей громадой, торжествуя, заревел...

И тогда взметнулось голое тело, сорвался с места Ермак, блеснуло стальное лезвие и меч по самую рукоять вошел в звериную тушу.

Дикий рев потряс воздух, на самой низкой ноте вдруг перешел в хрип и внезапно смолк... Только эхо долго еще перекатывалось по лесу, пугая малых зверюшек да таежных пичуг.

Медвежье тело было в судороге.

Ермак сорвал листья, отер ими меч, убрал его в ножны, снова склонился над водой, смывая с тела кровавые брызги. Мокрой рукой отер кровь на шароварах, потом развернул лежавшую поверх одежды холстину. Это был рушник. Шитые шелком концы его переливались разноцветьем в лесном полумраке. Утерев лицо, разгоряченное схваткой, Ермак собрал рушник шитьем кверху, утонул в цветастом узорочье лицом. Среди узорчатого сплетения по белому холсту видны выложенные золотой тесьмой буквы: "Ксения Яковлевна Строганова".

— Ксюшенька, радость моя... Горлица, ненаглядная, свидимся ли?... — шептал Ермак.

\* \* \*

Подкатывая свежеспиленные бревна одно к другому, казаки делали настил. Другие, впряженные в лямки, следом за ними по свежей бревенчатой дороге тянули пустые струги. Надрывная песня звенела нестройно, с нажимом на отдельные слова, а сквозь напев прорывалась команда:

— А и раз... А и два...

Медленно скатывался с одного бревна на другое тяжелый струг.

— Еще раз...



Скрипело дно струга, сдирая с бревен коричневую кору.

— Дружно — раз!

Туго звенели натянутые до предела ремни.

— А и раз, а и два!..

Струг медленно, рывками, со скрипом и стоном подавался вперед. Надсадно, тяжело гудела басовитая песня, ободряя дружинников.

Ермак обогнал артель, что тянула струг, перешагивая через сосновые бревна, пошел вперед.

А передние казаки все еще рубили сосны и кедры, клали вдоль просеки бревенчатый настил.

Ухали топоры...

Все еще слышалась надрывная песня...

Падали, ломая поросль, деревья...

Бежало прочь напуганное шумом зверье.

\* \* \*

На Жаловле встречал перетянутые струги Богдан Брызга. Струги по длинным покатам медленно сползали с берега в воду, качались посреди речушками, переваливаясь с боку на бок.

Подошел Ермак:

— Как скоро управимся, Богдане?

— Много — два дня. Три, може. А там и в путь.

\* \* \*

Плывут Жаровлей струги один за другим. Цепляют весла концами то правый берег, то левый — узка река. Особь тяжело править на изгибах да перекатах речных. Струги упираются носами в берега, скребут песок днищами, накрепко застопориваются на коварных мелях.

На одном из стругов Гридя рассказывал:

— Был у нас на подворье княжеском в Московии один скоморох пришлый. На ложках такие трезвоны выкидывал да плясал, яко бес, и руками, и ногами, и на голове да брюхе тож! Уважение имел за то от князя. Спал во хлеве, яко скот, а там и лихо приключилось с ним. Пришли бабы поутру во хлев, а скоморох тот с козой блудит. Знамо, бабы шум учинили, до князя дошло. И велел князь скомороха того венчать с козой не по-христианскому обычаю, по-бесовскому. А скоморох и отвечает:

— Что княжна, что овца — сладка с одного конца...

Гридя замолк, казаки густо ржали.

Один из гребцов спросил:

— И повенчали?



- Нет...
- Что так?
- Возгневался князь на речи дерзкие. Сечь велел батогами. И забили того скомороха. Душу отдал... Царство небесное.
- На переднем струге Ермак и Иван Кольцо толковали меж собой:
- Чинги-Туру разом пройти надобно. Покров близко, зима застанет в пол-пути — худо будет.
- Дай волю, воевода, — казаки до драки больно охочи...
- Волю на то даю, на драку не перечу. А кто не супротивничает, того губить не след...
- Знамо. Государю ясак собрать не с упокойных надобно.
- Жонок, Иване, басурманских да народцев малых беречи надо. Не разврата и блуда ради идем...
- Злы казаки на нехристей за позор над жонками нашими...
- Зло да корысть — неугодные деяния есть и знать то всякому подобает...

\* \* \*

И вот струги вышли на широкую воду. Расступились берега, не висят на кручах леса темные, не застыт небо — кругом простор.

На яру стояли Ермак и есаулы.

Воевода указывал вперед, где смутно угадывались постройки, а в небо поднимались неясные дымы.

Гребцы нетерпеливо двигали веслами, удерживая струги, их попутным течением сносило мимо.

Ермак говорил:

— Со мной к крепости пойдет Богдан да Никита со своими сотнями. А ты, Иване да Матвей, струги бросите за изгибом, да сушей и ударите, как мы зачнем.

— Верно слово, Ермак, о две стороны бить сподручнее.

— Опречь ружей иметь к бою мечи да топоры готовыми. Первая встреча — вперед решит многое.

— Дозволь, воевода, полонянку Домашу, девицу мою нареченную потом искать, — попросил Брязга.

— Озлен чрезмерно ты, Богдане, зло очи твои застит — боюсь, худо много творить учнешь... А то непотребно...

— Зло держать буду силы сколь хватит, — ответил Брязга.

— Не гневи разбоем да кровопролитием, а полонянку свою отыскать тебе надобно, — согласился Ермак.

Воевода осенил себя крестом, спускаясь с берега к воде, проговорил:

— Ну, с богом!

Он шагнул в свой струг, скомандовал:

— Поднять хоругви! Готовить ружья! Скоро вперед!

Команду повторили многократно, струги под взметнувшимися знаменами вышли к середине реки и заскользили в плотном строю вперед.

\* \* \*

Бой длился недолго.

Когда струги приблизились к городу, на казаков со свистом метнулись тысячи стрел. Многие из них, не долетая к цели, с глухим шипением тонули в воде. Некоторые процарапали казачью броню, другие впились в смоляные бока стругов.

Казаки изготавились, Ермак крикнул:

— Пли!

Залп громыхнул, будто раскат грома. Эхо и запоздалые выстрелы долго перекатывались над водой, а в довершение всего ухнула пушка.

Невиданное оружие совершило свое — татары, бросая луки и копья, сбивая друг друга с ног, бросились прочь.

Но к городу сушей шли казаки Ивана Кольцо и Матвея Мещеряка. Подступив к насыпному валу, они изготавились и дали залп по немногим оставшимся на стене защитникам.

Медный щит, за которым таился старый лучник, разлетелся вдребезги, а татарин рухнул недвижный.

С криками, с выстрелами, в дыму и пламени казаки лезли через вал, расстреливая в упор из пищалей, добывая мечами и копьями обезумевших татар.

Бежали татары...

Бежали остяки и вогулы...

Валялись убитые...

Стонали раненые...

Казаки входили в Чимги-Туру, вотчину хана Бекбелия, окраинную крепость Сибирского царства.

Татары в панике хватали коней, вскакивали в седла, уносились в южные, незанятые русскими, ворота. Кони уносили их все дальше и дальше, седая пыль застгла окоем, постепенно редая и оседаая.

— Надо бы нам коней иметь. Татары пеше не воюют. А нагнать — не на чем, — сказал Ермак, провожая взглядом удирающего противника.

— Повоюем Кучума, тогда конников заведем, — ответил Иван Кольцо. Казаки тушили подожженные при отступлении татарские юрты.

Над городом висел дым...

Из одной пылавшей юрты доносился детский плач.

Заковригудран бросился в огонь.

Юрта горела, ребенок ревел...

**Бронников Михаил Ефимович**  
**(1928 — 1992)**



«Первый снег». (Фрагмент). Этуд. 1958. Холст, масло. 50 х 70.



«Дворик». 1960. Холст, масло. 45 х 65.



«Серебристое утро». 1964. Картон, масло. 35 х 49.

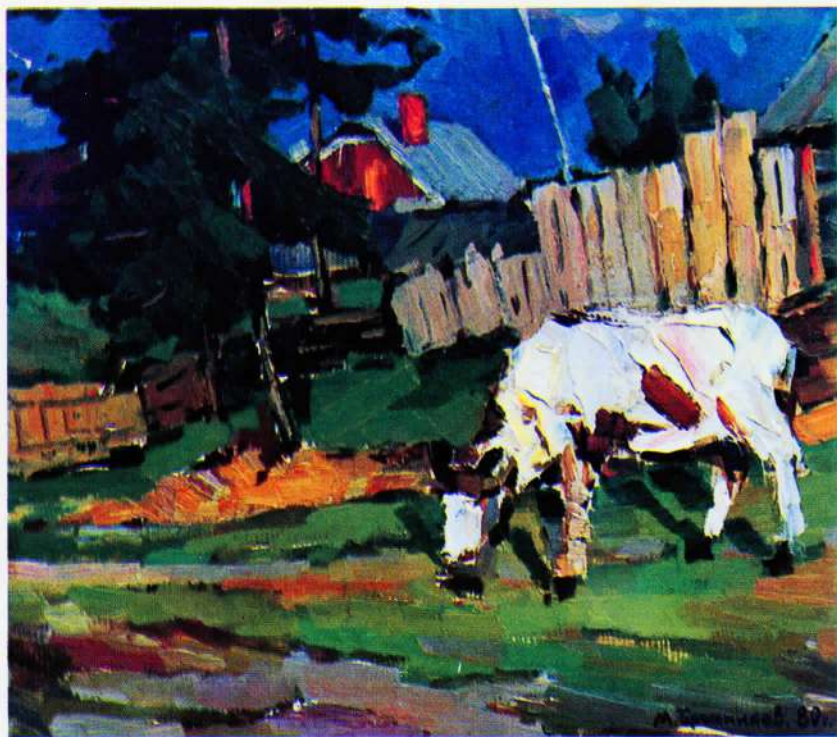




«Перед грозой». (Фрагмент). 1989. Холст, масло. 48 x 67.



«В стойбище». Этуод. 1979. Холст, масло. 50 x 70.



«Ханты-Мансийский мотив». 1980. Картон, масло. 29 х 33.

Из фондов Ханты-Мансийского окружного краеведческого музея.  
Репродукции В.В. Евсева.

Деревянные, надрубленные над землей стены юрты охватило пламя, только крыша, засыпанная по накату землей, не поддавалась огню.

В раскрытую дверь Заковригудран выпихнул маленького ребенка в берестяной зыбке, сам снова исчез в пекле.

Ребенок плакал...

Юрта догорала...

Стены пылали жарко, с треском.

Провалилось одно потолочное бревно...

Второе...

И когда Заковригудран, задыхаясь от дыма и смрада, вывалился из двери, держа на руках женщину, стены раскатились огненными бревнами, накат обрушился вниз.

Черный дым метнулся кверху вместе с искрами и пылью.

— Немошную кинули нехристи, да и с дитем малым еще, — прохрипел Заковригудран, тербя опаленную бороду.

— Так то ж остячка, — разглядел другой казак. — Татары их не особливо жалуют...

Больная остячка лежала на земле, испуганно смотрела на незнакомых людей, что-то беззвучно шептала.

Плакал ребенок...

Подошел Ермак, долго смотрел на бессильную женщину, потом поднял берестяную зыбку и поставил рядом с остячкой. Поднял с земли какую-то тряпицу, прибрал у ребенка под носом, боднул несмышлениша пальцами.

Иван Кольцо потрогал Ермака за плечо, спросил:

— Пленных куда, воевода?

От вала к центру города шли полоняне. Это были остяки и вогулы. Только один во всей колонне выделялся ярким татарским халатом.

Ермак сделал знак рукой, казаки остановили пленных.

Воевода поднял с земли обтянутый кожей татарский круглый щит, повесил его на столбике с коновязью, подозвал к себе жестом из толпы пленного татарина.

Тот, боязливо озираясь, вышел, приблизился к Ермаку, упал на колени. Что-то часто лопотал на своем непонятном наречии, кланяясь, подметал на дороге пыль жиденькой бородкой.

— Что ему? — спросил Ермак у толмача.

— Жизни просит... Не губил чтоб... Служить тебе клятву дает.

— Встанет пусть!..

Толмач повторил, татарин робко приподнялся, руки-ноги дрожали.

Ермак попросил у казака, стоявшего рядом, татарский лук, протянул его пленнику, дал стрелу, сказал толмачу:

— Пусть стреляет в середину щита...

Толмач передал приказ пленнику, и когда до того дошел смысл сказанного, он долго целил в висевший круг и только потом спустил тугую тетиву.

Стрела, взвизгнув, ткнулась острием в середину щита, немного поцарапала кожу. И тут же упала на землю. На щите была царапина, совсем малая.

— Унесите туда, — указал Ермак на другую коновязь.

Казак поспешно подхватил щит, унес его на дальний столб и повесил. Расстояние до щита, по крайней мере, утроилось.

Ермак взял из рук казака пицаль, поставил ее на упор, высек кресалом искру на трут и вздул фитиль. Ухнул выстрел, пленные остяки и вогуличи пали ниц, бились в пыли, не поднимая глаз.

Татарин смотрел широко раскрытыми глазами.

Выстрелом изломило столб, щит сорвало к земле, вся его середина была выдрана.

Кто-то из казаков сбегал за щитом, вернулся, подал его Ермаку. Тот показал татарину, спросил:

— Уразумел?

Татарин упал на колени, молитвенно сложив руки, о чем-то просил Аллаха, стирал ладонями бахилы на ногах победителя.

— Есаулам быть по вечеру на совете всем, — приказал Ермак и тут же спохватился: — А где же Богдан?

\* \* \*

— Где Домаша? — спрашивал Богдан испуганного старика-вогулича. Тот шурил трахомные веки, что-то лопотал по-своему, не понимая, что от него требуют.

Богдан ошарил глазами юрту и пошел к другой.

— Где полонянка?

Старуха-остячка совала ему в руки бобровую шкуру, крупную рыбину и еще что-то.

Богдан вышел, не приняв дары, старуха так и не поняла, что хотел бородатый пришелец...

— Где Домаша? Русская где? — допрашивал Богдан молодую татарку в третьей юрте.

Она, не понимая, ошалело смотрела на грозного незнакомца.

— Полонянка где? — повторил Богдан.

Татарка, что-то сообразив, легла на кошму, стала торопливо стаскивать с себя шаровары.

Богдан обыскал юрту, увидел полуобнаженную женщину, сплюнул и ушел...

И уже в следующей юрте звучал его голос:

— Где Домаша?

— Русская где?





— Русская яшки! Ай, яшки! — повторял, жмурясь от восторга, Кучум, рассматривая в своем гареме Домашу.

Из угла злобно смотрели на полонянку ханские жены. Особо ненавистным был взгляд Сузги — старшей Кучумовой жены, которая и сейчас еще красу свою не утратила.

Немудреную, грустную мелодию выбивала негромко из однострунного комуза одна из младших жительниц гарема.

Домаша стояла перед ханом.

Волосы спадали с плеч льняными волнами на изодранную одежду, скрывали голое тело, проступавшее сквозь дыры.

Она безразлично смотрела на своего мучителя, еле удерживая измученное тело на ногах.

Кучум, потягивая из серебряной чаши густой чай, говорил, толмач переводил его слова:

— Полюбишь хана, не будешь супротивничать, на ложе лягешь с ним — будешь царицей Сибирской. Богатство великое хан ясноликий дарует тебе, милости неизмеримые падут на тебя...

Домаша молчала.

Кучум продолжал, толмач переводил:

— Усладишь тело повелителя всемогущего — царствовать будешь, как и иные жены его...

Толмач указал в угол на Кучумовых жен, продолжал:

— А будешь супротивничать да упорствовать, то царь великий Сибирский, хан ясноликий, сын Аллаха всевышнего, велит бросить тебя зверям диким в клеть на растерзание, а преж того силой на ложе тебя для услады тела своего покладет...

— Домаша где?

Богдан, навалившись всем телом на изгородь, яростно спрашивал сам себя.

Голос его становился все жестче:

— Где Домаша?

— Домашенька где? Горлица моя незабвенная...

В темноте подошел казак, сказал:

— Ермак-воевода звал тебя, есаул. Совет держать хочет...

У костра сидели есаулы, священник, несколько казаков из числа сотников и десятников. Через толмача Ермак говорил пленному татарину:

— Силу мы имеем великую, войско у нас веле храбро, стрелы наши огнетные рушат всех и струги быстры у нас, и гребцы устали не ведают...

Толмач переводил, Ермак продолжал:

— Идем на Кучума — царя Сибирского не жечь-палить города ваши, а крепости да войско ваше басурманское рушить. И чтоб отныне Кучум остяков, вогуличей, а также и другие народцы самоедские да югорские не теснил, ясак с них не брал и сам бы грамоту, Едигером-ханом писаную, не забыл, чтоб и ясак в государеву казну платил исправно...

Татарин слушал толмача внимательно, но пережитый за день страх все еще не покидал его и он с опаской глядел на Ермака и других атаманов.

— Людям русским, в плен взятым, до нашего приходу зла не чинил чтоб. А язычники да басурмане: татары, и остяки, и вогуличи, кто служить верой-правдой государю русскому станет, тот милости получит великие...

Ермак замолчал, его слова продолжил священник:

— А кто веру обряще православную, того блага ждут всяческие...

Сказав это, он помолчал, подумал и добавил:

— В царствии небесном...

Ермак протянул рваный щит татарину, сказал:

— А этот гостинец царю вашему Кучуму. Да скажи ему, басурману некрещенному, что в его груди неверной тож дыра будет, яко во сем щите...

Воевода помолчал, спросил у толмача:

— Как имя сего басурманина?

Толмач ответил:

— Таузак.

— Вот и пусть теперь же Таузак сей идет в Искер и наказ наш Кучуму верно сказывает. А в путь снарядить его конно и оружно, и припасы дорожные выдать ему сполна...

Татарин стоял, прижимая к груди рваный щит, отрывисто, непрерывно повторял:

— Якши... Якши... Рахмат... Якши...

Ермак обратился к своим сподвижникам, сказал:

— Вот и настал черед отмщения!

\* \* \*

Воинство русское спало.

На валу перекликались дозорные.

У реки сторожили струги молодой казак и Гридя. Он подбросил в костер охапку свежего хвороста, огонь пыхнул в небо, рассекая мглу.

В низких облаках пламенели просветы, луна плыла над землей, то появляясь меж облаков, то снова исчезая в них.

По берегу валялись неприбранные трупы. Серебрилась в ночи шерсть оленьих малиц на остяках и вогулах, оранжевыми пятнами пламенели татарские халаты, холодно блестели обнаженные мечи, кинутые медные щиты, колья.

Гридя рассказывал:

— Долго обучала та колдунья старая молодца ремеслу своему. И травы научила рвать, и снадобья готовить зловредные да приворотные, а когда кончился срок, то сказала ему: “Как помру старая, будешь силу иметь великую над всеми людьми, а пока жива, на земле силу свою ту не уступлю никому”. Год ждал молодец, два года ждал, а колдунья живет. И надумал он порешить ее. Пришел в логово ее бесовское да и прирезал сонную...

Рассказчик смолк.

Молодой казак нетерпеливо спросил:

— Ну а дальше что? Имел силу колдовскую, нет ли тот молодец?

— Нет. Не своей смертью кончилась ведьма старая, от того и силу не оставила никому. А человек тот покоя не имел более. Особь ночь настает, а старуха та и ходит вокруг него. Молчит да ходит кругами — ищет что-то.

В стороне вспорхнула поднятая кем-то ночная птица, дозорные повернулись туда и увидели освещенную всплывшей в просвете лунной одинокую фигуру, которая медленно брела по взгорью. Она то клонилась к земле, то распрямлялась и снова шла среди убитых.

— Видишь? — испуганно прошептал молодой казак.

— Може, поблазнилось? — спросил Гридя.

Но фигура приближалась. Она продолжала что-то разыскивать, то склоняясь, то распрямляясь. Ветерок раздувал полы длинного халата — было видно, что это женщина.

— Господи сусе, — молился молодой казак. — Она...

Гридя перекрестился, крикнул:

— Эй, там, на яру! Что надобно?

Фигура молчала.

Молодой казак истово крестился.

Гридя снова крикнул:

— Кто ты? Во плоти ли ты, человек?

Фигура молчаливо шла косогором.

Тогда Гридя поднялся, пошел во тьму, прочь от костра, медленно приближаясь к загадочному существу. Пищаль была наготове, в другой руке у Гриди пылала факелом крупная головня, взятая из костра.

Молодой казак видел, как Гридя подошел к фигуре, головня озарила ее — стала отчетливо видна женщина.

Размахивая руками, Гридя и женщина о чем-то говорили.

Светя головней, они вместе пошли, наклоняясь и разглядывая убитых. Потом спустились к костру.

В полумраке трудно было разобрать, молода ли, стара ли женщина.

Гридя, подойдя ближе, сказал:

— Мужа она, татарина, искала. А сама русская, только говорить по-нашему поотвыкла — худо понимает.

Женщина заговорила, жестикулируя руками и сбиваясь:

— Мама была, тятя была, мать, отец татары били, меня брали, жену делали.

И видя, как все еще крестил себя молодой казак, женщина тоже перекрестилась.

— Мужа глядела, нету его, бежал куда, придет, бить будет.

— Не будет бить — не позволим того. Теперь эта земля наша, русская. А татаров всех, и твоего тож, рушить будем. А Кучума-царя решим.

— Ой, не нада. Муж решим — хорошо будет. Кучум решим — худо будет. Шибко большой царь Кучум.

\* \* \*

Утопая в подушках, восседал Кучум. Перед ним сидели мурзы, тысяцкие, сотники. Все ошарашенно смотрели на рваный щит. В середине комнаты ползал Таузак, говорил:

— Сила великая у него, воины храбры зело, струги быстры... А пуше всего луки русские прямые, железные, громобойные, со стрелами огненными. Как ударят один раз — гром по небу ходит, люди наши гибнут тысячами или в панике великой бегут. Не казни, повелитель, слово мое верно и Аллах свидетель.

Кучум смотрел, не отрываясь, на рваную дыру в щите. Вот эта дыра стала разрастаться. Она становилась все шире и шире, а в центре ее, в смутном тумане, появились очертания реки, крутой берег, а под ним — песчаный плес.

Утопая в воде, металось черное чудовище. Вокруг его бегал маленький красный зверь. Он легко вскакивал на спину черного, а когда тот вставал на дыбы, пытаясь сбросить с себя противника, красный зверь скользил ему под брюхо. И рвал его своими зубами, и черные клочья летели, застилая речную гладь. Черный зверь наваливался всей своей тушей на красного, но беспомощно плюхался в воду. Взлетали фонтаны брызг, а красный, как ни в чем не бывало, снова оказывался на спине у черного. Бессильно оседает огромная туша в воду, распластавшись на мелководье. Красный зверь жмет его все ниже и ниже.

А Таузак продолжает:

— И велел тот Ермак говорить тебе, повелитель наш ясноликий, что остяков и вогуличей, и князей их отнимает он у царства твоего, а берет их под царство свое, российское. И тебе велел помнить грамоту Едигерову, а



ясок платить приказывал царю Московскому сполна, да без обмана и корысти своей.

Сузилась снова дыра и вот уже нет страшного видения, а только щит рваный перед Сибирским царем.

— И щит этот велел Ермак донести до тебя, дабы знал ты, повелитель, силу стрел его огнеметных.

И сказал тогда Кучум:

— Примем бой мы с войском тем, а царю Московскому кориться не станем. Собрать скоро к нам в Искер с воинами князей остяцких Ляпинских да Надымских, да Самаровских, да Кодских и Кондинских. Звать князей вогульских с Пельма, Верхотурья да Нагаева, говорить самоеди Обдорской, чтоб и он людей слал. Нечислимо воинство и крепок Искерград великий. А еще звать хана битого Бекбелия с Чимги-Туры, да хана Ишимского, да слать гонцов в орду Ногайскую да Кайсацкую. С нами Аллах...

\* \* \*

Плывут струги груженные по Туре-реке. Воды светлые ее катятся, подгоняют вперед струги казацкие. Отстают мимо берега, все больше и больше вширь расступаются, а река все многоводнее да просторнее.

Впереди на струге Ермак Тимофеевич. На другом Иван Кольцо.

Секут воду веслами гребцы, гребет изо всех сил Гридя, рядом сидит женизна, из позора басурманского вызволенная.

Задумался Богдан Брязга. Перед глазами Домаша. Вот он притянул ее к себе, щекочет своей бородой ее белую шею, прижимает сильной ладонью за худенькое плечико девушки к груди своей, шепчет ей в ухо:

— Изобидеть не дам, краля моя ненаглядная, а свадьбе не время...

— Знамо, — ответила девушка.

— Рекостава ждать, а там и под венец...

Видение растворилось в набежавшей волне, Богдан шептал:

— Где ты, Домашенька... Где найду, голуба, тебя?..

\* \* \*

И снова Домаша перед Кучумом.

Одежды нет на ней, только белый татарский ночной халат накинут на ее гибкую фигуру, но и он не закрывал девичью грудь.

Девушка жмется в угол огромной ханской спальни, а Кучум медленно наступает. Хищно поблескивают на темном лице узкие глазки, трепещется нетерпеливо его жиденькая бородка.

Домаша забивается в угол все глубже и глубже.

Все ближе и ближе Кучум.

Ослаблились в улыбке желтые редкие зубы, масляно искрятся узкие глаза.

Тянутся руки к девичьей груди, распахнули до низу незастегнутый халат.

И тогда Домаша решилась. Она резко отпрянула от стены и со всей силой плюнула в ненавистное лицо. Кучум отскочил от Домашы, зло выругался, отирая лицо широким рукавом халата. И тут же хлопнул в ладоши.

Вбежали слуги.

Кучум дико кричал:

— Медведю ее... В клеть, на растерзание! Медвед-ю...

\* \* \*

Домашу вели по ночной улице два татарина. Тускло бледнела в небе луна, по земле стлались неясные расплывчатые тени.

Вот и клетка. Зверь спал, но когда люди приблизились, он недовольно зарычал, поднялся. Завыли испуганные собаки.

Один из слуг отпустил Домашу, стал открывать дверь клетки, второй судорожно сжимал рукав халата. И тут случилось неожиданное...

Девушка сбросила с плеч халат, побежала, прыгая через колдобины. Следом бежали татары, их тревожные крики терялись в собачьем лае, где-то за спиной рывкнул растревоженный медведь.

Девушка бежала вперед.

Топот татарских ног приближался.

Домаша бежала сквозь кусты, царапая голое тело. Татары ее настигали. Вот она вырвалась из кустов, перед ней блестела река.

И справа, и слева бежали, поднятые переполохом, татары. Сзади трещали кусты. Это приближались сопровождавшие Домашу татары. Девушка металась по берегу.

Погоня близилась...

И тогда...

Домаша бросилась к крутому откосу, что падал в воду, на мгновение задержалась над бездной и, решив, метнулась в бурлящий водоворот. Белое тело мелькнуло в воздухе, пошло стремительно вниз, только льняные волосы полыхнули в лунном свете и исчезли в холодной пучине.

Даже татары, выскочившие на яр, не сказали ни слова. Лишь вдали ревел медведь да луна бесстрастно обливала землю своим мутным светом.



На берегу сидел Богдан.

Рядом, на взгорье, пылали казацкие костры, возле них сновали черные, похожие на тень фигуры, переключались дозорные.

К берегу плотно прилипли груженные струги, скрипели друг о друга смоляными боками.

Волны медленно катились вдаль, слизывая с берега песчинки, искрились в лунном свете их неровные гребешки.

Богдан молчал. Неотступная дума сверлила мозг:

“Домашенька где?”

Только волны перекачивались одна за другой да вода уходила куда-то вперед, в неизведанный, незнанный край...

“Где искать тебя, Домашенька?.. Скажись...”

Навстречу встающему солнцу, на восход плыли казацкие струги.

Берега еще шире раздвинулись, обрамляя собой широкий речной простор. В воздухе носились перепутанные чайки, срывались к воде и, чуть коснувшись ее, взмывали вверх, гомоня беспокойно и тревожно.

Струги плыли вперед. Взмахивали всслами гребцы, скрипели уключины.

Ермак сидел на переднем. Спокойно вилось над головой шитое шелком да бирюзой боевое знамя. Воевода зачерпнул ладонью воды, сполоснул свое лицо, достал из-за пазухи рушник, утерся.

Рушник лежал на коленях. Ярко пламенели шитые концы. Ермак прикрыл от глаз чужих дорогие знаки их немногих букв. Видел их только он. И Ермак запел. Это была песня о родной земле, о белокурой деве с волосами, как лен, с голубыми глазами, с чистой доброй душой. Как любила та дева казака лихого, да разлучница-война отняла суженого, унесла в край далекий-чужой. И как нес тот казак через сечу яростную, через кровь и стон светлый образ в груди своей. Ермак пел. Казаки подпевали. Песня неслась над широкой рекой, ударяясь в берега крутые, туго звенела в выси голубой.

Ермак пел и видел раздолье лесное, Волгу-матушку беспокойную, а поверх всего светлым нимбом снял образ Ксении Яковлевны. Будто шла она невесомая посередине реки, с волны на волну ступала, к атаману тянулась.

Пел Иван Кольцо и виделась ему хата белая, тыном огороженная, а поза тыну подсолнухи головы клонили свои тяжелые.

Пел Максим Мещеряк и видел себя босоногим мальцом.

На лихом коне, припадая к гриве лошадиной, он скакал в широком приволье донском, подминая под коня буйное разнотравье.

Подпевал Богдан Брызга, глядел через борт. А из воды вставала Домаша. Она смеялась, тянулась к своему суженому, но не могла к нему приблизиться. И не знал Богдан еще, что холодные воды Иртыша навеки приняли в свои неласковые объятия его невесту нареченную.

Басил густо Заковригудран и чудилась ему новая, вольная да сытая жизнь в краю неведомом.

Тонко голосил Гридя. И видел перед собой сидящую покорно, зачарованную неслыханной песней, изнуренную неволей женщину. С тех пор, как они повстречались в Чимги-Туре, она помолодела, морщинки медленно, неохотно сходили с ее лица, и оно становилось с каждым днем все моложе и прекраснее.

Пел Ермак. И видел уже лишь одну свою возлюбленную — Ксюшеньку Строганову. Она будто встречу струтам шла по гребням разгулявшихся волн и сердце в груди Ермака колотилось все беспокойнее.

Дружно падали в воду весла, быстро скользили струти, подгоняемые попутным течением, все шире и шире становилась река.

Когда караван вышел из-за изгиба, впереди показалась ладья. Это плыли навстречу Ермаку есаул Никита Пан, посланный разведать, что впереди. Никита делал знаки рукой, указывая на отлогий берег.

Ермак приказал гребцам воротить свой струт к яру, другие повернули за ним.

Струти сгрудились у берега. Хлопотали кашевары, казаки набивали порохом ружья, клали в стволы рубленый свинец. Другие полнили опустевшие пороховницы.

Ермак с атаманами и есаулами слушали доклад Никиты:

— Тобол-река ох как широка да многоводна. А в месте, где узка она, Бабасан то место называется, племянник Кучумов с войском своим, Маметкул-хан, стоит. А через реку цепь железная брошена, струги чтоб остановить да войско наше изничтожить.

— Цепи те не страшны, а вот сушей путь до тех мест будет ли? — спросил Ермак.

— Не ведаю, а юрты остяцкие стоят по берегу часто и в Тобол течения другие реки да ручьи не имут. То видно со стереженья — берега ровны да сухи.

— Велите, атамане, всем казакам по снопу великому камышу резать да вязать его по подобию человекскому. До сворота реки последнего на стругах пройдем совместно, а там половину стругов пустим с обманом к цели той. Ты, Никита, и поведешь те струти обманные... Остальное воинство пеше, сторожка да скоро берегом на татарву кинется. И Маметкула того полонить надобно, ибо есть тот Маметкул-хан второй князь после Кучума в царстве Сибирском.





Казаки мечами и палашами резали камыш, вязали его в тугие снопы, одевали в старые сермяги и кафтаны, а сверху крепили шапки красноверхие да шлемы железные.

Над безжизненными чучелами трепыхались знамена и хорутви, через борта стругов торчали ружейные стволы, взятые из запасов дружинных.

Ермак с берега дал знак рукой, и Никита Пан тронул свой обманный караван вперед. Следом плыли струги с казаками.

Берегом небольшими группами шли казаки.

Они растянулись широко цепью, через кусты, котловины и овраги пробирались молча, напряженно вглядывались вперед. Там виднелись юрты. Уже было заметно в них движение многих людей.

Струги вел Никита не быстро, прижимал их ближе к берегу, на котором сгрудились татары.

Маметкул на вороном жеребце кидался то к одному, то к другому отряду своих воинов, отрывисто командовал.

У самой воды толпились остяки и вогулы. Зловеще торчала щетина из нацеленных в струги стрел.

Татары стояли сзади инородцев, прижимали их к воде.

Струги приблизились, уткнулись носами в перекинутую от берега к берегу цепь. В это время Маметкул дал команду. Стрелы чиркнули небо, со свистом, глубоко вонзались в камышовых истуканов. Но они стояли нерушимо. И это всполошило передние ряды. Остяки и вогулы с диким воем повернули и стали подминать под себя татарский заслон.

В спины им с переднего струга хлестануло пламя. Ухнула пушка, ядро с воем врзалось в самую гущу, зацепив сразу несколько человек. Одни осели безжизненно под ноги своим же товарищам, другие дико кричали, корчась от ран.

Дрогнули татарские ряды.

Напуганные грохотом кони наездников не слушались.

Маметкул пытался остановить своего скакуна, но тот дыбился и, не слушая хозяина, рвался прочь.

А со стороны леса, что окружал юрты, ударил новый гром. Дым повис густыми хлопьями, заслоняя опушку.

Татары метались в кольце.

Многие пали к земле, покорно ожидая свою судьбу. Другие неистово молились Аллаху.

Маметкул вздыбил ошалелого коня, тот взмыл свечой и сделал такой скачок, что всадник не удержался в седле.

А из лесу бежали Ермак и казаки.

Гремели выстрелы.

Падали убитые.

Кричали раненые.

Метались в панике Маметкуловы воины.

Кричал обезумевший Маметкул.

Ермак с казаками уже вклинился в ряды противника. Казаки мечами и топорами добивали сопротивлявшихся, пленили тех, кто бросил оружие.

Покорно стоял в толпе пленных и грозный полководец, второй после Кучума человек в царстве Сибирском — Маметкул.

\* \* \*

Разгоряченные сечей недолгой, но жестокой, дружинники жгли костры. Кашевары готовили похлебку.

Одни ладили шатры...

Другие ставили палатки да балаганы...

Третьи гомонились вкруг костров, кто меч правил на камне, кто пороховницы наполнял запасами.

\* \* \*

Из юрты в юрту ходил Богдан, вопрошая у перепутанных хозяев одно и то же:

— Полонянка, русская где?

Не получив ответа, Богдан грузно осел на осклизлый пенек, долго глядел в густое, как смола, небо. По-осеннему низкое, темное в непроглядной черноте, оно кутало землю, даже отблески костров размывались и оседали мутными тенями в холодную низину.

И вдруг чернь небесная раскололась надвое, ярко полоснуло пламя, озарив на миг все окрест.

Ухнул гром пушечным ударом, налетел вихрь, завивая в плети языки огня над кострами, раскидывая мелкие головешки и посыпая приникших к теплу дружинников яркими блестками искорок.

\* \* \*

Дождь вслед за первым громовым ударом хлынул так внезапно, что многие, не зная, где укрыться, так и остались мокнуть под непогодью.



Тухли костры, залитые холодным потоком, мокли на казацких плечах зипуны да сермяги, кинутые наспех поверх кафтанов.

В балаганах да палатках места было недостаточно, остаться под лютым ненастьем многим пришлось.

Дружинники сбивались в плотные кучки, глухо роптали:

- Покров, братья, прошел... За ним, не увидишь, снег грянет.
- Рекостав закует путь обратный.
- А края похода нашего не видать.
- Необъятна держава Кучумова, да и силы татарской не счесть.
- Силы слабеют наши...
- Схоронили в краю басурманском немало сподвижников...

Ермак стоял под косыми струями, дождь обдавал его крепкую, закованную в кольчугу фигуру, скатывался по бороде на грудь.

До слуха его доносилось из тьмы:

— Атаман наш, Ермак, славу да княжеское звание выслуживает. Воеводой уж стал...

- А казакам даже позорить неверных не дает.
- Не ропщи. И атамана имя не скверни, — ответили с жаром. — Заступник объявился... Може, и ты в десятники хошь?
- Мне и казацкая доля супротив холопшей неволи — рай.
- Рай-то рай... Токмо херувимов нет. Да кровушка наша льется в рай-то этом...

— Сгинуть в брани легче, чем в неволю строгановскую вновь ийти.

Ермак шагнул во тьму, голова тяжко склонилась от слышанного.

\* \* \*

Вставал невеселый рассвет...

Мелко сеял дождь, обдавая казачьи тела прохладной влагой...

По давнишнему казачьему обычаю собрался войсковой круг.

Говорил Ермак:

— Дело мы совершили славное — силу порушили великую. До стольного града Кучумова не велик путь. Но и наша сила поубавилась, и холода грянут не в долге уж, может, разохотились, братья, вперед ийти?

Казаки зашумели:

- В чем разуверился, атамане?
- Или бить басурманов сил нет?..
- Не положим укоризны на себя — веди дале, Ермак...
- Худой славы не хотим!
- Не оскудеет слава наша и по смерти, коли сгинуть придет черед!
- Веди, атаман!
- Веди!
- За тобой на Кучума!..

— Сейчас расплату чинить не станем — сколь терпеть еще?..

— Доколь инородцы, государевы подданные, страдать под игом будут?

Вперед вышел Богдан. Он высоко поднял красную шапку, зычно гаркнул:

— Сказать хочу!

Казаки постепенно смолкли, в тишине Брязга начал:

— Покров прошел, братие, зима близится... Ужель обратно вернем? На позор бесславный след ли идти? Будет силы нашей на Кучума-царя и войско его басурманское! Не тот русский ратник, чтоб с брани бежать! На Искер идти — один путь! Верно ли я сказал?

— Верно!..

— Правда то, атамане!

— Веди, Ермак!

— На Искер!

— На Искер!

— На Искер!

\* \* \*

Новый бой разгорелся под Чувашевым мысом. Здесь Кучум соорудил засеку, за которой хоронилось его воинство. Засака шла вдоль высокого яра, нависшего над рекой.

Дозорные следили за стругами, что близились. Остяки и вогулы в облаках наизготове поджидали пришлых незнакомцев. За бревенчатой засекой залегли татары.

Струги приближались.

Стояла невыносимая тишина.

Трепетали над водой боевые знамена и хорутви.

Холодно блестели ружейные стволы.

Щетинились изготовленные к бою стрелы. Дыбились копыя.

Кучум в окружении свиты гарцевал на коне за спинами залегших татар.

На переднем струге под хоругвью стоял Ермак.

Горячил коня Кучум, проносясь вдоль засеки.

Видел силу несметную вражью Ермак. Гребцы убавили ход, задние струги подтянулись, сгрудились, занимая всю речную ширь.

Секли казаки кремни, вздувая труг.

Две неудержимых стихии встали друг против друга, медлили, изучая и примеривая силы.

Метался на коне Кучум.

И вдруг в тишине отчетливо прозвучал голос татарского муллы:

— Алла, алла, алла!..

Ударил в бубен остяцкий шаман и ринулся в боевой танец.

Над стругами повис голос священника.

— Во имя отца и сына и святого духа!..

Взвизгнули туго натянутые тетивы, тысячи стрел засвистели над водой, обрушились на струги, впиваясь в тела казацкие, в доски смоленые, в полотно знамен и хоругвей.

Ермак подал команду:

— Пли!

Разом изрыгнули пламя и дым сотни стволов, вздрогнули от толчка струги. Казаки поменяли ружья, снова изготовились.

С берега неслись стрелы, злобно шипели, утопая в реке и вспенивая воду, вонзаясь в казацкие тела.

Рванул воздух второй залп.

Корчились раненые, скатывались в воду убитые остяки.

— Господи, помоги! — просил православный священник.

Колотил в бубен остяцкий шаман. Танец его становился все неистовей. Он ходил ломаными кругами вокруг деревянного идола, лохмотья разноцветных лоскутьев, нашитых на малицу, вздувались и трепетали, звенели бубенцы и амулеты, гремел ожесточенно бубен.

— Алла... алла... — звенел на высокой ноте голос мусульманского муллы.

Громыкнула пушка, смешала татарские ряды.

Медленно осел сраженный стрелой казак, перевалился через борт, исчез в пенистых волнах.

Брязга наводил в басурманскую толпу пушку. Поднес фитиль. Метнулось пламя, прокатился гром.

Теснились татары.

Первые остяцкие ряды отпрянули назад, татары не давали им взобраться на кручу, теснили снова к воде.

— Алла... алла...

— Спаси и помилуй...

Колотушка беспощадно била в тугую кожу — бубен звенел дико и надрывно.

— Справа заходи! — кричал Ермак Ивану Кольцо. Тот переметнулся с одного струга на другой.

Несколько стругов под командой Кольца заходили в правый край татарской обороны.

— Богдане, влево веди! — передал Ермак.

Брязга повел свои струги влево, не прекращая ружейной стрельбы.

В центре остался Ермак. Струги уже подошли вплотную к берегу, были видны перекошенные ужасом лица вогул и остяков, над ними и среди них злобно нависли татары, луки звенели тетивами, стрелы свистели, вонзаясь в казацкие тела.

Гремели выстрелы...

Звенел бубен...

Молился мулла...

Крестился на четыре стороны священник.

Клубились дымы...

Были раненные.

Медленно, но непреклонно надвигались на берег струги.

Грохали редко пушки.

По берегу, вдоль водной кромки, распластались убитые.

Плыла на волнах красноверхая казацкая шапка. Следом за ней несло вогульское кедровое весло.

Перевернулся облас, накрыв собой убитого хакаса.

Молодой киргиз, подхватив под мышки своего раненого старшего друга, а, может, и брата единоутробного, с ужасом глядел на невиданное оружие.

Остяцкий князец истошно выкрикивал одну за другой команды, а сам, не замечая того, лятился все дальше и дальше назад, прижимаясь к косо-гору.

Падали убитые.

Кричали раненные.

Гремела битва.

Разноплеменная татарская лавина все больше и больше мешалась, путалась, тела переплетались между собой.

Подступал справа Иван Кольцо со своими казаками.

Грохнул залп.

Совсем близко к берегу прижал свои струги Ермак. Первым перелез через борт и оказался по пояс в воде Заковригудран. Блестел топор холодно за опояской. Заковригудран целился в упор в ближайшего татарина.

Слева напирала на татар струги Богдана Брязги.

Один татарин не выдержал и развернулся к реке спиной. Второй уронил лук в воду, в ужасе отпрянул назад.

Вскакивали с лодчонок остяки и вогулы, бросаясь к твердому берегу.

Метался на взмыленном коне вдоль засеки Кучум.

— Алла... алла... — надрывался мулла.

Колотил в бубен шаман.

— С нами боже православный! — вторил священник, поднимая над головой образ Спасителя.

Непреклонно взирал на побоище деревянный остяцкий идол.

Гремели выстрелы. Вспарывали воздух стрелы.

Плескались по ветру пробитые стрелами хоругви.

Снаряжал пушку Богдан.

Теснил остяков Кольцо.

Прыгали в воду казаки с Ермаковых стругов, секли огонь на фитили и расстреливали в упор супротивников.

Откатывался от воды сильный числом своим враг, сбиваясь все более в кучу.

Застыл на коне Кучум, видя, как мешались ряды его воинства, как все дальше и дальше отступали передние от берега.

И тогда он увидел снова страшное видение, которое преследовало его постоянно.

\* \* \*

Над рекой свирепела буря. Волны взметывали кверху свои гребни, они пенились, вздымались огромными перекатами, набегали на берег.

Среди бушующей стихии снова встретились два чудовища. Звери то взмывали высоко на гребнях волн, то терялись в белой кипени.

Красный малый зверь не давал черному взлезть над ним свое тело, прижимал его в воду то с одной, то с другой стороны.

Черный терял силы, скрывался в крутовороте, но через некоторое время вставал над волнами и кидался на красного. Тот ловко увертывался, его малый рост не мешал ему махнуть на спину черного чудища и тот снова тонул в яростной белой крутоверти.

Красный рвал его зубами, наседав своим телом, прижимал лапами к воде.

Черный почти не сопротивлялся.

\* \* \*

Выстрелы гремели один за другим. Свинец настигал убежавших.

Казачьи метали копь в спины противника, обнажали мечи, срывались в рукопашную.

Татары, остяки, вогулы, хакасы, киргизы, кайсаки, ногаи — все разноплеменное Кучумово воинство убегало в панике к спасительной засеке.

Лавина перекатывалась через бревенчатые накаты, через земляной вал, бегущие цеплялись друг за друга, стаскивали передних, падали, поднимались, снова и снова лезли за неприступную городьбу.

Казачьи крепили струги, вгоняя копь в песок, на ходу стреляли по последним рядам, лезли на крутой откос.

Ермак был впереди.

Небо темнело. Солнце упало за черный лес, зажгло неласковую осеннюю зарю.

Казачьи растекались по берегу, охватывая всю татарскую засеку, никли к земле под свистящими стрелами.

Татары, перевалив за городьбу, перестраивались, плотной цепью осыпали свое укрепление, собираясь с духом, полнили колчаны стрелами, меняли ослабевшие тетивы.



А шаман все неистовствовал вокруг деревянного бесчувственного чурбана, пламенели разноцветные лохмотья, озаренные закатом, звенели амулеты, гремел бубен.

Протяжно кричал мулла:

— Алла!... алла!..

— Во имя отца, и сына, — вторил ему православный поп, вылезая из струга на берег, выставив вперед на вытянутых руках в золоченом окладе образ Спасителя.

Стустилась тьма.

Костров не жгли.

Напряженно всматривались в ночь казаки...

Нервно сжали в руках наготовленные стрелы Кучумовы воины.

Прижался к земле Гридя, сжимая одной рукой пищаль, другой удерживая боевое дружинное знамя. Лежала рядом с казаком, пригибая голову к земле, бывшая полонянка.

Крепил к лафету пушечный ствол Богдан Брязга. Заковригудран набивал порохом пищаль, ударяя шомполом.

Правил на точильном камне свою саблю Никита Пан.

За татарской засекой загорались огни, багрово окрашивая верхний край укрепления, пуская в низкое небо дымные столбы.

Редкие выстрелы смолкли. Стрелы не свистели над головами.

На землю пала ночь.

\* \* \*

Ермаку припомнилась другая ночь...

Горели костры...

Веселилась разбойничья ватага, справляя удалую тризну.

Ватажники пили мед, закусывая его грабленными заморскими плодами.

Ермак сидел, слушал тоскливую песню, которая неслась от дальнего костра.

Иван Кольцо тронул за плечо атамана:

— Стрелец пришлый мольвить хочет с тобой, атаман...

— Веди сюда...

Богдан Брязга докладывал:

— И указал государь за дела разбойные ватагу твою губить всю до единого... А тебя, Ермак, да сподвижника твоего Ивана Кольцо изловить и живым в Москву доставить. Крепко возгневался грозный царь за разбой, учиненный посольству персидскому...

— А ты кто ж таков? — спросил Ермак.

— Я в опричнине службу нес государевой, и на Волгу он слал нас супротив ватаги твоей, да не к душе человеку вольному служба царская. Вели в ватагу взять — тебе служить буду верой.





— Гибели не страшишься?

— С царской силой да властью его счета я имею давние. А гибели не страшусь, с народом в один ряд когда...

Подошел Никита Пан, выдвинул вперед нового гонца.

Тот достал из-за пазухи грамоту писаную, протянул Ермаку:

— Именитые люди Строгановы кланяются тебе, атаман, и людям твоим — на Каму-реку зовут, службу нести, вотчины их сторожить от Кучума-царя Сибирского...

— Что ж, други верные, о землях строгановских мы слышаны, от гнева царского укрыться надобно, а там и на Сибирь путь открыт, через Камень-гору, на царство Кучумово.

\* \* \*

А утром...

Скользнули первые солнечные лучи по залегшим казакам, полыхнули первым светом по разноцветным кафтанам, озарили шитые шелком да золотой нитью знамена и хоругви, легли на бессонные усталые лица.

— Алла! Алла! — раздалось за городьбой.

— Бум! Бум! Бум! — грохнул бубен.

— С нами бог! — перекрестил на все стороны священник залегших казаков.

И тогда на спины лежащих обрушились стрелы.

Татарский залп был дружным и неожиданным.

Извивались, кричали раненые казаки. Выискивали цели ружейные стволы.

А татары, перевалившись через верх засеки, лавиной рухнули вниз на залегших казаков.

Громыкнул залп.

Ухнула пушка.

Упали первые ряды, взметнулись к небу бревна засеки. Кучум подгонял своих воинов, неистово крича и жестикулируя.

Лавина подкатывалась все ближе.

Гремели выстрелы, падали передние, на их место становились другие и с диким воем вся эта масса приближалась, озлобленно обрушивая перед собой тучи зазубренных стрел.

Через засеку все лезли и лезли, скатываясь вниз, татары.

Все ближе подступали передние.

Ермак встал над казаками, приложился к хоругви губами, крикнул громко и отрывисто:

— Разом, пли!

Клубы дыма окутали казаков, а Ермак, обнажив меч, вырвался вперед, отдал новую команду:

— Вперед!.. На басурманов! Дружно все!..

Вскользнулись казаки, ринулись навстречу врагу, смяли передних, завязали рукопашную.

Не ожидая такого оборота, смешались татары.

Рубил супротивников Ермак, рушил их справа и слева.

Разил копьем сулостатов Иван Кольцо.

Взяв ружье за ствол, колотил им по неприятельским черепам Гридя. За ним, высоко вздымая кверху, несла знамя бывшая полонянка.

Помахивая, будто играя, Богдан Брязга глушил шестопером нападающих со всех сторон противников.

Татары не выдержали, стали отступать. Они хлынули в брешь, пробитую пушкой. Казаки преследовали убежавших, подступали вплотную к бревенчатой стене.

Тогда оставленные в резерве Кучумом татарские лучники метнули на головы наступавших новую тучу стрел.

Падали убитые, стонали раненые.

Ермак и казаки отступили, унося пострадавших сподвижников.

Заряжали ружья, залегая на берегу.

\* \* \*

Перед Кучумом стоял Заковригудран. Его держали двое татар, скрутив за спину руки. Кучум допрашивал казака с помощью толмача:

— Сколь силы вашей, неверной, в землю мою явилось?

— На тебя, отродье басурманское, силы вдосталь есть.

— Чем рушить стрелы ваши огнемётные — выдашь, милость нашу великую будешь иметь...

— Стрелы те нерушимые, и тебя, басурманина, раздавим, яко мразь нечестивую...

Кучум закричал:

— Вяжите быстро знак, которому неверные поклоняются! Быстро вяжите из бревна высокого!

Татары тут же закрепили ремнями на длинном бревне короткую поперечину — получился крест.

Бой продолжался...

\* \* \*

Свистели стрелы над казацкой обороной. Гремели ружейные выстрелы. Кричали раненые татары, падали, пластаясь по земле, убитые.

Богдан навел пушку, зажег фитиль. Ухнул выстрел — в засеке обрушились бревна, открылась брешь.

Ермак указывал Ивану Кольцо вперед, говорил:

— Надо немного казаков стругами к лесу тому спровадить. А оттуда в спины басурманам огнем палить, а самих себя не оказывать.

— Понимаю, атамане, — ответил Кольцо и, пригибаясь, ушел прочь.

Татары прекратили стрельбу, лишь редкие стрелы летели из-за засеки на головы и спины неосторожных.

Казак пополнили пороховницы, заряжали ружья.

Над головами плескались хоругви.

\* \* \*

Затишье тянулось недолго.

Слышно было, как закричал протяжно мулла.

Загремел беспорядочно бубен.

Над засекой поднималось вверх что-то неясное. Накренилось в одну сторону, в другую и опустилось, встав прочно и недвижимо.

И тогда казаки увидели крест.

У вершины высокого бревна была прилажена перекладина. А на бревенчатом кресте, привязанный ремнями по рукам и ногам, был распят, будто Христос, казачий боевой есаул Заковригудран.

Тяжкий гул прокатился над казаками. Многие крестили себя. Увидел друзей и Заковригудран. Он поднял с последними силами голову, гордо глянул поверх татарской стены и закричал:

— Не согнитесь, братья, перед басурманами! Мстите за кровь нашу русскую, за страдания и срам, что чинили нехристи земле нашей! Бейтесь во славу народную...

Стрела прошла казачью грудь, притворила безжизненно сникшее тело к столбу.

Вспыхнул невидимый за стеной костер. Сухое дерево, рассыпая вокруг искры, огромной свечой запылало, огонь охватил казачью одежду, крест скрылся в дыму.

— По басурманам, пли!

Залп колыхнул воздух, дымом окутало все вокруг, казаки, не дожидая оклика, бросились на врага.

Богдан с казаками выкатил пушку ближе к засеке, целил в брешь. Смутно виднелся танцующий шаман, окруженный осятками и вогулами. В середине толпы возвышался безмолвный истукан.

Бряга выстрелил.

Ядро угодило в остяцкого идола. Пересохшее, потрескавшееся от времени дерево разлетелось в мелкие щепы.

Осятки и вогуличи ошалело смотрели на свое рассыпавшееся божество. Первым не выдержал шаман. Он дико взвизгнул, бросил оземь бубен и

кинулся прочь. За ним бежали, не оглядываясь, князцы. Увидев бегущих, с засеки срывались остяки, вогулы, хакасы и, кидая на землю оружие, разноплеменное Кучумово воинство устремилось к лесу.

Бежал шаман не по годам резво, только разноцветные лохмотья плескались по ветру.

Убегал от страшного места князь Бородак.

Молодой вогул убегал прочь, не видя перед собой ничего.

И вдруг бегущая лавина остановилась.

Из лесу брызнуло клубами дыма, раздался грохот. Это Иван Кольцо со своими казаками встретил бегущих ружейным залпом.

Споткнулся и упал шаман. Осел, дико озираясь по сторонам, молодой вогул.

Лавина метнулась назад, но над засекой уже торчали казацкие стволы, кидали в бежавших огненные дымы, разили басурман.

Теперь уже и татары во главе с Кучумом убегали в сторону болота. За ними ринулись остальные.

Никита Пан с казаками рушил пылающий крест.

\* \* \*

Кучум в спехе оставил свою столицу.

Ермак вступал в Искер.

Пустые татарские юрты зловеще чернели окницами.

Всюду валялись брошенные манатки, сундуки, невиданные поделки, дорожие посудины.

Выла забытая собака.

Богдан шел из юрты в юрту, заглядывая в мрачную молчаливую пустоту, искал.

Одна юрта...

Вторая...

Третья...

В конце улицы перед ним внезапно возникла железная клеть. Встревоженный зверь яростно царапал стальные прутья, увидев человека, зарычал злобно, раскатисто.

И тогда увидел Богдан перед клетью белый Домашин халат.

В глазах помутилось, белое пятно, разрастаясь, заслонило все. И только в самом центре смутно угадывалось смеющееся Домашино лицо. Потом оно растворилось в красном мареве, красное наливалось на белое, вытесняло его, разрасталось.

Взвыл медведь...

Богдан медленно шагнул вперед, нагнулся и поднял с земли одежду. Прижимая к груди, шел, не видя перед собой дороги. Глаза застилала белая-белая пелена.

В белое покрывало укрылась бывшая Кучумова столица.

Дымили трубы над юртами, в небо вонзались дымы. В конце улицы теснились олени упряжки.

В Кучумовой просторной юрте Ермак принимал пришлых князцов. Иван Кольцо сваливал в угол государев ясак. Дьяк читал грамоту:

— А еще, государь-царь, доводим, что пришли с повинной и просили принять под государеву заступу и брать с них ясак Тумет, князь Надымский, да Алачев Идегей — князь Кодской, да Затыгаш — Тюлькиной земли князец, да Емельдешин — вогульский мурза, да князь Бородак Сургутский, да Елгоз — князец Казымский, да Обдорские князья Мамрук и Дондо, а с ними жены их и сыновья, и все люди охочие кланяются тебе...

Князцы сидели чинно в кругу, при названии имен кланялись новому повелителю.

Дьяк продолжал:

— А еще доводим тебе, государь, что Кучумка, царек Сибирский, с отродьем своим басурманским: с салтаном Абалаком, да внуком Ишимом, да прочими чадами дома своего нечестивого и женками многими бежал в Барабинские степи ко князю Кыргыз-Кайсацкому в орду, к Куготеку, имея силу при себе невеликую...

И царство Сибирское отныне будет стоять под твоей государевой рукой и дань платить в казну твою начнет исправно, а ты бы, государь, Ермака и дружину его лихую миловал за дела прошлые, давнишние и опалу свою да гнев снял с того храброго воинства, и Ермака князем Сибирским пожаловал.

Иван Кольцо с провожатыми снарядился в Москву, во стольный град с чебоитной грамотой государевой.

Поредевшее в боях русское воинство провожало послов.

Солнце северное с невысокого неба искрило снег.

Ермак наказывал другу:

— А еще моляви, Иване, друг, что силы наши истощились в брани жестокой и подмога государева нам для упрочения власти православной зело нужна.

Потом перекрестил широко своего верного друга, трижды расцеловал.

Казаки целовали уходящих в посольство друзей. Священник благословлял иконой.

Медленно тронулись груженные дарами дровни, казаки шли долго по ледяному простору, провожая послов.

Когда посольство скрылось за речным изгибом, Ермак остановил Гридю:  
— А тебе, казак, с грамотой к Строгановым, соучастникам нашим идти.  
Дары везти от нас за припасы ихние да слово напутственное.

\* \* \*

Над Искером вставало солнце.

Искрился снег, розовый свет разливался по широкой улице, красил за-  
порошенные снегом крыши домов, мерцая над ранними дымами.

Ермак вышел из юрты, долго осыпал голую спину и грудь рассыпчатым  
снегом, растирал докрасна свое тело.

Потом утирался расшитым рушником, вспомнив что-то, стоял, разгоря-  
ченный морозом, глядя туда, где поднималось светило, не замечая того,  
шептал:

— Жди, земля просторная, хлебородная, силу русскую удалую...

Пал Искер пред силой той — падут и другие князи-цари басурманские и  
народцы иноверческие под государеву руку придут...

Пусть наша кровь горячая, в землю пролитая, не концом будет шествия  
победного, а началом дела великого...



## Владимир Волдин



*Владимир Семенович Волдин (1938-1971) родился в деревне Сызг-Вар Назымского сельского Совета в семье рыбака-охотника. Здесь он с похвальным листом окончил начальную школу и продолжил учебу в Вершинской семилетней школе. Затем учился в Ханты-Мансийской сельскохозяйственной школе на годичных курсах. Начал работать заведующим животноводческой фермой в колхозе "Первое мая". Отсюда его призвали в армию, затем по состоянию здоровья комиссовали.*

*Владимир Волдин поступил в Ханты-Мансийское педагогическое училище. В стенах этого учебного заведения начал писать стихи. Свои первые произведения отдал в газету "Ленин пант хуват".*

*По окончании педагогического училища был направлен в только что созданное окружное радиовещание, где работал до конца своей жизни, которая трагически оборвалась в октябре 1971 года в одной из его поездок по Октябрьскому району. Похоронен 5 ноября 1971 года в Тобольске.*

*Стихи талантливого хантыйского поэта публиковались в окружных и областных газетах, в ленинградской областной газете "Смена", в журнале "Сибирские огни", в коллективных сборниках и альманахах "Поэты народов Сибири" (Новосибирск, 1967), "Брат-*

ство" (Новосибирск, 1982), "Обновленная Югра" (Свердловск, 1970), "Вам, романтики!" (Свердловск, 1978). Владимир Волдин занимался переводами с мансийского языка стихов Ювана Шесталова и песенных текстов русских поэтов. В 1968 году вышел его сборник стихов на хантыйском языке — "Ханты".

Предлагаемая читателю поэма публикуется впервые.

## Так Молупси

### 1

О людях, о судьбах я думаю часто.  
В чем видели прадеды светлое счастье?  
В сказаньях и песнях ищу я ответ...  
Мне в детстве легенду рассказывал дед.  
Давно это было.

Вы, может, слышали?

Что к юртам хантыйским песцы прибегали,  
И волки бродили, лишь станет темно,  
И вещие совы стучались в окно.  
Жил-был человек. Кто он родом, откуда?  
Сегодня и мы не узнали покуда.  
Наверно, его наградила тайга  
Веселым характером, силой в руках,  
Умом, красотой, в работе сноровкой.  
За что бы ни взялся, все делал он ловко.  
Один уходил за добычею в бор.  
И промысел был ему легок любой.  
Однажды, проверив слопцы на полянах,  
Он был изумлен неудачею странной:  
В надежных слопцах не нашел глухаря.  
Неужто приманка положена зря?  
— Эге! Кто-то съел, насмехаясь, приманку! —  
Воскликнул, взглядевшись, рассерженный ханты. —  
А мусор подбросил! — И ханты сказал:  
— Ну, зверь, попадись мне теперь на глаза!  
Я знаю: медведь на такое способен.  
Он туче лохматой и черной подобен,



Да только со слабым ловок и храбр.  
Давно бы его проучить мне пора!  
Едва он воскликнул — за деревом рядом  
Раздался треск сучьев медвежьей засады.  
Встал зверь на дыбы, зубы дико оскалив.  
Страшны его лапы, шерсть с рыжей подпалиной.  
И замерло солнце. Зверь прыгнул на спину.  
Но храбро вступил человек в поединок.  
Ушел от удара, силен и хорош.  
Да времени нет, чтобы выхватить нож!  
Как выпустить руку, коль пасть он разинул  
И дышит в лицо духом тошным звериным.  
Бежит по щеке кровавая слеза.  
Как угли горящие, зверя глаза.  
Момент улучил. Сталь протяжно взметнулась.  
И ревом предсмертным тайгу покачнуло.  
Обрушило небо закат на траву,  
Багряным окрасила кровь синеву...  
Охотника звали с тех пор “Так Молупси” —  
Что “Крепкая Малица” будет по-русски...  
Как долго он жил? Есть ли внуки сейчас?  
Послушай же дальше легенду-рассказ.

## 2

Последнею льдиной растаяла вьюга.  
На плесе приветствуют люди друг друга.  
Бескрайне весной половодье Оби.  
Купцы понаехали. Празднику быть...  
Ты скажешь, приятель:  
— Купцов нынче нету.  
Эге, не спеши! Лучше слушай легенду.  
Кто злую усмешку хранит на лице,  
Смеется в начале да плачет в конце!  
Мы любим преданья и песни хорошие,  
Они забывать не дают нам о прошлом.  
Веселые, грустные песни подчас  
Народною мудростью радуют нас.  
И если я вспомнил легенду, быть может,

Кому-то она поученьем поможет,  
Кого-то обрадует светлой мечтой,  
Кого-то накажет насмешкою злой.  
Был берег зеленой тайгой оторочен.  
Веселье кипело с утра и до ночи.  
Вот кто-то смеется и кто-то поет.  
Вот пляска танцоров за плечи берет.  
А рядом торговля. Корзины рядами.  
В них нельмы еще шевелят плавниками.  
Себе на уме, все приметив давно,  
За рыбу купец предлагает вино.  
Опившись веселого этого зелья,  
Друзья его мучатся сытым бездельем.  
Нахальные, с гирями злых кулаков  
Кричат и зовут на борьбу рыбаков.  
Стал берег похож на живун с пескарями,  
Где ходят свирепо купцы осетрами.  
Глядит Так Молупси, кто верх здесь берет.  
Не выдержал он и сердито встает:  
— Эй, кто там суровой борьбы не боится,  
Один на один вызываю сразиться.  
Плечистый и сильный, стоит на песке,  
И гневно дрожит бурый шрам на щеке.  
Смеется купец:

— Что-то очень ты храбрый!

Коль так ты силен, почему покарябан?  
Медвежью тамгу на лице залижи!  
Уж лучше бы рыбы ты мне предложил.  
Вскипел Так Молупси от речи ехидной:  
— Ты хуже налима, что ест мертвечину —  
Питаешься кровью родных мне людей,  
И в алчности ты не жалеешь детей!  
Пускай на лице моем горькая мета:  
По-разному платят в борьбе за победу.  
Медведь богатырь был, не ровня другим,  
Но я не упал на колени пред ним!  
Бой начался в миг, словно зимняя вьюга,  
Купец и таежник вцепились друг в друга.  
Ломаясь, тальник распластался у ног —

Швырнул Так Молупси купца на песок.  
Сапог торгаша взвился к звездным накрапам,  
Плыла по воде соболиная шапка.  
Услышали небо, тайга и река:  
— Ну, вот и увидел ты гнев рыбака!

### 3

У памяти нашей есть доброе свойство —  
Деянья героев беречь для потомства,  
В легендах и песнях хранить их черты...  
Жизнь наша — свершение древней мечты.  
Мне чудится ночью:

Пытливо и строго  
Застыли огни над тайгой, над дорогой.  
Вниз звезды глядят, озаряя леса,  
Как будто героев погибших глаза.  
Их малицы были крепки, как кольчуги,  
Туги и надежны упругие луки.  
А стрелы, чьи клювы острее иглы,  
Разили врагов, беспощадны и злы.  
Рассказывал мне дед Андрей на Назыме —  
Встречал Так Молупси он днями былыми.  
Был парень, как парень.

Винтовка в руке.

Пониже буденовки — шрам на щеке.  
Встречали его пастухи молодые.  
А кто-то с ним строил в тайге буровые...  
И, может, внук Так Молупси сейчас  
Взволнованно слушает этот рассказ.

### 4

Легенды мои, сказки дедов и песни!  
Всего мне дороже напев их чудесный.  
Таежную свежесть, величие книг  
Вобрал мой красивый хантыйский язык.  
Словами про звезды скажу, про озера,  
Как будто на малице вышью узоры.

Веселый иль хмурый в печали своей  
Пусть мой рассказ вам напомнит людей.  
Ведь каждое слово на сердце похоже:  
Такое живое и чуткое тоже.

5

Друзья на Казыме. Ну, как вы живете?  
Я знаю: опять меня в гости вы ждете.  
Когда приезжаю, ребята гурьбой  
Приходят всегда повидаться со мной.  
Рыбак и охотник, идущий навстречу —  
Здесь все говорят на отцовском наречье.  
Труд любят, как малицу или кисы.  
Труд нужен, как малица или кисы.  
Сегодня я гость у них. Кружатся песни  
В морозном февральском седом поднебесье.  
И нарты оленей построились в ряд.  
Хантыйскому празднику каждый здесь рад.  
На празднике новые песни сегодня —  
О жизни хорошей в Югорской земле,  
О звездных ракетах, что мчатся во мгле.  
Пастух молодой с сердцем, полным отваги,  
Старик с бородою кудрявой, как ягель...  
Проворны и руки и ноги сильны.  
Готовы и сами лететь до Луны.  
Да только нужны на Земле эти руки  
Оленей растить и воспитывать внуков.  
О прошлом рассказывать нам не из книг...  
Я слышу, поет Лэл Микола — старик:

Тундровый, тундровый мужичок,  
Чуть раскос и невысок.  
Ханты, я о вас пою.  
Песню слушайте мою.  
С первых от рожденья дней,  
Половину жизни всей  
Лямкой лодки я таскал  
Для купца, что торговал.  
Ни одним не ведал днем,

Что помогут мне потом.  
Пять оленей, пешек пять  
Мне решили люди дать.  
Так вот я их доставал,  
Так растил и сберегал.  
А теперь сижу, грущу:  
Где пастись я их пущу?  
О! Есть место — Сорум Ов.  
Вдоль зеленых берегов  
Распушу их, отведу.  
Там не встречу я беду.  
И оленей десять штук  
Побежали рысью вдруг.  
Был тогда я очень рад,  
Только не был я богат:  
Если снежный день придет,  
След их быстро заметет.  
Если дождь пойдет, в момент  
Смоет всех оленей след.  
Нет от них богатства мне,  
Нет от них одежды мне.  
Так их мало у меня —  
Дунет ветер среди дня,  
Как пушинки, разнесет.  
Кто оленей мне найдет?  
А в совхозе над рекой  
Нынче сейф большой стальной.  
Деньги сообща кладет  
Ханты — трудовой народ.  
Позабыта здесь беда.  
Бродят тучные стада.  
Надо ехать — выбирай,  
Сколько хочешь запрягай.  
Погляди: любой из нас  
Носит малицу сейчас.  
Вот богатство и одежда,  
Наше счастье и надежда!

— Подожди, не торопись  
И за всех нас не хвались, —

Карысь Петар перебил.  
Тоже стар, но полон сил.  
Начал так он свой рассказ:  
— Жаль, не молод я сейчас.  
Только ни при чем года,  
Если песня молода.

Решты сын я самый старший.  
Имя вам любой подскажет:  
Карысь Петар — это я.  
Есть олени у меня.  
Дал совхоз их мне. В дороге  
Словно ветер, быстроноги.  
И в метели, и в грозу  
Грузы ценные везу.  
От далекой юрты зимней  
Ездил я в село Вершина.  
И на путь меж деревень  
Я затратил только день.  
В нарте легкой, в нарте быстрой  
Вез мех ценный, серебристый.  
Служат людям пусть теперь  
Красный зверь и черный зверь.  
Мне сказал товарищ русский:  
— Ловок ты, как Так Молупси!  
Всем пример ты показал.  
Ты ударник, — он сказал.  
Я купил в подарок милой  
Ткани радужной, красивой,  
С расписным узором шаль.  
Денег было мне не жаль!  
Понеслись домой олени,  
Песня взвилась до небес.  
Подпевал мне старый лес.

— Да, олени, — тихо молвил  
Невысокий Лэл Микола, —  
В них была всей жизни суть.  
Молодежь, не позабудь,  
Размечтавшись о ракетах,  
Что полеты над планетой

Начинались на земле  
С бега нарт в метельной мгле.

6

Небо — пятнистая шкура оленя.  
Звезды глядят, чуть мигая, на землю.  
Мысли мои, как олени, бегут,  
Думы мои про тайгу, про тайгу.  
Края хантыйского лучше не знаю.  
Солнечный бор — сердце милого края.  
В сердце моем кровь горячая бьет.  
Сердце трепещет живое мое.  
Разве тайга не живая? Взгляните:  
Солнца прозрачные руки, как нити.  
Слушайте — бьются в подземных корнях  
Соки земли, силой ветви поя.  
Силу вбирают иглистые листья.  
Жить здесь легко будет зверю и птице.  
Людям понять это легче всего,  
Корни народа — легенды его.  
Ветви — растущее новое племя.  
Люди — живое легенд продолженье.  
Жить нам, бороться, тайгу сберегать...  
Я Так Молупси припомнил опять.  
Не потому ли в наряде как будто  
Наша тайга в это светлое утро.  
Крепкий веселый узор из ветвей,  
Точно на малице, вышит на ней.  
То ли в душе моей песенка дремлет  
Или поют ее сами деревья.  
Не уставая, звенит в вышине.  
Песенка, с детства знакомая мне.  
В шорохе листьев, в рябиновых бусах  
Слышу мелодию о Так Молупси.  
Слышат и звери, и птицы ее —  
Это же край мой любимый поет!  
Пусть же взлетает мелодия к тучам —  
С нею живется и легче, и лучше.

Пусть я устану в суровом пути,  
Песенка дальше моя полетит.  
Солнечным утром с прохладным туманом  
Я выхожу на лесную поляну.  
Вижу, охотник идет промышлять,  
Лодку рыбак приготовил опять.  
Вместе со всею хантыйской землею,  
Всеми глазами погибших героев,  
Всеми глазами живущих смотрю.  
Песню пою я, встречая зарю.

*Перевод с хантыйского В. Нечволоды*





## **РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:**

**М.К.ВАГАТОВА, В.М.ВОЛКОВЕЦ, Б.Ю.ЗУЙКОВ,  
А.Б.МУХАМЕТОВА, Е.А.НЕМЫСОВА, Н.Б.ПАТРИКЕЕВ,  
С.Е.СМЕТАНИН, Н.П.СМИРНОВ.**

## **РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

**А.А.КОРНЕЕВ, И.А.КРАСНОУСОВА,  
А.К.МИШУНИН, А.С.ТАРХАНОВ.**

**Главный редактор Н.И.КОНЯЕВ**

**Альманах зарегистрирован региональной инспекцией  
по защите свободы печати и массовой информации  
при Мининформпечати РФ / г. Екатеринбург /  
Свидетельство № Е 1858 от 25 июля 1996 года.**

**Художник А.Б.Мухаметова  
Технический редактор И.А.Красноусова  
Корректоры А.Б.Ишметова, Л.Н.Костина  
Верстка Е.В.Белобородовой**

**Сдано в набор 16.07.96. Подписано в печать 12.09.96.  
Формат 60x84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная №1. Печать офсетная.  
Гарнитура "Таймс". Печ.л. 24,5. Усл.-печ.л. 22,87. Уч.-изд.л. 20,8.  
Тираж 3000 экз. Заказ № 821. Цена свободная.**

---

**Оригинал-макет набран и сверстан в Ханты-Мансийской  
окружной типографии. Печать с готовых пленок.**

---

**ИФ "УНИСЕРВ", Москва, ЛР 061891 от 10.12.92**

**АО "Астра-связь"**

**121019, Москва, Филипповский пер., 13**

## **Уважаемые читатели!**

Распространение нашего издания осуществляется в розницу по договорной цене, в том числе и в самой редакции.

В случае поступления ваших заявок

редакция будет готова заключить соответствующие договоры с местными книготорговыми организациями и библиотеками.

По вопросам, связанным с закупкой части тиража, обращайтесь в редакцию альманаха по адресу:

626200, г. Ханты-Мансийск

Тюменской области, ул. Мира, 46.

Телефоны: 3-18-31; 3-18-30.

**Ждем ваши отзывы, предложения и пожелания.**

**За полиграфический брак ответственность несет типография.**

## Новые книги писателей Югры

**Айпин Е.**

Клятвопреступник. Избранное (Послел. и комментарии В. В. Огрызко). — Москва, "Наш современник", 1995.-432 с.

В книгу хантыйского писателя вошли рассказы разных лет и роман "Ханты, или Звезда Утренней Зари".

**Вдовенко Е.**

Снег юности. Стихи. — п. Советский, 1995.-96 с.

**Вдовенко Е.**

"Ты гуляй, гуляй, мой конь...". Стихи и поэмы.-Югорск, "РИО", 1995.-172 с.

Новые книги известного поэта из п. Советский, участника Великой Отечественной войны.

**На семи холмах советие.**

Произведения поэтов и прозаиков Ханты-Мансийска (Составитель Н. И. Коняев).—Москва, "Унисерв", 1995.-176 с.

В сборник вошли разножанровые произведения литераторов Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. Включены также стихи и проза московских писателей Алексея Смольникова и Ванцетти Чукурева, чьи жизненные и творческие судьбы связаны с Ханты-Мансийском.

**Поэзия в работе и сердцах.**

Стихи, очерки, зарисовки (Составитель В. П. Мальцева). — Тюмень, "СофтДизайн", 1995.-128 с.

В сборнике представлена поэзия и проза "засегдаев" литературной гостиной, работающей при газете "Газопереработчик" акционерного общества "Сибнефтегазпереработка" (г. Нижневартовск).

**Смирнова В.**

Свет звезды. Стихи. — Ханты-Мансийск, "Н.И.К.", 1995.-64 с.

Первый сборник стихотворений молодой поэтессы из Ханты-Мансийска.

**Сочихин Н.**

Неувядаемый цветок. Сибирская любовная лирика. — Москва, "ИнтерВесы", 1995.-112 с.

Четвертая книга поэта из Сургута, недавно принятого в Союз писателей России.

**Суханов П.**

Площадь Света. Книга стихотворений. — Тюмень, "СофтДизайн", 1995.-416 с.

Новая книга известного поэта является итогом десятилетней работы, попыткой осмысления прожитых лет, эпохи, в которой он живет.

**Чучелина Т.**

Сказки Югры (Лит. обработка С. Фалеевой, Г. Сазонова, Г. Слинкиной. Послесловие В. Отрызко). — Москва, "Наш современник", 1995.-176 с.

Герои хантыйских сказок — добрые, трудолюбивые, щедрые рыбаки и охотники, мудрые и отважные богатыри. О верности и любви, о преданности родной земле, о быте народа ханты узнают читатели этой книги.

Предназначена для дошкольного и младшего школьного возраста.

*Эти и другие книги спрашивайте  
в книжных магазинах и библиотеках округа.*